

СИБИРСКИЕ ОГНИ

**Литературно-художественный
и общественно-политический
ежемесячный журнал**

ВЫХОДИТ С МАРТА 1922 ГОДА

Главный редактор:

М. Н. ЩУКИН

Редакционная коллегия:

Н. М. Ахпашева (Абакан)

А. Г. Байбородин (Иркутск)

А. В. Болдырев (Курск)

А. В. Кирилин (Барнаул)

В. М. Костин (Томск)

Г. М. Прашкевич (Новосибирск)

М. А. Тарковский (Красноярск)

А. Б. Шалин (Новосибирск)

Владимир Титов

ответственный секретарь

Максим Долгов

и. о. начальника отдела художественной литературы

Марина Акимова

редактор отдела художественной литературы

Михаил Косарев

начальник отдела общественно-политической жизни

Дмитрий Рябов

редактор отдела общественно-политической жизни

Верстка: О. Н. Вялкова

Корректурa: М. Н. Долгов

3/2017

Содержание

ПРОЗА

- Владимир ЗЛОБИН. Гул. Роман.**3
Юлия ГОРБАЧЕВА. Мимолетности. Миниатюры.96

ПОЭЗИЯ

- Юлия ПИВОВАРОВА. День рыболова. Стихи.**90
Евгений АРТЮХОВ. Новый Иерусалим. Стихи. 103
Сергей ШКУРО. В ожидании снега. Стихи. 109
Сергей КУЛАКОВ. Сорокоднев. Стихи. 112

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

- Валентин РАСПУТИН. Возвращение России.**
Интервью 1990 года. Беседовал Анатолий Байбородин. 114
Сергей СИМОНОВ, Вадим КАПУСТИН.
Юрий Замятин, «сибирский метеор». 136
Александр ТИХОНОВ. Тара: навстречу истории. 156

КРИТИКА. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

- Михаил ХЛЕБНИКОВ. «Буду жить и есть окрошку».**
О дневниках А. К. Гладкова. 167

Книжная полка

- Борис ПОЗДНЯКОВ. Две судьбы.** 173

Картинная галерея «Сибирских огней»

- Людмила БОГОМОЛОВА. Николай Мамонтов в Барнауле.** 176

- Авторы номера** 191

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За достоверность фактов несут ответственность авторы публикаций. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции. Редакция оставляет за собой право опубликовать присланное произведение в журнальном варианте. При перепечатке материалов ссылка на «Сибирские огни» обязательна.

Главный редактор, директор-руководитель ГБУК НСО «Редакция журнала «Сибирские огни» М. Н. Щукин.

Владимир ЗЛОБИН

ГУЛ

Р о м а н*

Догорай, моя лучина!
Лозунг тамбовских повстанцев

I.

Тяжко вздыхает лес. Не от ветра ломит ветви. Это в чаще стучат топоры.

Люди ставили шалаши, строились. Днем прятались от большевиков. По ночам прятались от гнуса в женщинах. Сурово качался лес. Еще помнила иссохшая осина, как рабочие руки корчевали деревья, чтобы проложить путь паровозу. Вскоре дождю пришлось смывать сажу с листьев, но уже в августе они падали в траву мелкой монетой. А сосновому пеньку вспомнилось, как люди брали лучшие деревья в плен — делали из них шпалы. Много зла принесли те люди, потому радостно загудел старый ясень, когда увидел, как вышли бородачи на железнодорожное полотно.

Партизаны подогнали к насыпи несколько битюгов. Сбили глухари, крепившие рельсы к шпалам. Обвязали железные полосы веревками и стегнули по лошадям. Те с натугой пошли вниз, и понемногу гнулись рельсы. Шумел урман, гуляло по просеке деревянное эхо: деревья ждали. Пусть люди вернуться, пусть снова будут бить топором по корням, но раз паровоз их враг, то мы им все, все простим!

Так думали деревья.

Бронепоезд мчал через леса и поля в край единоличников да спекулянтов. Вез с собой злые буквы — ЧОН** . Красные буквы, литера к литере. Не часть особого назначения, а прямо-таки орден с Вифлеемской звездой на буденовке. Готовы чоновцы вытрясти толстые амбары и даже кулацких мышей забрать — на опыты в большевистскую лабораторию.

В Тамбове бронепоезд накормился углем, залил станцию струей мутной воды и подобрал на борт новых бойцов во главе с посланцем Губчека. Потянулся состав на юго-восток губернии, где еще теплилось недобитое восстание.

* Журнальный вариант.

** ЧОН — части особого назначения, создававшиеся для оказания помощи органам советской власти по борьбе с контрреволюцией.

Комиссар Олег Романович Мезенцев сидел на открытой платформе и держался за оружейный лафет. Не от тряски берегся молодой мужчина, а хотел перенять холод, чтобы успокоить разболевшуюся голову. Она у него была большая, вытянутая сверху вниз, прямо от светлых, почти белых волос до твердой квадратной челюсти. Комиссар вообще был большой, вытянутый и белый, как застывшая от резкого холода капля. Иногда зажмуривал Мезенцев синий глаз, а другим, жгучим, как июльское небо, пристально глядел на красноармейцев. Будто уже доложили ему обо всех солдатских прегрешениях: про кур, в обход власти ощипанных, и частнособственническую самогонку.

— Ничего... Верикайте нас в обиду не даст, — шептались бойцы.

Евгений Витальевич Верикайте был легендарным командиром, прослывшимся на бронепоезде «Красный варяг» через всю Гражданскую. Солдатам не нравилось, что присматривать за их батькой прислали незнакомого человека. Они и сами глядели в оба. Чоновцы, набранные по деревням и городским окраинам, еще не успели освоить премудрость интернационализма. Батька-то батькой, однако была одна заковырка. Отчего любимый батька носит женскую фамилию на балтийский лад? По каким таким законам командир бронепоезда — Верикайте, а не Верикайтис? Как ни старались, не могли объяснить разницу даже призванные в отряд варяги. Ну Верикайте, ну и что? В том двадцать первом году люди норки мышинные разрывали, чтобы драгоценные зерна выковырять. Это, пожалуй, поважнее будет. Не задумывался о женской фамилии командира и Олег Мезенцев. Он остужал об оружейный лафет свой белый череп. Дела, порученные военному комиссару в Тамбове, клонили большую голову в сон.

Евгений Витальевич сидел в штабном вагоне и изучал карту. Красному пришлось оставить самую опасную, переднюю платформу. Нужно было планировать операцию. Уж слишком зелена карта. Каждый лесной массив мог обернуться отрядом Антонова. Поймы рек оделись не ивой с ряской, а конными эскадронами. Напирали зеленые пятна на крохотные серенькие городки, где скучились красноармейцы. Евгений Витальевич нервно приставлял концы циркуля к точкам деревень — не ускользнет ли враг в соседнюю губернию?

Когда поезд дрогнул на стыках рельс, задрожала и карта. Почудилось, что лес пришел в движение. Зеленые пятна прыгнули на обожженные ладони и поползли по защитному френчу прямо к горлу. Верикайте, еще при Феврале командовавший только что сформированной латышской ротой, не мог испугаться такой глупости. Он лишь удивился, что смерть подкралась неожиданно, даже без воя снаряда. Его с силой хряпнуло о стенку вагона. Грохот опрокинул стол, купе завертелось, и циркуль, которым Евгений Витальевич мерил расстояние от контрреволюции до коммунизма, воткнулся ему в руку.

Поезд еще сотрясали судороги, когда Мезенцев откопал командира под обломками штабного вагона. Тот не ворочал плотным и плоским лицом — провалился в беспамятство. Мезенцев действовал хладнокровно.

Командовал так, как командовал бы сам Верикайте. Погибших сложили вместе, раненых погрузили на носилки. Солдаты смотрели на комиссара с уважением, как на того, кто мог бы передать вождя малого вождю большому: Верикайте — Ленину.

Мезенцев, построив уцелевших людей, оглядел пордевшее воинство. Больше для себя, чем для солдат, произнес комиссар короткую речь:

— Наша миссия — высокая миссия. И хотя продразверстку уже ликвидировали, но не ликвидировали кулаков. А значит, есть лишний хлеб. Если есть лишний хлеб, значит, есть и те, кому его не хватает. Не хватает в городе, а излишек в деревне. Не дойдем до деревни — не добудем хлеба. Не добудем хлеба — рабочие останутся голодными и не смогут дать нам оружие. Не будет оружия — враги уничтожат Республику и всю нашу деревню. Командованием задано прибыть в злобандитское село Паревка и выкурить из его окрестностей окопавшихся бандитов во главе с Антоновым. Поймаем его — восстанию конец. Уйдет — будет еще долго баламутить край.

На близлежащей станции комиссар послал в Тамбов телеграмму. Он, Олег Романович Мезенцев, ввиду ранения военного начальника, принимает боевое командование ЧОНОм на себя. Ответ пришел скоро. Губернский революционный комитет подтвердил полномочия революционной тройки: ей отныне подчинялись все советские учреждения и партийные организации на территории Кирсановского уезда. Ввиду чрезвычайных обстоятельств ревтройка имела право ареста, временной изоляции и расстрела лиц, обвиняемых в соучастии в бандитской шайке и вредительстве революционной власти. Приказ № 171*, по которому ревтройка могла на месте применить высшую меру социальной защиты, был подтвержден. Граждан, отказывающихся назваться, полагалось расстреливать на месте. Оставленные дома бандитов — сжигать. За найденное в избе оружие — расстрел старшего работника в семье. Аналогичная мера — за укрывательство. Бандитские семьи полагалось арестовывать вместе с имуществом. Взятых заложников изолировали в специальных концентрационных лагерях. Один из них чоновцы проезжали на станции Сампур: люди понуро сидели за колючей проволокой.

Когда вошел ЧОН в соседнюю со станцией деревеньку, то всех мужиков построили у длинной, во всю улицу, канавы. Это местный энтузиаст, надышавшись социализма, задумал водопровод провести. Копал через голодуху, да только не было металла, чтобы наполнить ров.

Мезенцев рассудил просто, но точно. Деревенька — ближайший населенный пункт к месту крушения. Следовательно, антоновцы обязательно сюда заходили за провиантом и на разведку. Так как никто не донес железнодорожной власти о готовящемся злодействе — виновны все. Комиссар, выстроив крестьян в линию, в третий раз объяснял, почему на них лежит коллективная вина. Если не выдадут антоновцев, то группа за-

* Приказ № 171 был отдан Полномочной комиссией ВЦИКа 11 июня 1921 года и отменен уже 19 июля.

ложников, набранная по принципу первый... второй... и ты, третий, подь, подь сюды... окажется расстрелянной. Однако крестьяне попались хорошие, крепкие. Никто не выдал деверя с кумом. Народец держался даже немножко надменно. Ишь, захотел на цугундер нас взять? Думаешь, так мы тебе всё и рассказали? А ты поди-ка докажи свою правоту.

Вот Олег Романович Мезенцев и доказал.

Оставил после себя ЧОН не только раненых. В деревне остался конвой. Остались опухшие от слез и голода бабы, прижимающие к юбкам хнычущих детей. В братской могиле остались на прокорм будущих полей солдаты. Тоже польза отсроченная выходила. А по дну канавы, где водопроводные трубы должны были лежать, побежала вода. Красная, правда, ну так что? Зато было в кровушке много железа, которого в ту пору так не хватало молодой Республике. Перемешались меж собой угрюмые мужики — трудно уже было найти среди них изобретателя. Так и живет из века в век гуца народная: сама из себя щи готовит.

А отряд под руководством Мезенцева двинулся в сторону Паревки. На носилках в беспмятстве лежал Евгений Верикайте. Глупый Кирсановский уезд и знать не знал, что фамилию носил Верикайте неправильную, почему-то женскую, шиворот-навыворот. На странную фамилию у командира бронепоезда было одно тайное основание.

II.

Паревка расположилась на юго-востоке Тамбовщины, неподалеку от Саратовской губернии. Пугачевские места, лихие. До революции жило в старом богатом селе семь тысяч душ. Прилепилось оно задницей к холмам, где распушился барский сад, а другой край протянуло к реке Вороне. Река неширокая, метров шесть — восемь будет, но быстрая: зазеваясь — снесет стремниной. За рекой, когда-то отделявшей Русь от Орды, в зарослях красноголового татарника схоронились новые кочевники. Лошади у них сильные, объезженные и злоба прежняя. Только глаза синенькие. Разбитые антоновцы засели в болотах и с ненавистью смотрели, как по их селу разгуливают незваные гости.

С самого начала была Паревка сердцем антоновского мятежа, потому в оперативных сводках проходило селение как зобандитское. Поделен весь Кирсановский уезд был на села советские, нейтральные, бандитские и злостнобандитские. В зобандитских местах приказ № 171 должен быть осуществлен в полной мере. Было отчего разозлиться. Когда антоновщина еще не сломалась, то оказывала наибольшее сопротивление как раз в Паревке. Густые окрестные леса давали приют тысячам всадников. С холмов обязательно всматривался в горизонт дозор. На влажных Змеиных лугах, что прилегали к речке Вороне, отъедались после долгих переходов кони. Сам Антонов ходил по селу, а народ звонил в колокола, играл на гармошке и ел пирожки из сбереженного зерна.

Однако война докатилась и до Паревки. Многожды разбивал Антонов противника, пока не укрепился тот вокруг села, вынудив отступить

партизанскую армию к островку Кипец, что за Змеиными лугами. Там, окопавшись у реки, устроили антоновцы свой последний лагерь. Ни паревский гарнизон, ни повстанцы не хотели и не могли сойтись в открытом бою. Блюли перемирие, вместе выпасая на Змеиных лугах боевых коней. Красные побаивались, что очередной выстрел всколыхнет вдруг все крестьянство и попрут на город с колями не только мужики, но и бабы с ребятишками. Между ними Антонов и убежит. Ждали войска, когда прибудет обещанный резерв с химикатами, чтобы бандиты сами к ним в руки побежали.

Антонову тоже было не с руки атаковать. Только тот еще не покинул вождя, кто был предан ему беззаветно либо потерял все, что имел. Тысяча-полторы осталось от восьми полнокровных полков, громивших большевиков по всем уездам. Женщины, тайком приносившие из Паревки еду, крестили мужей, как будто в остывающих чугунках лежала не каша, а кутья. Пять раз на дню ожидался в Паревке конец света. Беглые донесли слух, что жестоко расправился ЧОН с соседней деревушкой. Переполошились паревцы: что это за ЧОН? Помещики вернулись? Большевики? Да нет, мелко как-то, разве человеческую силу ЧОНОм назовут? Это конец света на Паревку идет.

Но ЧОН, вступив в село, никого не взял в заложники. Не погнал народишко в концентрационный лагерь, не сжег дома бандитов. Даже местный гарнизон, состоящий из странной солянки комсомольцев, солдат, курсантов и бывших продотрядовцев, ничего кровавого не дождался.

Особенно миролюбиво вел себя высокий и красивый комиссар. Он расквартировал пополнение и осведомился у командира боеучастка о текущем положении дел. Выяснилось, что легендарный Антонов находится буквально в паре верст от села и чуть ли не купается в Вороне с остатком своего воинства. На вопрос, почему же его до сих пор не атаковали, паревские большевики ответили, что вождь повстанья тут же уйдет в лес. Там его не найти, а сил, чтобы со всех сторон окружить Антонова, попросту нет. Да и тронься с места, как Паревка в десятый раз забунтует, вырежет большевистские ячейки и уйдет в барские сады, вон гляньте на холмы — там густо-густо, тоже никого не найдешь.

— Командование переходит к ревтройке, — холодно сказал комиссар.

О Мезенцеве было известно мало, поговаривали, что он приплыл откуда-то с Севера. Знали — воевал: то ли плавал по Балтике в брюхе железной черепахи, то ли дышал галицийской пылью. Когда пошли красноармейцы в баню, стали золой себя скрести, вспучились по телу Мезенцева багровые шрамы, похожие на запекшиеся под кожей молнии. С недоверием смотрели на командира голые красноармейцы. Сами они были тоненькие и худющие, до того липовые, что даже штыком не проколешь — кость одна. Но особенный шрам у комиссара был над правой бровью. Как будто вдавили туда что-то — точно хотели, чтобы лопнул глаз, да попали пальцем в твердую надбровную дугу, сломавшую чужой напор.

Мезенцев помылся, выгтер сильное, жилистое тело и вышел на улицу, где распрямился во весь свой великий рост. Смотришь в солнце, зачесал назад золотые волосы. Приладил к поясу наган и пошел один, без страха, по селу. Из-за лопухов зыркали на комиссара девки. Тайком от родителей заглядывались они на широкую большевистскую спину. Бесплезны были деревенские притирания: давно лежало за душой Мезенцева воспоминание о женщине — тонкой, как игла. Когда с нежностью думал о ней комиссар, отступали головные боли. Может, поэтому был милостив Мезенцев к затаившейся в страхе Паревке? Или испытывал голубоглазый Мезенцев к толстозадям и носатым паревцам воинское презрение, как когда-то варяг к стелящейся по долу чуди и мери?

Паревка не была так уж беззащитна и миролюбива. К окраинным избам каждую ночь подползали лазутчики. В огородах, завернутые в холстину, сховали паревцы винтовочки — выкапывай вместе с картохой, когда жрать захочешь. Затаились по подворьям повстанцы. Кто-то стикал от Антонова к жинке под бок, кто-то был ранен и отлеживался у родственников, а кто-то, как Гришка Селянский, еще и выполнял важное нравственное задание.

Парень числился бандитом еще при старом режиме. Успел в тюрьме побывать, откуда его выпустила февральская распутица. А что делать парню, если хочется не мировой справедливости, а быстрого коня? Антонов, будучи в 1918 году начальником кирсановской милиции, разбил банду, где орудовал Гришка. Хотел было пристрелить конокрада и насильника, но парень купил жизнь тем, что показал большой тайник с оружием. Эсер уже тогда собирал винтовки и переправлял их в лесные хранилища. Попритершись друг к другу, молодые люди опознали родственные души: оба имели представление о блатном мире и занимались экспроприациями. Оба хотели чего-то большего, нежели жизнь в малиннике. Гришка, любивший вольность и фарт, принялся наводить Антонова на разбойную нечисть. Не была у Гришки душа шерстяная, просто не любил он людей, кто режет и убивает от сухости мозга, без всякой идеи, мечты. Он терроризировал крестьян, потому что им конь нужен, чтобы плуг возить, а дочка — чтобы ее замуж выдать. Ему же, Гришке, они нужны, чтобы прославиться. Вот как Антонов. Гришка завидовал вождю, боялся и лип к Антонову, чувствуя, что тот может пообещать ему смысл жизни.

Александр Степанович бандита помиловал и даже поставил командовать 8-м Пахотно-Угловским полком. Антоновские офицеры, прошедшие кто империалистическую, кто Гражданскую, от такого решения плевались, однако ничего поделаться не могли: Гришка лихими атаками не раз сбивал дозоры красных. Не обмануло волчье чутье: удалой из Гришки Селянского получился атаман. Под горячую руку порой попадала не только коммунистическая шея, но и нехитрые крестьянские сбережения и такие же глупые женщины. Те, к слову, не всегда противились, ведь много на фронтах погибло мужей.

После весенних поражений 1921 года Гришка из повстанья дезертировал, укрывшись под ложными документами в Паревке. Здесь он ничем

не прославился, разве что удавил бывшего комбедовца. Так Гришка купил себе спокойное житье.

— Пуцдай харчуется, холера. — Мужики недавно узнали новое болезненное слово и полюбили им ругаться.

Хотя какой холерой был Гришка? Сызмальства называли чернявого, подвижного Гришку бабником. И неважно, что не было передних зубов: их, как он говорил, выбили стражники в тюрьме. Без труда прилипал жиган к людям и к женщинам, интересуясь не только их имуществом, но и душевым капиталом: вдруг кто суть жизни успел скопить?

Парень быстро втерся в доверие к пришлым солдатам и выяснил, сколько они привезли ружей, пушек, даже прознал про странные ящики с адамовой головой. Только к Мезенцеву боялся прилепиться Гришка. Как муха не садится на холодный камень, так и парень не находил в комиссаре ничего приятного. Точно не человек, а ледышка. Хрустело галифе на жарком июльском солнце; медленно, как автомат, поворачивал Мезенцев голову, иногда поднося к ней широкие ладони — поправлял мозговую резьбу. Страшный был человек, непонятный.

В задумчивости мял Гришка вдовушку, у которой жил в Паревке, да размышлял, как можно убить Мезенцева. Выходило, что никак. Точнее, не с кем.

Разве что... Вот раскинулась по селу подпольная сеть социалистов-революционеров — Союз трудового крестьянства. Сидели там остатки городских эсериков, некогда самой многочисленной партии на Руси. Победила она на всероссийских выборах в Учредительное собрание, да толку? Кроме голосов нужно иметь твердое убеждение в собственной правоте. Чтоб против тебя хоть все рабочие, хоть все классы вместе с их царем и священством, но ты — прав. Большевики такое убеждение имели. Эсеры — нет. Иначе бы зубами и когтями защищали свою учредилку.

Гришка с отвращением слушал полуинтеллигентские разговоры, где решалось, какой строй нужен России и как ловчее подбить мужика к топору. Союз являлся первичным органом власти на местах, однако теперь, когда не было ни мест, ни власти, о чем можно было говорить? А они говорили. Помогали крестьянам грамотой и народными вожаками. Крестьянин, известное дело, не знает, как ему за свободу сподручнее сражаться. Но хоть что-то хорошее: СТК выправил Селянскому документы красноармейца, демобилизованного из армии. Гришку это не успокаивало. Какой резон до липового документа, если есть страшный приказ № 171, по которому чуть что — смерть?

— И вообще тикать надо отсюда. — Гришка не выговаривал шипящие. — Возьмут да перестреляют. Вот спросят: чего же ты, молодой, не в армии? Ах вернулся? А где служил? Ба-а, так там у меня побратимы! Этого знаешь? Нет? А этого? И ты чего? Амба! Возьмут на цугундер. И комиссар непонятный. Говорят, у него голова болит и он пилюли жрет. Кто знает, до чего эта дылда додумается? Поситает, сто насы бабы месают, и обобсествит их.

Вдовушка, у которой жил Гришка, разводила руками. Ее пышные груди колыхались, как самогонка в рюмочке. Глупая то была баба, считающая, что и война неплохо, и волнения народные перенести можно, если ты в боках широка и мягка да каждый штык готова в своей печечке прокалить. До того вдовушка была глупая, что не побоялась бывшего командира антоновского полка на боку пригреть. А может, и не так глупа была толстушка — знала, что никто из местных на нее не донесет. Змеиные луга от Паревки близко, кому охота оттуда гостинцев ожидать?

— Чего хлебало открыла, — не унимался Гришка, — сказать нечего? Ты мне лучше открой, кто это у вас по большаку састает, хлам собирает? Я его суганул, а он без внимания.

— Это который агукает? Да это пришибленный наш, Гена. То тряпочку урвет, то железку. Уж не знаю, зачем ему. Может, в Ворону выбрасывает?

— И сто, дают? Железо же в цене. Вы же, сучье племя, из-за свиной сетины удавитесь.

— Пусть лучше полоумный все подчистит, чем городские. Тем паче он всякий хлам берет, ничего стоящего. И взамен кланяется. Мужики бают, что нам потом заступка будет. Чего этот городской фельдшер сказал? Гена вам как адвокат перед Богом. Вот и дают. И я ему тряпку дала... Заагукал, миленький. Перекрестил меня грешную.

Давно повадился забредать в село мужичок неопределенной наружности и неизвестного имени. Собирал по подворьям мусор, платил где погнутой копеейкой, где порванной собаками штаниной, а потом уходил из Паревки к реке Вороне. Было в юродивом так много странного даже для Гражданской войны, что никто особенно не роптал. Ну берет блаженный человек ржавый гвоздь и обрывок ткани, так и бог с ним. Не корову же и не ржаной пуд. Ему важней. Бабки шептали, что на том свете на одну чашу весов положит Господь грехи человеческие, а на другую все те вещицы, которые отдал паревец дурачку Гене. Перевесят они — попадет праведник в рай, а если нет — рухнет прямо в ад огненный, где ковалась большевистская рать и где Троцкий всем главный секретарь. Но Гена, хоть не умел говорить, а только выдавливал благодарственное «Аг!», наверняка имел на все тайный план. Ведь дурачок иногда просил агуканьем расплющить в кузнице какой-нибудь металлический предмет. Или особенно длинную вервь выпрашивал. Зачем, если ему просто нравилось с мусором играть?

— Тащит, — говорили уважительно мужики и понимающе переглядывались.

Дознавали умом, что не для личного обогащения брал дурак вещь, а для неизвестной коллективной пользы. Верилось скупым мужикам, что, собрав со всех по чуть-чуть, однажды изобретет юродивый что-то раз и навсегда полезное.

III.

— Пли!

Ходит улыбается Илья Клубничкин. Похож на измасленный блин, крепко перетянутый ремнем. Больше своих пушек любит комбат сельских вдовушек. Катается от одной к другой, вся сладость на него налипает. Испытывает артиллерист удовольствие, что милуется вместо тех, кого военная смерть прибрала. Сам комбат погибели избежал, да и странно видеть мертвым усатого, низенького, толстого человечка. Умирать должны молодые, честные и красивые, чтобы художники могли пересадить их лица каменным обелискам. Или серые, измученные, слабые, которые настолько незаметны, что их никому не жалко. А такие, как Клубничкин, погибают мирно — лопаются как спелая слива, от еды и пьянства.

— Пли!

А стреляли вглубь леса. Днем пушки перемесили лагерь у реки Вороны. Кого-то вдолбило в песок, еще больше снарядов засосала трясина, а остальные — и болванки, и крестьяне, и Антонов — рассеялись по камышам. Сколько ни искала пехота, как ни ворошили ил кавалерийские пики, антоновцы, потерпев быстрое и неизбежное поражение, переплыли Ворону и ушли в лес. И оттого, что стреляли из пушек по площадям, в никуда и ни во что — как будто и не по людям вовсе, а по деревьям с галками, — бой выглядел еще страшнее. Будто кричать от ранений должны были не разбойники, а разбитые в щепы деревья и не повстанцы должны были собирать вываливающиеся из животов кишки, а лоси и волки.

— Пли!

Не каленой картечью шельмуют лес. Не стальными болванками склоняют к покорности замшелые пни. Летят в сине-зеленые дали снаряды с отравляющими газами. Жухнет от них трава, а человек легкие на ладонь выплевывает, точно надоели они ему. Стелется ядовитый туман по низинам — ищет спрятавшегося человека, да находит лишь мышей и белок, но и те погибают с не меньшим героизмом, чем люди на памятниках. Чононцев же дурман не страшит. Расчехлили они противогазы, вислые хоботы в угольный кармашек заткнуты. Будто бы произвели красных людей на заводах в Америке и в заключенных ящиках переправили через море-океан.

— Пли, братцы! Выкуривай контру!

Не знает Клубничкин, что в лесу от человеческого хлора ежик погиб. Думает о блинах, о вдовушке. Вчера она дала артиллеристу подержать большую, как шанежка, грудь. Не знает комбат и того, что из леса к батарее уже пополз жуткий, незнакомый гул. Он перетек через буреломы, переполнил овраги и выплеснулся на опушку. Недоволен лес, что стальными плевочками требуют от него поклона. Поплыл гул по стрежням Вороны, изгваздался в болотце и зашумел по Змеиным лугам. Все ближе и ближе гул к человеку, вот-вот накроет батарею холодным земляным выдохом.

— Пли! Пли! Пли! И еще раз!

Предвкушает масляный блин, как закатится вечерком к аппетитной вдовушке, как расскажет ей про свои военные подвиги, как запустит жирную рученьку под испачканные мукой юбки. И обязательно потащит ее в бывшую барскую усадьбу, чтобы овладеть бабой, словно при старом режиме.

Сладко замечталось командиру батареи, и он в последний раз приказал:

— Пли!

Не знал Илья Клубничкин, что гул почти рядом, почти нашел его, почти запустил щупальца в его довольные кишки.

IV.

Паревка оживала. Поначалу село подобрало юбки и приготовилось к мести, помня, как с холмов, где стояла опустевшая барская усадьба, бросалась вниз антоновская конница. Она с гиканьем налетала на опешивший продразверсточный отряд и собирала в мешки для капусты отрубленные большевистские головушки. Ныне же помещичий сад пустовал. Не гуляли в яблочных тенях эфирные дамы и больше не всхрапывали в вишневой засаде партизанские кони. Крестьяне по-прежнему ходили в сады за дичающими плодами, все меньше пугаясь солдат, хрустящих дворянскими яблочками.

Привыкли и к комиссару.

Ходил он по селу широко, никого не боясь, будто родился в ближайшей будке. Нюх у него тоже был собачачий, и когда вздрагивали красивые римские ноздри, вздрагивала и вся Паревка. Боялась, что почует комиссар, под какой кабачковой грядой запрятан револьвер, где в речке Вороне лежат мешки с заветной мукой и на какой печке затаился антоновец. Но как будто плевать было комиссару. Один раз он действительно плюнул, только не в рожу — такого бы не позволило лицо Мезенцева, а в канаву, где червился то ли кулак, то ли дохлая кошка.

Ребятишки подходили к комиссару с изголодавшейся радостью и улыбками. Он отвечал спокойно, однако без радости и улыбки, компенсируя телесное чувство правильным перераспределением конфет из кармана галифе в грязные детские руки. Давал без цели и соблазна, не пытаясь обменять барбариску на чьих-нибудь родителей. Пару раз хмыкнул, сказал теплолюбивое осеннее слово, подул на выгоревшую голову-одуванчик. Из-за плетней, делая вид, что справляют нужду, следили за комиссаром бабы. Оправившись, они бежали в избы, где докладывали мужьям. Те, будто комиссар был в их безраздельной власти, тихо и зло гудели:

— Поглядеть надо... Подождем. — И «подождем» неуловимо превращалось в «подождем».

Ждал и Гришка. Ждал, когда оступится комиссар, зайдет за сарай покрасить струей доски или отправится через Змеиные луга искупаться в Вороне, вот тогда... Тогда Гришка Селянский колебался. Лучше всего было убить Мезенцева финкой, всадить веселый нож в такое сильное тело

да провернуть несколько раз, точно кончился у комиссара завод. Был еще у Гришки иностранной конструкции пистолет, который пел швейцарским соловьем. Вдобавок хранилось у Гришки за пазухой одно воспоминание. Залетный политический все открывал в камере профессорский рот, будто Гришка туда писей тыкал. Надоедало это Грише — бил интеллигента. Не надоедало — тоже бил. Не понимал Селянский, как можно быть таким чудилой. Как можно носить очки, бородку и не знать, что такое святцы со шкерами? Вот и выбивал из учительшки жизнь. Плохое это было воспоминание, неудобное. Не принимали его в залог подпольные купчики. Не соглашались карточные дружки поставить на кон. Да и не накинешь память на шею вдове: требовала бычья шея не удавки, а бус. Но когда увидел лихой человек Мезенцева, понял, чем можно перебить запах прошлого. Достаточно нарезать из комиссара ремней, как сгинет из памяти интеллигентшишка: унижения комиссара приятней будет вспомнить. Пухла от мыслей чернявая Гришкина голова. Даже когда он мял толстушку, то, твердо пробиваясь в ее глубь, думал, как убить Мезенцева.

— Гришенька, любимый, — шептал на тайных встречах антоновский лазутчик, — убей комиссара. Подкарауль и убей. А потом айда в лес, к нам в повстанье. Братец Антонов тебе все простит. И то, что ты сшукал, полк бросив, простит, и воровскую твою душонку снова простит. А? Убей человека, Христом Богом прошу. Я тебя потом на своей кобыле покатаю.

— И кто там на болоте остался? Два трухлявых пня с цингой? — отвечал Гришка. — Скоро Антонов сам никто будет. Разобьет его комиссар.

— Народец хорошо окопался, — шептал разведчик, — ждет. У нас там славно. Повстанье живет как хочет! А даже если разобьют, то Антонову ничего не будет. Он заговоренный, выживет! Соберем новую армию, все амбары обратно заберем. Будет у тебя не одна вдовушка, а три. Каждая толще другой, я их сам освобожденной мукой буду кормить... Ну, что скажешь, Гришенька?

— Ты откуда знаешь? Мы даже Тамбов, черти его дери, взять не смогли. Обосрались еще на подходе. А есть на свете такой город Москва, он как десять Тамбовов!

Слово «Тамбовов» звучало пугающе, и разведчик отвечать убоялся. То, что говорил Гришка, было правдой. Антоновщина, гремевшая по всей стране, вообще-то пылала по одному только Кирсановскому уезду, иногда перехлестываясь в Саратовскую губернию или подползая на севере к Моршанску. Если бы не эсеры, о подлых планах которых большевики кричали во всех газетах Республики, была бы антоновщина еще одной крестьянской войнушкой. Главная партизанская победа — это взятие в апреле 1921 года двадцатитысячного промышленного села Рассказова, что в соседнем Тамбовском уезде. Взяли Рассказово на несколько часов, погрузили на подводы пушки и вино да укатили в лес праздновать победу. Поражение для большевиков чувствительное, но у них таких Рассказовов по стране сотни, а может, и тысячи — по одному на каждого повстанца.

— Гришенька, любчик ты мой, ну раз сам не хочешь к нам, то хоть коней моих найди! Чего тебе стоит? А я тебе патрончиков отсыплю! Увели, гады, коней... жить без них не хочу.

— В жопу твоих коней, — через выбитые зубы сплюнул Гришка. — Вот и вся васа мужичья мечта — конь личный. Ссыте сыроко мыслить. Вот если бы ты мне автомобиль пригнал...

Но какая там машина — в апреле о ней еще можно было думать, а теперь горький июль. Главный удар повстанью нанесла отмена продразверстки. Как только узнали крестьяне, что на смену бандитам с ружьями приходит фиксированный продналог, так сразу же опустели атамановы полки. Вот-вот затаится сам Антонов. Поэтому покинул его Гришка. Поистрепалась в походах мечта. Вроде воевали, воевали, а толку? Может, у большевиков чего для души сыскать удастся? Как-никак побеждали по всей стране. Вот и притворился Гришка вдовушкиным сыном, демобилизованным из красноармейцев. Вынюхивал и выслушивал. Присматривался к чужим ценностям. Однако и старые не забывал. Так, на всякий случай.

По ночам к околице приползал антоновский разведчик. Покуривая в кулаке, конокрад-полководец объяснял ему, что окончательно покраснела Тамбовщина. Кончено народное восстание, отвоевались. Связной же звал с собой, припоминая славные денечки. Мужичок верил, что братья Антоновы, хоронящиеся вон за той кочкой, вновь соберут большую ватагу да покажут красным разбойникам.

— Что покажут? — спрашивал Гришка.

— А вот, — хитрился разведчик, — некто поезд им недавно на вернул, а? Хорошо летели! Значится, есть еще отряды, теплится си-лушка...

— И чего дальше? — Когда надо было, Гришка становился очень рассудительным. — Так и будете рельсы лосадями гнуть? Сортир есе, может, подорвете? Кончена война. Проиграли вы, сиволапые. И я вместе с вами проигрался.

— Это мы еще пашмотрим... — цыкотал в траве мужик и уползал в чернь.

До смерти надоела Гришке крестьянская жизнь: с утра опять нужно было вставать на покос и ловить на себе простоволосые взгляды. Выдать не выдадут, бояться пока антоновской мести, но и самому атаману осталось сроку с неделю. Вот-вот обрушатся большевики на болотный лагерь. Да и не к добру мягкость Мезенцева. Чоновцы, конечно, не целовали крестьянам ножки, хотя пока никого даже не расстреляли. Паревцы потихоньку переставали уважать большевиков. Мужики поднимали на солдат брови и окали, а девки вились вокруг Мезенцева, точно пчелы, желая только, чтобы жалили не они, а он...

Мысль о комиссаре ожгла антоновца, и парень, зашипев, сорвался до дома. Там ждала пышная вдовушка. Она не любила думать, а любила выпечку и бандитские ручки Гришки.

Федька Канюков привык поступать так же, как остальные, — пожимал плечами, кивал и не думал ничего особенного. Он был сиротой-комсомольцем семнадцати лет и работал на суконной фабрике в Рассказове. Там паренька мобилизовали в рабочий продотряд. Еще с осени 1918 года эти отряды наводнили Тамбовскую губернию. Никого так сильно не ненавидели крестьяне, как продовольственное войско. На усмирение Тамбовщины тогда бросили все, что было под рукой: аэропланы, конные эскадроны, броневики, милицию и линейные части.

В продотряде Федьке свезло. Он не взламывал фальшивые стенки, чтобы достать оттуда схороненное зерно. Вся обязанность — сидеть на подводе с хлебом по пути в совхоз* да целиться из винтовочки в урему. Однажды в мелком кустарнике что-то зашевелилось, заурчало, конвой засадил туда горсть пуль — и все улеглось. Больше Федька Канюков, прибывший в уже выдохшийся уезд, в боевых действиях не участвовал. Зерно складировалось в образцовом совхозе, а Федька на подводе возвращался в деревню охранять новую порцию ржи. И хотя хлеб под квитанцию у крестьян больше не отбирали, отряд Федьки в Паревке оставили. В качестве усиления местного гарнизона, который мог быть атакован из окружающих лесов и болот.

Так Федька Канюков застрял в Паревке, окрестности которой давно изучил. Ходил в караулы, лузгал семечки, согласно приказу помогал крестьянской бедноте боронить, на девок глядел, а они на него как-то очень. По весне Федька кряхтел на бедняцкой запашке. Паренька запрягали вместо лошади, и он тащил плуг за собой. Теперь же хлеба набрали силу, и неподалеку — лишь перевалить холмы и пересечь Змеиные луга — шел из-за них бой. Федька не стал напрашиваться, как это заведено у мальчишек, в ударный отряд. Ему не хотелось погибнуть. Он предпочитал жить просто, не плестись позади, но и вперед не бежать. Рассказовский рабочий знал: тех, кто сзади, забудут свои же, кто впереди — убьют чужие. Больше всего на свете походил Федька Канюков на кипяченую воду. Когда опрокинули красные Антонова, не испытал Канюков никакой радости. Мальчишка смотрел на длинную колонну пленных и вздыхал. Его наверняка приставят к бандитам конвоиром, а там, чего доброго, по дороге в Сампурский концлагерь лесные побратимы их и отобьют. Им свободу отобьют, а вот Федьке — жизнь.

Под вечер он ушел бродить в барские сады. Солнце еще не закатилось. С утра палили в него солдаты, поспорив, кто первым попадет в круглое спящее личико. Разлилась мгlistая, парная тишина. В ней слышался глухой, нарастающий в лесу гул, который еще с утра почувствовал Федька.

Солнце опускалось в бордовую пелену, словно за горизонтом варили вишневым кисель. Федька вспомнил, что и в его деревне, откуда он

* Первые совхозы начали возникать сразу после Декрета о земле от 27 октября (9 ноября) 1917 года.

перебрался в Рассказово, закат был точно такой же. Родителей у парня забрал тиф. С голодухи пришлось устроиться на фабрику в Рассказове, где Федька протолкался пару лет, пока его, как лишний груз, не сбагрили по разнарядке в продотряд. Хороших рабочих жалко отдавать, производство встанет, а Принеси-Подайкиных никто не считал. Продотрядовцев Федька не любил: жадные они были, ховали по мешкам добро и втихую им приторговывали. Лучше к Федьке относились солдаты. Красноармейцы доверяли ему коней, да и слоняться среди военных было интересней, чем возле заводчан — тем лишь бы самогонки надуться. А пили для того, чтобы не вспоминать содеянное. Федьку успокаивало, что сам он чужие закрома не грабил, а только отвозил изъятое в совхоз. Правда, не успокаивал вид распотрошенного продотрядовца, которому пшеничкой утробу набили.

На всякий случай Канюков старался видеть в происходящем больше положительного. Даже в комсомол благоразумно вступил, когда на фабрику приехал агитатор. Раз власть народная, рассуждал Федька, то всем хорошо должно быть. Мне вот хорошо. Не понимал только, почему на него, обычного паренька, порой так злобно таращились из-за плетня такие же, как он, люди. Вроде и не злокозненные кулаки, а курносые мужички-боровички. Но тут на помощь пришел полковой комиссар, объяснивший на политвечере, что это контрреволюционные, самые гнусные элементы из таблицы Менделеева. Канюков комиссара сразу зауважал, побаиваясь его роста и силы.

Из глубины сада донесся непонятный приглушенный звук:

— Аг! Аг! Аг, аг...

Федька был без винтовки. Тут же два шага до гарнизона, вон на дороге разъезд стоит.

Средь вишневых деревьев показалась качающаяся фигура. Она уставилась на парня и требовательно спросила:

— Аг?

Это был деревенский дурачок Гена, который что-то позабыл у барской усадьбы. Возраст его не определялся лицом, но телесно он был маститым юродивым: кривым, горбатеньким, держащим мышинные лапки у гнутой груди. Из всех звуков, что может издать человек, полюбился бродяге обрывистый, нуждающийся в продолжении «аг». Иногда мужики, накрошив дурачку хлебных крошек, смотрели, как тот прыгает над угощением. Смотрели и гадали, какому слову «аг» может служить началом. Так ничего и не смогли придумать.

Федька, не желая тревожить помешанного, хотел спуститься в село, когда увидел на траве располовиненного человека. Через мгновение он опознал командующего батареей Клубничкина, которому с утра отряжал лучших реквизированных коней. Того самого человека, что еще пару часов назад жадно облизывал толстый рот, вернувшись с артиллерийских позиций. Теперь он лежал, разбросав в траве кишки. Паренек решил бежать до самого главного начальника, Евгения Верикайте, да вспомнил, что тот еще в беспамятстве. Или нужно задержать Гену? Он с сомнением

посмотрел на дурачка, который был совершенно чист, тогда как все вокруг забрызгано кровью.

— Аг! Аг! Аг! — прокричал дурачок, схватил Канюкова за рукав и потянул вглубь сада.

Там загудело, будто яблонева опухка собралась сделать шаг вперед. Движение передалось Гене, но с обратным, задорным свойством. Юродивый настырней потянул в кусты. Федыка попятился, упал и, вырвавшись из неожиданно сильных объятий, побежал в село.

Когда в садах собрались командиры и рядовой состав, Гена уже исчез. Последним без спешки шествовал комиссар. Он нес свою голову в руках. Она болела.

— Что видели? — сухо спросил он у Федыки.

— Труп.

— Подробней.

— Совершая вечерний обход, наткнулся на покойника. — Федыка решил не говорить про дурачка, чтобы не усложнять и без того страшное дело. — Он был мертв.

— В наблюдательности вам не откажешь, — кивнул Мезенцев.

Комиссару нужно было оскалиться, показать шутку зубами, однако Мезенцев не шутил. Он некоторое время рассматривал убитого Клубничкина и, морщась, отвел руку от головы за перпендикулярную спину. Неподалеку сгрудились крестьяне. Ждали. С небольшой гордостью чувствовали, что вот-вот начнут уважать комиссара. Пора бы тому чуть пожечь пятки, бросить девок на сеновал, погубить, в конце концов, пару невинных душ. Но он спокойно отдал короткое распоряжение и удалился в село.

VI.

Тем утром за Паревкой грохотало. Мезенцев обрушился на окопавшихся за Змеиными лугами антоновцев. Артподготовка, бомбы с аэропланов и экспропрированное у царской армии «ура». Пулеметные команды подрезали камыши, а довершили дело конные эскадроны. Потянулись в село пленные и раненые, но главари восстания сумели отстреляться и уйти в леса. Евгений Верикайте по-прежнему бредил, поэтому Мезенцев приказал телеграфировать на ближайшие станции, чтобы командиры боеучастков выслали конные разъезды для блокирования паревского леса. Вечером неизвестными был убит начальник артиллерийской батареи. Убит страшно, точно и не человеком: выгрызли у чоновца половину брюха.

У церкви посреди села бил колокол. Туда гурьбой стекался народ. Всем хотелось узнать, покончили ли большевики с неуловимым атаманом, которого, как поговаривали, сама ЧК боится — написала на Путиловские заводы, чтобы освященные Марксом цепи привезли, будущего пленника сковать. Увы, не швырнули связанного Антонова на паперть, лишь с жуткой головной болью взошел туда Мезенцев.

Народ собирал себя по кустам, малиннику, ямам да погребам: сильно разбросала его революция. Принарядили сельчане голодные глазки,

пришли поглядеть на врагов рода крестьянского. Чистый и оттого еще более высокий, стоял комиссар рядом с солдатами. Вид Мезенцева говорил, что сейчас он произнесет что-то важное. Люди ждали и волновались. Ждали слов Мезенцева зажиточные паревцы и редкая беднота. Ждал в толпе Гришка Селянский вместе с курносою девкой Ариной. Все-таки прилюдно водиться с вдовушкой нельзя — как люди посмотрят, он же ее липовый сынок. Гришка подумал и нащукал среди девок молодую мякоть. Еще ждало почти севшее солнце, а в кармане у Гришки ждал спрятанный револьвер.

Попа Игнатия Захаровича Коровина большевики отменить не успели. Священник глядел на кучу смеющихся солдат и сам был готов себя отменить. Что угодно, лишь бы не обращались к нему больше прихожане с просьбой корову Богом полечить. Сначала ходили солдаты к попу плюшки из белой муки кушать. Закончилась мука — стали ходить дочерей щупать. Когда кончились и дочери (кто со стыда в Вороне утопился, кто замужился, положив руку на «Капитал»), стал побаиваться Коровин, как бы теперь служивые до Бога не докопались. Господь Саваоф на себя удар взять не сможет, мука и дочери кончились, значит, придется ему, попу, за всю троицу отвечать. Поп вполне ожидаемо вертелся, и вот что неожиданно — вертелся не только ради себя. Конечно, Игнатий Захарович очень себя жалел, в то же время жалел и паревцев, которых старался защитить, выстраивая хоть какие-то отношения с быстро меняющейся властью. Однако на паперти волновало священника кое-что другое. Еще днем ему передал серебряные часы Гришка Селянский. Не мзды ради, а чтобы раньше времени не остановилось церковное сердце и не сдало в счет небесной бухгалтерии Гришку большевикам.

— Кровь, поди, на металле? — недоверчиво спросил поп.

— Не без того, — пожал плечами Гришка.

— Ох, грешно...

Немного обрадовался Игнатий Захарович. Теперь можно было покаяться не только за малодушие, но и за раба божьего, которому когда-то часы принадлежали, что, следовательно, сулило попу двойное искупление. Без греха не покаешься, а без покаяния не спасешься — тем испокон веков и живет народ на Руси. Сердце у попа тикало быстрее, чем часы, надетые через цепочку на шею. Проклинал себя отец Игнатий за храбрость. Прекрасно знал он, что при новой власти истинно верующие быстрее попадали на небо. Для получения проездного документа ворованных часиков было достаточно. Нет чтобы сразу ускользнуть, как занес Гришка подарочек! Увы, грешным делом, принялся рассматривать, клацать крышечкой. Жаль было такую красоту от сердца отнимать! А когда наигрался, то зажали попа солдаты.

— Тихо! — зычным голосом прокричал Мезенцев.

Крик напугал дремлющего у паперти дурачка. Его не будил ни гомон толпы, ни мат, ни солдатские плевочки, которые Гена во сне размазывал по лицу. А вот голос Мезенцева очень напугал. Встрепенулся юродивый, почуял неладное и заходил кругом, заглядывая с вопросом в прибывающие

лица: «Аг?» Уже забыл Гена, что только что видел труп. Чувствовал дурак кое-что поважнее. То ли предупредить народ хотел, то ли радовался за мужицкое счастье, однако крестьяне отмахивались от него. Отстань, дурень, не до тебя сейчас. Гена с еще не высохшими на лице плевочками лез на паперть, поближе к Игнатию Захаровичу, которому то сад вскапывал, то огород полон, но солдаты брезгливо сталкивали помешанного вниз. Гена в очередной раз плюхнулся на землю и посмотрел оттуда на комиссара. Мезенцев выдержал мутный взгляд, ничего в нем не понял и снял звездатую фуражку. Ветер разбросал над бровями золотые волосы.

— Послушайте, граждане! Я буду говорить речь. Сегодня мы добились бандитов за селом, доказав силу советской власти. Спасли вас от бандитских поборов. И вот чем вы отплатили — в отместку убили нашего боевого товарища! Долго ходил я по вашему селу, присматривался. Хорошее село, богатое. Не понимаю я, как такое село могло стать злобандитским. Отряд с винтовкой всегда враг пахарю: что плуг против пули? Теперь продрозверстка заменена справедливым продналогом. Теперь большевик в деревню пришел по совести. И как вы после этого можете антоновщину поддерживать? Разве не меняли бандиты у вас своих лошадей, оставляя замученных, худых, старых коней, беря взамен лучшей породы? Разве не разбойничали здесь, разве не портили девок? Хотя одно доброе слово слышали вы от них? Или думаете, что они ваш хлеб защитят? Почему же сегодня антоновцы не пожелали драться за ваши риги и ометы, а бросились наутек? Потому что никогда кулаки за трудовика сражаться не думали.

Мужики меж собой повздыхали. Чего греха таить — разное бывало. Это только сопящий между ног Гена может верить, что армия воздухом питается. Даже оттаявший отец Игнатий, нежно ласкающий под рясой серебряные часы, знал, что святым духом прокормиться нельзя. Припомнили крестьяне, как взяли антоновцы лишней мешок овса или без спроса свернули голову курице. Конечно, редко это было открытым грабежом, не принуждали к оброку винтовкой, но ведь даешь всегда свое и всегда — чужому.

— А вы, — продолжал Мезенцев, — вы сами хороши, что ли? Чего вас жалеть? Вы правду вместо щей слопали. Соответствуете ли вы революции? Или напомнить, как вы с радостью принимали горожан, которые в голодный год несли на обмен последние свои вещи, а после, когда сменяли на пальто ведро картошки, догоняли на окраине голодающего и кроили ему голову кистенем? Ради чего? Ради полпуда картохи? Так чего обижаться, когда мы у вас пуд зерна берем? Пшеничные вы мешки! Сивоусое племя! Скажите спасибо, что советская власть не выводит вас под корень, как надобно поступить за ваше наплевательство, безразличие к судьбе пролетариата, мироедство, за трусость и классовую лень... И Антонов вам был нужен, чтобы еще хоть годик полежать на печке и лущить горох, откупаясь от бандитов то барашком, то младшим сыном, и не видеть, как ваш хлеб нужен стране.

Даже дурачок внимательно слушал комиссарскую речь. Ее ждали, как только ЧОН нагрязнул в село. Думали, выйдет городской молодец,

начнет привычно угрожать смертью, туз-наган вынет, тогда с ним можно конкретно потолковать. Крестьяне боялись Мезенцева оттого, что он не был им понятен, действовал не как большевик, не как расстрельное поле, а тихо и мирно, значит, чего угодно можно было от него ожидать. Крестьянин же неопределенности не любит. Того и гляди, кожаный человек что-нибудь похуже понятной смерти выдумает. А вот теперь вроде как к делу вел комиссар, поэтому сбежалось послушать его все село.

В сердце бил комиссар, как будто всю сознательную жизнь не тела у других людей отнимал, а был таким же, как паревцы, землепашцем. Что красные, что белые, что зеленые — не хотели крестьяне никаких цветных полотнищ. Есть царь — ладно. Нет царя — тоже ладно. Им бы жить на своей земле да чтобы их не трогали — вот справедливый строй.

Гришка Селянский это понимал. Он морщился от грязноватых, потных тел, шоркающих его то по спине, то по бедру. Какая могла быть мечта у того, кто день ото дня полет грядку с морковкой? Селянский презирал землю. Нельзя любить то, на что мочишься. Однажды он увидел, как крестьянин сеял репу — набирал в рот горсть семян и с шумом выплевывал ее кругом, отчего в воздухе повисала желтая взвесь и тонкая, как паутинка, слюнка. Гришке, всю жизнь прослонявшемуся на городских окраинах, стало противно.

— Или вы по-другому хотите поговорить? Чтобы не я с вами беседовал, а винтовки? Вы к этому привыкли? Русской власти хотите? Это я вам могу устроить.

Селянский и сам был не прочь скосить крестьянскую ботву. Его интересовало, как бы себя тогда повели медлительные, гузноватые паревцы. Может быть, засуветились, сошлись, начали бы обсуждать, говорить, ругаться. Глядишь, и придумали бы чего — послать делегатов, составить наказ, посоветоваться с обществами соседних деревень. Гришка с трудом отогнал симпатию к комиссару. Очень уж напоминал Мезенцев того самого Антонова.

Припомнил парень, как Антонов выступал в Паревке с орудийного лафета музейной пушки, как объявил о конце продразверстки, как пообещал взять Тамбов и вернуть награбленное... Крестьяне плакали и лезли целовать атамановы руки. Тогда Гришка испытал настоящее отвращение: плакать следует из-за чего-то большого, а крестьяне рыдали над мешком с хлебом. Большевики были честнее, прямо говоря, что явились в деревню с позиции здорового мужского аппетита. Они творили зло, заранее о нем предупреждая: разлучали семьи, отбирали имущество, убивали. Все по приказу, по заранее одобренному плану.

Антоновцы приходили в деревню, выгоняли оттуда красных, вырезали комбеды, которые и не думали распускаться, уничтожали ревкомы и продразверсточные отряды. Становились на постой, и сельчане несли освободителям молока, мяса, пирожков с капустой. А попробуй не принеси, попробуй зажать поросенка в хате — долго ли тогда зеленому побегреть? Потому еще сильнее сжал револьвер Гришка: нельзя было перед смертью полюбить комиссара.

Тот уже заканчивал пронзительную речь:

— Поймите: может быть, они, антоновцы, и лучше — на некоторое время, но мы, большевики, здесь навсегда.

Толпа зашептала. Отец Игнатий, почуввав недоброе, помолился. Дурачок больше не агакал. Открыв рот, смотрел Гена на комиссара — то ли проглотить хотел, то ли попался к нему на крючок.

Чтобы никого не разочаровывать, Мезенцев поставил ультиматум:

— Посему властью, данной мне Республикой, я провожу черту. Или вы выдаете засевших в селе бандитов, или я перестреляю всех вас как бешеных собак. Вот... у меня в патронташе сто двадцать смертей для вашего навозного племени. Мало будет — еще со станции подвезут.

Народ, услышав знакомые слова, почувствовал себя хорошо. Мужики знали, что никто их сразу расстреливать не поведет. Так никогда не делается. Попужают, дадут составить списки и выстроят в линию, но вот так, чтобы без разговоров и в ров — такого еще не было. Мужики, кто поглаживая бороды, кто скрестив руки на груди, довольно молчали. Хорошо дело повел комиссар, к торгу. Теперь можно и свою цену называть.

— Или вы боитесь кого? — прищурился комиссар.

— А чего пужаться? — спросили из толпы не к месту ехидно.

— Тогда почему не выдаете бандитов?

— Так нема таких.

— Повторяю... в последний... раз. Либо выдаете бандитов — знаю же, стоят сейчас прямо передо мной... либо я выдаю вас земле. Отправитесь в Могилевскую губернию на вечный постой. А? Хотите, чтобы революционная тройка вернула вам на пару дней продрозверстку? Или мало, что советская власть ее отменила?

Солдаты, перестав плевать в Гену, снимали с плеч винтовки, но штыки пока что смотрели в землю. Паревцы не торопились закладывать родственников и соседей. Почти каждая семья отдала восстанию по паре сыновей, и паревцы так легко сдаваться не хотели.

— По-хорошему не желаете... — вздохнул комиссар. — Гражданин поп, идите сюда.

Отец Игнатий затрясся, понимая, что сейчас будет происходить что-то очень плохое. Он пожалел, что у него больше не осталось дочек, которыми можно было бы задобрить Мезенцева.

Комиссар, сузив синие глаза, попросил:

— Часики отдайте.

— Ч... что? — пролепетал Игнатий.

— У вас тикает под рясой. У меня, знаете ли, из-за мигрени страшно обостренный слух.

— А-а... это! Так часы! Часики... серебряные... Господь наградил.

Поп протянул часы. Он не мог понять, откуда комиссар узнал его тайну. Не мог же, в самом деле, услышать тиканье!

Мезенцев повертел механизм в руке и безразлично, почти утомленно сказал:

— А вы знаете, что эти часы принадлежали убиенному сегодня Илье Клубничкину?

— К-ка-а-а-ак? — Отец Игнатий выдохнул из себя весь живот. — Ко-ко-о-огда?

— Час назад. Если часы взяли вы, мы вас расстреляем. Если не вы, то расстреляем виноватого, а вы ответите по закону. Вы готовы пожертвовать жизнь за други своя или нет? По-научному это называется диалектика. А?

— Право слово, я не знал. Ох, Господи!..

— Говорите!

Разумеется, Мезенцев не слышал, как тикают часы. Но комиссар на то и комиссар, чтобы иметь повсюду глаза и уши. Коровина через первого попавшегося мальчишку сдал Гришка. Он сунул посыльному алтын, а комиссар наградил мальчиша барбариской. Почему? Потому что Гришка долго-долго думал, да так ничего и не придумал. Убей комиссара — вырежут Паревку. Не убей — не вырежут, так накажут. А еще Гришка чувствовал, что поп рано или поздно сдаст всех паревских антоновцев. Этого он допустить никак не мог. Для этого он готов был пожертвовать не только попом.

Поповья рука ткнулась в толпу. Если Мезенцев по новизне не мог понять, куда она показывает, то Гришка сразу же почувствовал косые взгляды. Сзади встали два крупных мужика, ожидая команды схватить уловника под локти. Не нравился паревцам бывший командир 8-го Пахотно-Угловского полка. Не нравился борзотой, выбитыми передними зубами, связями с бандитами, которые сегодня антоновцы, а завтра снова конокрады и душегубы. А еще не нравился мужикам Гришка из-за черных вихров, очень опасных для супружеской верности. В Паревке он, в отличие от вдовушки и Арины, чужак, чего его выгораживать перед комиссаром? Хотя женщин тоже могли выдать почуявшие кровь мужики. Потаскухи всегда страдают в конце войны. Пока народ в сражениях погибал, гулены на печке с неприятелем нежились. Носили подаренный ситец и кушали колбаску вместо лебеды.

Потому Гришка сам вышел вперед и сказал:

— Я убил, дальсе сто? Тутосний юрод подтвердить может.

Дурачок, утирая с лица плевочки, довольно согласился:

— Аг!

VII.

Гришка бросил на землю заряженный револьвер. Не для красивого жеста, а потому что созрел в голове лихой план. Он тут же оформился в мечту, которая и толкнула парня прямо под суровый комиссарский взгляд.

Вокруг зашушукались, будто почуяли, что захотел Гришка умереть за этот кривой темноволосый народ. За оханье вдовушки, за испуг Арины, за попика, который предал антоновца, так же как Гришка предал его. И за слезы юродивого тоже хотелось умереть. Бандит недавно сильно

избил дурака, и Гена очень переживал за судьбу товарища. Но тому на себя было наплевать. Пусть он умрет бандитом, зато Мезенцев на этом остановится, довольный, что изобличил убийцу, и не расстреляет глупый паревский народец, который зло толкал Гришку вперед, словно он был причиной всех крестьянских бед. А то, что Мезенцев народишко расстреляет, Гришка не сомневался. Он прекрасно разбирался в волевых людях. Не мог не расстрелять. Гришка бы расстрелял. Начал бы с попа. Сук надо кончать — это он знал, даже решившись на подвиг.

— Как вас зовут? — спросил комиссар.

— Гриска, — сплюнул бандит сквозь выбитые зубы. — Селянским кличут. Слыхали?

— Гришка, что ли? Не слышал. Расстрелять.

— Почему? — вскрикнула Арина.

А вот вдовушка, которая тоже была в толпе, ничего не крикнула.

— Как почему? Потому что Григорий — бандит, убийца, антоновец. Он зарезал нашего боевого товарища, а вы его укрывали. И если бы продолжили укрывать, мы бы по справедливой цене ликвидировали каждого десятого.

Гришка от радости чуть не подпрыгнул. Ага! Попался, комиссар! И тебя, машина, обмануть можно! Ха-ха! Значит, одного меня возьмут вместо скопа! Его ликование прорвалось наружу:

— Да! Я бандит, я резал вашу сволочь где только мог! Начинал с Тамбова, закончил в Рассказове! Сколько в Вороне падали лежит! И эту суку я убил, потому сто он к моей женсине приставал. А Гриска Селянский никому не позволяет со своими бабами заигрывать! И малину мою никто не покрывал. Сам жил! Буду я с этими скотами тайной делиться!

Орущего от счастья Гришку волокли в сторону. Он для вида отбивался.

— Да стреляйте прямо здесь, у дороги, — зевнул кто-то из солдат.

Гришка заорал еще сильнее. Лягался и дергался он не для того, чтобы запомниться палачам, а потому что надеялся приковать к себе взгляд комиссара. Не хотел Гришка, чтобы тот задумчиво остановился на антоновцах, на членах эсеровского Трудового союза, на тех, кто хранит дома оружие, или вот даже на Арине с дурачком. Вдруг и их поволокут в сторону, заламывая руки? К чему лишняя гибель? Не должны умирать маленькие люди. Они жить должны. Плюшки печь и ноги раздвигать перед Гришками. Пусть сей расклад крестьян и не устраивает, но все справедливо: кто широко живет, тот смертью своей за разгул платит, а кому спину плетью греют, тот до старости в хлеву торчит.

Селянский запел блатную, выученную в тамбовском подполье песню, пересыпанную тоской по женской переднице. Даже невозмутимый комиссар поморщился. Плевать было Гришке, что запомнят его не отчаянным командиром 8-го Пахотно-Угловского полка, а вихлястым вором, который никак не хотел умирать. Главное, что уцелеют другие, а может, даже помилуют сиволапых дураков, качающих сейчас грязными головами. Внезапно понял Гришка, что совершает большое Иисусово дело —

спасает жизнь человеческую. Вспомнилось, как отец Игнатий, обильно окормляя антоновцев, повторял: «Нет боле счастья, ктое жизнь положил за други своя». Радостно стало Гришке. Вот-вот своим трупом он близкую плоть спасет. Это раз. Два — продажный поп пойдет вслед за ним. Не успеет никого выдать. Три — бандит укусил за палец конвоира, отчего тот взвыл и ударил Гришку прикладом.

— Аг! Аг! Аг! — заверещал напуганный дурачок.

Мезенцев недоуменно осмотрел Гену. Плохой был дурачок, негодный для здания коммунизма. Лопатки вверх выпирают, как будто ненужные крылья режутся. Спина выгнутая, но не в колесо — не приладить к будущим автомобилям и тракторам. Руки тоненькие, трясутся, нельзя ими копать в механизмах, те ласку любят. На лицо Гена тоже не вышел: дергающееся, чумазое, испуганное. Не лицо, а тюря. Нельзя поместить Гену в гущу рабочего люда — засмеют и затюкают. Вот хотя бы за его агаканье. Чего агакать, когда вся Россия охает?

— Аг!

Зарыдала какая-то баба. Оказалось — отец Игнатий, да и не плакал он, а взвыл, подняв глаза к небу. Знал, что нельзя брать часики, однако не удержался от соблазна! За батюшкой заголосили взаправдашние бабы, и, похрустев совестью, навалились на толпу красноармейцы. Мезенцев сжал руками голову.

Боль пронзила иглой, и от знакомого образа комиссар взбесился:

— Да что вы ревете из-за этого дерьма? Вор, бандит, отщепенец! Вся антоновская свора состоит из подобного отребья! Оно пахать землю не умеет. Думает, что с револьвериком в кармане оно по жизни лучше нас с вами будет. А что антоновцы, что караванская банда, что Махно — нет никакой разницы. Все они грабители, мелкие собственники, лавочники лесные, голь, которую в труху надо... в кашу! И давить, давить! Сапогами! А коль нет сапог, ногами дави! Пока сок в землю не пойдет! Когда напитает он первые всходы, тогда и выйдет из кулака польза!

Мезенцев замахал руками, показывая, как бы он бросал разного рода Гришек в паровозные топки или под лезвия сенокосилки. Селянский же, обернувшись, плюнул в комиссара через зубную выбоину и захохотал. От мерзкого хохота у Мезенцева сильнее разболелась голова. Он застонал сквозь белые зубы и полез в карман за лекарством. Крышка с тугой силой отскочила от флакончика. Пилюли высыпались на политкомовскую руку ровненькие, одинаковые, словно из одного стручка. Химия мгновенно всосалась в кровь, побежала наперегонки с витаминами.

— Хорошо, — выдохнул Мезенцев.

Гришка, почувствовав, что комиссар успокаивается, крепко заматерился. Чуть испугался перед смертью Гришка. За себя он не тревожился. В годы Гражданской недорого стоил фунт пиковой человечины. Зато скользнул взгляд по знакомому лицу в толпе, и вор со злым страхом понял, что там идет напряженная умственная работа.

Слабенький паренек, тоже антоновец, подробно слушал речь комиссара. Знал, что неправду говорит большевик. Не были антоновцы

разбойниками. Наоборот, Антонов отловил караванскую банду и самолично застрелил ее главаря Бербешку. Бандит, наводивший ужас на хуторян нескольких уездов, был закопан у дороги, как и подобает бешеному псу. Антонов играючи сделал то, чего не смогли местные большевики. Отбитый у продотрядов хлеб антоновцы раздавали обратно крестьянам. Да и куда его было в лесу девать? С собой, что ли, возить? Что до подношений, то крестьяне сами прикладывали к больным местам антоновцев свиней и домашних уточек, а порой румяных дочерей — пусть плоть потешат, пока голод ее не изъел. Бывало насилие, а куда без него? Разве зауважали бы партизан крестьяне? Пока русский народ винтовочкой не припугнешь, он тебя за человека считать не будет. Насилия же, ввевшегося в лесные полки с грязью, насилия, как подкладка у пальто, у повстанцев не было. Как можно в своих стрелять? Так, попугать только. Или по исключительным праздникам. А кто из антоновцев этого не понимал, того казнили, чтобы тень у плетня не вздумал украсть.

— Ну, чего телишься? Стреляй! — заорал Гришка. — Бей! Отведи душу!

Почти затихла у комиссара голова, точно укачали ее женские руки. Заметил Олег Романович, как перепуганно и почти желанно смотрят на него женщины: во все века любят они тех, от кого смерть зависит. Гришка смотрел на Мезенцева с задумчивой ненавистью, и это тоже понравилось комиссару. Вокруг вообще было гулко и хорошо. Хороший народ Карлу Марксу достался.

— А-а-а, чертов сын! Стреляй!

Молоденькому антоновцу ненавистен был механический Мезенцев. Глупости и грубости говорил комиссар. Не понимал, что борется не с обыкновенными бандитами, а с народной армией. Сражались они не ради хлеба, а за людскую свободу. Обидно было мальцу не из-за того, что вот-вот знакомого Гришку кончат, а что живет комиссар с неправильным убеждением. Того и гляди, крестьянский народ переубедит. И зачем же тогда люди гибли? Ах, что же Гришка наделал?! Зачем паясничал? Как он не понимает, что память важнее момента — нельзя кривляться себе на потеху. Он все только испортил. Нужно было умереть красиво, с честью, никого не стесняясь. А Селянский так умереть не смог. По нему будут судить обо всех антоновцах, а этого допустить никак нельзя.

Мезенцев снова открыл стеклянную баночку. Всыпал в себя пилюли. Белые капсулы с грохотом прокатились по железному пищеводу. От жестяного звука качнулся колокол, гулко дрогнув чугунной щечкой.

Оттолкнув от себя людей, словно боясь, что их может зацепить, безымянный паренек шагнул вперед:

— Неправда! Я тоже антоновец! И не был никогда бандитом и... честно жил! Людям помогал! А бандиты — вы... вы... именем народным народ грабящие.

Площадь не замолчала. Каждому лицу достался отдельный звук. В животе отца Игнатия что-то лопнуло. Арина пискнула и побелела, выполнив единственное женское предназначение. Рядок солдат, качнув

штыками, повернул головы к храбрецу. Удовлетворенно агакнул Гена. Комиссар скрипнул сапогом. Была еще вдовушка, жадно запоминавшая чужие лица. Она всасывала их с плотоядным чмоканьем.

И только Гришка, понимая, что весь его благородный порыв пошел прахом, что мечту его люди не приняли, даже не заметили и потому изгадили, протянул разочарованно:

— О-о-ой... какой же ты, мать твою, дурак.

Мезенцев спокойно слушал молодого человека. Разве что чуть скривились уголки губ, указывая — да, верно, так и было задумано. Солнце окончательно село, порезавшись о горизонт, и Паревку залило темно-красным киселем. От церкви протянулась черная тень, накрывшая крестыан могильной плитой. Гена-дурачок забился под паперть и жалобно оттуда поскуливал. Чудилось юродивому, что ползет к селу от реки Вороны что-то страшное.

— Расстреляйте меня! Расстреляйте меня за них! Они боятся это сказать, а я могу! И я говорю, что вы бандиты, сволочи... всех до нитки обобрали, вычерпали деревню. А вам все мало! Мало! Так подавитесь мной! На, расстреливай! Меня! Вместе с Гришкой! Пусть запомнят люди, что мы не бандитами были, а избавителями! Не за хлеб бились, а за свободу!

Мезенцев добросовестно вытерпел исповедь. Отметил про себя, что молодой человек не лишен образования, видимо, связан с эсеровским подпольем. Это дело поправимое. Стоит от нужника ветру подуть — народничество быстро улечивается. Не выжить России без большевиков, иначе разметает ветер ее свободный сеновал. Или о чем там эсерики грезят? О федерации гумна и овина?

— Закончили?

— Да, — выдохнул мальчишка.

— Бандита повесить, а честного расстрелять, — приказал Мезенцев.

Через десять минут вонючий труп бросили на молодое тело. Увидев смерть, дурачок обхватил голову руками и с воем убежал прочь. Победно заулюлюкали красноармейцы, подальше прогоняя больную Русь. А если бы оседлали солдаты коней да поскакали вслед за дураком, увидели бы, как с ходу, не останавливаясь, перебежал он речку Ворону. Гена сам не понял, как оказался на другом берегу. Чудо произошло невидно и неслышно, как ему и положено происходить на русской равнине.

Стоит ли говорить, что никого Гришка сегодня не убивал.

Стояло небо. Летели птицы.

VIII.

Кони уводили антоновцев вглубь леса.

Животные еще куда-то тянулись, шли к зеленой жизни и тащили на поводу уставших людей. Если бы не кони, повстанцы давно бы сдались.

Нанесли им деньком последнее поражение. На острове Кипец, что от Паревки в паре верст, если идти через Змеиные луга, был у антонов-

цев болотный лагерь. Его сначала потравили газами, а потом зарубили саблями.

Еще утром приполз из Паревки разведчик — страшный, совсем олесевший мужик. Ему так понравилось быть жуком, что он несколько минут ползал по лагерю, не желая превращаться обратно в человека. Наконец встал, отряхнулся, повернул лицо и разжал рот:

— Сила у них большая, нам не совладать. Штыков с тыщу будет окромя артиллерии. Всего батарея, но со злыми снарядами. К винтовкам полная казна. Пьянства нема. Дисциплина, мать ее за ногу. Ждут, коды нас додают, чтобы по домам блины трескать.

Тут же рядом сидели братья Антоновы. Легендарный командир осунулся, высох, болел тяжелой раной. Партизаны старались отдать вождю побольше своего тепла — невзначай бросали на командира заботливый взгляд. Брат Антонова Дмитрий, поэт и мечтатель, прислонился к родственному плечу. Окончательно срослись Антоновы в тамбовских близнецов, которым не убежать от большевиков: мешают спутавшиеся ножки. Они и умрут вместе. Попытаются с боем вырваться из окружения, в которое попадут в деревне Нижний Шибряй, и будут застрелены на околице.

— Кикин, кто командует? — устало спросил старший Антонов. — Переведенцев?

Вновь схлестнуться с Переведенцевым никто не хотел. Лютый был противник, которого сильно уважали антоновцы. Он воевал с ними так же, как братья тягались с большевиками — лихими кавалерийскими наскоками и ожесточенной рукопашной. Носил Переведенцев на груди четыре Георгиевских креста — теперь хотел столько же красных орденов. Нещадно трепал полк Переведенцева антоновские рати, но никак не мог загнать их в угол. Теперь угол был, а вот Переведенцева, на счастье недобитков, откомандировали в другой уезд.

— Незнакомая рожа, комиссарская.

— Комиссар? Командира убили, что ли? Это кого?

— Два дня назад пустили под откос поезд. Там их вожак, Верикайте, головку и свернул. Теперь лежит в беспамятстве. Все ищет! Как будто потерял! Руками простыню загребают.

— Ха! — изумился Антонов. — Глядишь ты, братка, окромя нас народ воюет. Живем! А чего Верикайте — баба, что ли? Красная амазонка?

— Амазонка? — Кикин не поверил новому слову. — Вроде ба мужик.

Он хотел уползти в траву, чтобы там цыкотать, однако принужден был докладывать далее:

— Большевичка Мезенцев зовут. Приметный командир. Глаза голубые, волосы золотые. Пряничный человек. И на жида не похож. Бабы за ним ыть-ыть... ходят!

— Да, похоже, у тебя самого бабы давно не было! — хохотнули мужики.

Кикин обнажил черный рот и как следует пожевал шуточку. Понравилась, не стал отвечать. Зато подошла к разведчику и ткнулась в пле-

чо беременная кобыла, которую он давным-давно увел в лес. В прошлой жизни Тимофей Павлович Кикин был зажиточным крестьянином из Паревки. Запахивал многие десятины, имел много коней и коров. Паревка слыла богатым селом, но Кикин был богат даже по паревским меркам. От продразверстки Кикин ушел в повстанье, куда переправил почти все свое стадо и капитал. Дом в Паревке сожгли, семью посадили в концлагерь, февральскую запашку, перешедшую от барина к кулакам, раздали голодающим батракам. Партизанская жизнь проела кубышку с деньгами, спасенные было кони протерлись под упругими антоновскими шенкелями, и остался Тимофей Кикин с последней своей кобылой. Ее успел обрюхатить белый жеребец самого Антонова, что Тимофей Павлович воспринял с большой надеждой.

— Ты моя милая, ты моя родная, — Кикин с удовольствием гладил пузатую скотину, — не разрожайся раньше времени, потерпи. Снова будет у меня большой табун, и ты в нем главная красавица.

— Эй, Кикин, — прервал его мечты Антонов, — думаешь, раз мой конь твою кобылу покрыл, то мы теперь родня? Отвечай как положено! Что там Гришка, сукин сын, мести не боится? Али возвратиться надумал?

— Никак нет. Не любит он нас. Хочет в самоволке порешить комиссара.

— Ясно, — сухо сказал Антонов. — Порешит — так хорошо будет. Все ему прощу тогда. И дезертирство, и разбой. Что думаете, братки? Выдюжим сегодня, не дрогнем, если этот Мезенцев на нас пойдет?

— С божьей помощью, — раздался грудной голос.

Елисей Силыч Гервасий, человек старой веры, пришел на восстание поздно, когда у его фамилии отобрали суконные фабрики в селе Рассказове. Ладно бы только станки взяли, но нет — прихватили и отца. Человеком тот был строгим, хотя людей не обижал. Защищал рабочих перед механическим беззаконием: получку вовремя платил, лечение обеспечивал, избу-читальню открыл, однако все равно отыскалась в старообрядческой бороде контрреволюция. Елисей Силыч сбежал от смерти в соседний Кирсановский уезд, где, по слухам, готовилось восстание. И не прогадал. Воевал в отряде Антонова, заряжая молитвой винтовку.

— Бог дал — Бог взял, — говорил Елисей Силыч. — При Никоне мы в леса ушли, теперь вот вновь туда возвращаемся. А богатство? Тю, плюй на него, забудь. За веру семья моя уже немало пострадала, осталось посражаться. Как завещал Аввакум: сильный — сражайся, слаб — беги, совсем ни рыба ни мясо — так хотя бы в душе не покоряйся.

Бытовал Елисей Силыч в одиночку. Это был еще не старый, крепкий мужик с густой бородой. Тело имел плотное, как дубовая бочка. Постучишь по животу — глухое эхо пойдет. Говорил старовер почти всегда не по делу, больше для себя, чем для общественной пользы. Все рассказывал про последние времена, Четьи-Миней, пришествие Антихриста, Заветы Ветхие и Новые. А надобно мужичкам про капустку послушать, где коровку дойную достать, самогона, патронов масленых и девку такую же. Не был Елисей Силыч духовником воинства: слишком много приткну-

лось к нему законных попов, которые косились на старообрядца никонианским взглядом. Он брел с антоновцами сам по себе, сражаясь за только ему ведомый подвиг. У него даже был свой котелок и своя посуда, которой он ни с кем не делился. «С миром не кушаю», — отбрыкивался старовер.

— Вот заладил... Бог, Бог! — зашептал Кикин. — Да разве бы Бог допустил, чтобы у меня земли и скот забрали? У меня, кто их своим потом полил?! У меня, кто отцу Игнатию лучшие говяжьи ломти носил? Я мужик грамотный, книжки почитывал. По Библии, мне старцы прохажие толковали, мясо Богу угоднее всякого злака. Так почему мое страдает? Почему не их?

Елисей Силыч тяжело посмотрел на чернявого разведчика. Товарищи по оружию были совсем не похожи, словно происходили из разного племени. Светлый, голубоглазый Елисей Силыч, крупный, породистый мужчина, и темный, растущий вниз, к земле, человек с быстрыми ручками и стрекозиным оком. Поставь таких перед ученым британцем — тот рассудит: «Сие два разных народа, каждый своего промысла держится».

— Я вот, грешным делом, сомневался, что Бог есть. Прости меня, Господи, неразумного. Все у меня было... и семья, и богатство, и уважение. А потом раз — и отняли до последней нитки. И так легко на душе стало. Не потому, что тятя погибший тяготил — упаси боже! — но ясно помыслилось, что есть Бог. Без Него такое беззаконие случиться не могло. Все по Его воле. Что коммунисты сами по себе? Тю, такая же глина, как и мы. А ты, Тимофей Павлович, Писание почитай, коли на мясо напирался. С Авелем что случилось? Убили его. Вот и большевики — это Каин. Вот на твоей судьбе Божий умысел еще раз и подтвердился.

— И ее, — Кикин ткнул в кобылу, — ее тоже наказали? Где ж это видано, чтобы беременную бабу — да на войну?!

— А ты отпусти, — посоветовал Елисей Силыч, — пусть приткнется к новому хозяину.

— Моя кобыла, что хочу, то и делаю!

— Погубишь ведь скотину.

— Погублю! Но им не отдам.

Старовер хмыкнул в бороду:

— Эко тебя Бог испытывает — кобылой!

— Ась?

— Кого железом, кого кровью, у кого тятю отбирает, — со странной гордостью сказал Елисей Силыч, — а тебя вот... кобылой испытывает.

— Испытывает, значит? — спросили со стороны.

— Сейчас тебе Жеводанушка все объяснит! — обрадовался Кикин.

Виктор Игоревич Жеводанов был самым настоящим царским офицером. Родился и вырос в Тамбове. Произведенным в чин оказался не на Дону, а еще до германской войны. Ее он пролазил на брюхе, туда же был дважды ранен. Прицепился к тамбовским лесам Жеводанов после мамонтовского рейда. Знаменитый генерал в 1919 году как следует прочесал красные тылы и захватил много добычи. Жеводанов тогда отстал от эскадрона и вынужденно затерялся в кирсановской глубинке. С ним

осталась и пара калмыков, до того разбогатевших от войны, что брызгали невысоких степных лошадок духами. Богатый край понравился калмыкам больше, чем воевать за белое дело. Жеводанов не без удовольствия застрелил степняков, по старой памяти налетающих на освобождаемые деревни, и дождался создания централизованной повстанческой армии с погонами. Служил Виктор Игоревич в так называемом «синем полку» с небесного цвета формой. Там, где проходил «синий полк», оставались лежать коммунисты с разодранными глотками. Воевал Жеводанов без стесняющих его обстоятельств. Вообще, унтер-офицеры в войске Антонова были наперечет. Жеводанова даже хотели поставить командовать полком, но он по-прежнему предпочел водить в атаку эскадрон.

— Чего молчишь, святоша? — Офицер недолюбливал Елисея Сильча за чтение моралей. — Ты и правда думаешь, что мы сидим по уши в болоте, без еды и снарядов, зато с детьми и женщинами, потому что наствой Бог испытывает? Ты оглянись, это ли справедливо?

В воздухе зудела мошкара. От досок, брошенных в мочажину, пахло едкими испражнениями. Плакали детишки, и запаршивевшие матери совали в грязные ротки травяную тюрю. Беженцы набились в полузатопленные землянки, где на осинового нарах доходили больные тифом. Инфекцию подхватили от болотной водицы, и лагерь удушливо цвел оранжевыми разводами. Островок Кипец укрылся посреди Вороны, где река разливалась и заболачивала местность, поросшую кочками, камышом, осокой, ивами, кленом, тиной. Без проводников пройти через топкий лабиринт было невозможно.

В болоте антоновцы стояли лагерем уже вторую неделю. Елисей Сильч успел связать из камыша и рогоза молельный дом, куда смешно вползал на коленях. Жеводанову нравилось разглядывать камышовый купол, который вместо позолоты пушился сухими перышками. Такой дом и Бог мог заприметить, а то золото часто глаза слепит. В свой храм Елисей Сильч никого не пускал. Да и войско причаститься рогозом не спешило. Вместо молитвы мужики подрубали болотные кочки и выбирали из них землю. Можно было залезть в кочку, накинуть сверху колпак и пересидеть лихие времена. «Мурашимся», — называл это Жеводанов.

Офицер взгромоздился на подводу с заплесневелой мукой и через бинокль посмотрел в сторону Паревки. Там что-то шевелилось. Оскалился вояка: нравилась ему сладость предстоящего боя. Особенно же нравилось Виктору Игоревичу, что победить в лесной войне уже было нельзя. После успешного сражения, когда трупы еще парили живым духом, Жеводанов вдруг вспоминал, что стратегически восстание обречено, и от радости страшно клацал зубами. Оглядывая торжествующих крестьян, верящих, что сотня перебитых красноармейцев спасет их зерно, Жеводанов хохотал. Смотрящие в разные стороны усы кололи воздух. Клацали вставленные железные зубы. Люди шарахались, но офицер делал шаг и обнимал товарищей.

Поначалу Жеводанову было совсем не весело воевать с красными. Он полагал, что Добровольческой армии вполне по силам выиграть войну,

а значит, ничего интересного в ней быть не может. Интересно ему становилось там, где ничего уже было исправить нельзя, где человеку противостояла не армия с пушками и аэропланами, а бесчисленная силаща, от которой по груди пробежали мурашки. Тогда оставалось надеяться только на себя и тем производить чудо. Втайне, когда бороться будет уже невозможно, ожидал Жеводанов то ли сошествия Христа, то ли еще чего спасительного, что явиться может только тогда, когда всякая надежда вышла вон.

— Идут? — тихо спросил подползший Кикин.

Он был весь в ряске и вонял болотом. Когда у Тимофея Павловича спрашивали, зачем он постоянно ползает, Кикин отвечал, что щупает русскую землю. Присматривал на будущее себе самое вкусное местечко.

— Идут, — кивнул Жеводанов. — Пусть играют тревогу.

— А может... — Кикин облизал губы. — Может, в леса уйти? Что мы против них?

Тимофей Павлович не был трусом, но первым оторыл спасительную кочку и даже пытался в травяной храм заползти. Так, на всякий случай. Вдруг там Бога прячут? Из храма Кикина вытащили, обругали. Тогда Кикин пополз в Паревку, где выискивал остатки своего имущества. Было у мужичка частнособственническое чутье. Он хорошо знал, где подкормиться можно. Вот и теперь Кикин понимал, что лучше срубить камышовую тростинку, переплыть Ворону и уйти в непролазный лес, нежели принять заранее проигранный бой. А в лесу и с силами собраться можно, и поелозить хребтом о пень, и никто не найдет там ни повстанье, ни баб с детишками, ни беременную кобылу. За такую расчетливость Жеводанов немножко презирал крестьян. Офицер считал, что воевать землепашцы пошли из-за веры в победу, тогда как, знай с самого начала, что восстание обречено, никогда бы не слезли с печи.

— Гришку, говоришь, видел в Паревке? — спросил Виктор Игоревич.

— Агась.

— И как он?

— Хорохорится полкан.

— Не видел ты настоящих полковников. Они бы Гришку на гауптвахте сгноили. Перекинется через пень и еще большевикам послужит. Грязь, а не человек. Мелкая душонка. Помяни мое слово.

— А хоть бы и грязь, — возразил Кикин. — Говнеца бы вам в руки накласть и за шиворот. Хотите счастья рецепт? Ляг на землю, пошоркайся об нее, засунь срамной уд в мышиную норку — жизнь в тебя и войдет.

— Откуда же ты к нам приполз, Кикин? — удивленно присвистнул Жеводанов.

Он мог сколько угодно оскорблять крестьян. Деревенским страшно хотелось узнать, кто вставил офицеру железные зубы, и они прощали все его грубости. Виктор Игоревич отмалчивался, иногда подзадоривая публику игривым щелканьем. Каждый счастливчик, которого Жеводанов вдруг начинал оскорблять, рассчитывал, что тот расскажет ему зубную правду. Но он с железным хохотком уходил от расспросов. Виктору Игоревичу нравилось подтрунивать над людьми.

— Пр-р-пр-р-пр, — стрекотнул Кикин. — Говорят, с глузду съехал Кикин, а я так мое щупаю. Люблю землю — жуть. За нее воюю. Жизнь проползаю, зато потом летать буду. Найду большевиков и сверху обгажу.

— Так устроен рай, — согласился Жеводанов.

Антоновцы долго смотрели на Змеиные луга, где в их сторону разворачивались пушки. Рядом танцевала веселая конница. Сейчас бы шамальнуть по всадникам картечью! Только давно увязла в трясине пушка, которую выгребли из помещичьего музея. И гранат больше не было, и к пулеметам осталось всего по сотне-другой патронов, и патронов этих было чуть больше, чем самих людей.

Все, в том числе Жеводанов, Кикин, Елисей Силыч, мужички бандитского вида и молодые парни, устали на Антонова. Его армия была рассеяна по всему Кирсановскому уезду, а часть скрылась в Саратовской губернии. Поражение следовало за поражением. С трудом сформированный штаб почти рассыпался. Сложная армейская структура, которую выстраивали офицеры, перестала существовать. Но Антонов еще был тем самым вождем, который два года собирал и закапывал по губернии оружие. Он был тем бесшабашным революционером, которому по молодости расстрел заменили «Крестами». Там, стреноженный кандалами, он заломал борзых урок, решивших объездить новичка. Ведь не из-за погон, не из-за иерархии, не из-за штаба с картами восставшая Тамбовщина пришла к Антонову. Крестьяне попросили его возглавить повстанье, потому что Антонов был Антоновым. Честным, смелым и гордым человеком. И этот человек по-прежнему был с ними. Здесь, на треклятом болоте. Все ждали его команды. Пусть Антонов уже не скакал на белом коне штурмовать Тамбов, пусть опухал от болотного житья и сох от ранения, однако его рука еще держала винтовку, а глаза горели огнем.

— Ну что, как там поется? Догорай, моя лучина? — слабо улыбнулся вождь.

От радости Жеводанов клацнул зубами. Он вообще любил клацать, представляя, как вырывает у мира часть предвечной тайны. Решил вояка, что сегодня ярким июльским полднем Виктору Игоревичу Жеводанову, одному из бесчисленных миллионов людей, в бесчисленный миллионный раз откроется, что же такое сражаться, когда кругом нет и намек на надежду. Быть может, свершится настоящее чудо, которое превратит скучную солдатскую жизнь в сияющее житие? Тогда Виктор Игоревич посмотрит свысока на умников, начитавшихся книжек, и на бородатых любителей Псалтыря. Высоколобикам ничего не открылось, а Жеводанову, вопреки скрежету зубовному, повезло: никто ведь не ожидал, что прав окажется солдафон с железной челюстью. Всего и требуется, что подставиться пуле. Поскорее умереть — вот первое желание русского человека. Вот чего хотел Жеводанов.

Рядом с офицером, винтовка к винтовке, прилег Елисей Силыч:

— И не надейся. Ты суть самоубийца, а им прощенья не отмерено. Ентю я не позволю.

— А ты гордец, сел гузном на огурец, — рассмеялся офицер.

— Дурень ты, Жеводанов.

Старообрядец личное чудо давно нащупал, а мятежные стремления Жеводанова, невоцерковленные и нестрогие, презирал. Офицер хотел к раю наискоски выйти, а нужно было кружным путем, через посты и молитвы. Виктор Игоревич же не любил проповеди. Раз такой набожный, чего тогда фабриками владел? Чего людей учить стал, когда нужда к стенке приперла? Почему раньше молчал? Так и враждовали партизаны. Требовался Елисею Силычу и Жеводанову кто-то третий, чтобы теологический спор разрешить.

А сам бой был скоротечным. Вспахали песчаную отмель тупорылые снаряды. Сначала рвались они слишком далеко или вязли в болоте, потом стали ложиться кучно, один к одному. Из снарядов выскочила не шрапнель, а железный газ, ошкуривший легкие. Окутал он ладаном камышовую церквушку, заполз в землянки, причащая тифозных больных. Забили по визжащим бабам пулеметы, и, хоть шли очереди над головой, женщины, не выдержав, бросились вплавь. Обманчиво выглядела неширокая река Ворона. Потонуть не потонешь, но бурный поток вырывал привязанных к груди детей и навсегда уносил вниз по течению. Там, поговаривали, лучшая жизнь обосновалась.

Улюлюкая, налетела на лагерь конница. Кто в омут рухнул, коню ноги переломав, кто на острогу насадился или был сбит винтовочным выстрелом, однако пробились эскадроны к болотному стойбищу. Началась неравная рукопашная. Антонова с братом спасли густые заросли, где раненые вожаки пересидели облаву, дыша воздухом через срезанные трубочки.

Кикин, Гервасий, Жеводанов, как и многие другие, уцелели. Виктор Игоревич кричал, рвался под сабли, потрясал гранатой немецкой конструкции и хотел умереть среди безымянного камыша. Там что-то гудело, звало к себе, и Жеводанов в порыве боя жадно разгребал осоку волосатыми руками. Вместо довлеющей силы в зарослях обнаружилась молодая голова в буденовке. Виктор Игоревич с наслаждением полоснул ее по горлу. Когтистые руки окатило кровью. Гул зашептал справа, и он ринулся вбок. Там опрокинул всадника, которого утопил собственный конь. Гул сразу же заворочался сзади. Вояка бросился на зов. Так бы и сгинул в трясине, но его оглушило близким разрывом.

Елисей Силыч увидел, как офицера вышвырнуло на отмель. Гервасий твердо знал, что за други своя нужно выкладывать жизнь, поэтому, как ни пытались его остановить, бросился на выручку. Он преодолел речку, взвалил на спину тяжеленного Жеводанова и кое-как вернулся обратно. Народ дивился: старообрядца не посеколо чудом. Может быть, даже божьим.

Повстанцы немедленно окопались в прибрежном леску. Хмуρο смотрели они, как большевики собирают на болоте убитых, строят колонну пленных, где и баб с ребятишками полно, и здоровых мужиков. Только не было среди спасшихся Антонова. Он пару часов просидел под водой, пока красная пехота ковыряла штыками болотные кочки. Иногда они

вскрикивали и оттуда доставали окровавленного человека. Израненного вождя вытащил на берег родной брат. Отдышавшись, приказал атаман разделиться. Антонов ушел к деревеньке Нижний Шибряй, прихватив самых верных товарищей. Полгода назад, на пике восстания, их было под сорок тысяч — теперь не набралось и двух десятков. Остальные решили выбираться лесом.

Оглушенный Жеводанов оскалил вставленные зубы:

— Не имей сто рублей, а имей сто друзей. Да, Елисеюшка?

В ответ стали рваться снаряды с газом: повстанцев выкуривали обратно на берег. Елисей Сильч увлек контуженного Жеводанова вглубь леса. За ними потянулись те, кто не хотел делать крюк в пятьдесят верст до Нижнего Шибряя, а желал поскорее добраться до родной избы. Все ближе к реке подтягивалась ненавистная артиллерия, и ходил среди пушек мужчина большого живота. Видно: гордится пушечный командир своим ремеслом. Хорошо у него получается. Махнет рукой — падают в лес снаряды. Чередует газ со шрапнелькой. А один снаряд угодил в деревеньку Кипец по соседству с островом, и подбросило вверх деревянный домик вместе с удивившимися на крыше мальчишками.

— Чтоб тебе пусто было, — зарычал Жеводанов. Очень не любил офицер дистанционную смерть.

Слова не рассеялись в воздухе. Зацепил их прямой, совсем не корявый сук. Подтянул к себе, засунул в дупло, и колыхнулось по лесу опущенное эхо. Меж корней, старя листву, рвались снаряды с газом, а лес продолжал обдумывать слова, сказанные отступающим человеком.

IX.

Газ снесло вниз по течению. Тела на берегу лежали красные, обветренные. В обвалившейся землянке жутко выла позабытая баба: ее придавило рухнувшим накатом. Она верещала на непонятном языке. На таком говорят речные чайки. Время от времени вскрикивала болотная кочка, когда в нее всаживали любопытный штык. Это спрятавшегося жука-антоновца находили. В воронках со ржавой водой валялись разбитые зарядные ящики. Так уж повелось на войне, что в воронках непременно должны валяться разбитые зарядные ящики. Разодранная лошадь отползла к бережку попить напоследок водицы, да не дотянулась до нее пары вершков. Кобыла принадлежала ушедшему в лес Кикину.

Остатки банды, переплыв Ворону, скрылись в лесу. Так доложили Мезенцеву. Комиссар хмурился: дерево подступалось к дереву — не прострелить винтовочкой, не колупнуть штыком, только артиллерией взять и можно. Пушечному начальнику было приказано скорректировать огонь. Над головой провыли первые снаряды, и вдалеке, где взгляд поддевали хвойные пики, разорвалось желтое облачко.

— Потери?

К Мезенцеву шагнул Вальтер Рошке, подтянутый, как число до нужного знаменателя. Немец любил точность, логарифмы и когда неуверенную

человеческую жизнь ломало прямое арифметическое железо. Сверкали на лице круглые очки. Посмотрит на кого Рошке — вмиг все тайны узнает. Наряду с Евгением Верикайте тамбовский чекист замыкал революционную тройку, посланную на усмирение злобандитской Паревки.

— Семь убитых, двенадцать раненых.

— Что с пленными?

— Пара сотен. Точно еще не сосчитали. Я приказал сформировать отряды и срочно отправить пленных в Сампурский концлагерь.

— Получается, нас девятнадцать человек пострадало?

— Так точно. — Рошке первому хотелось выразить итоговую сумму.

— Хорошо, — кивнул комиссар и носком сапога ткнул в закоптившегося от газа антоновца.

С лица полетела запекшаяся шелуха. Хотел было ткнуть Мезенцев еще куда, чтобы забыть о лютой головной боли, но Вальтер Рошке поправил командира: не хорошо, товарищ Мезенцев, а удовлетворительно. Антонов в глухой лес ушел. Опять три недели его ловить. Минимум.

Рошке не любил нечетные числа. Их было трудно делить, итог получался дробным, неравным, похожим на партии в упраздненной Государственной думе. Каждое число выделялось, хвасталось своей запятой и не хотело объединяться в единое целое. Трудно поверить, что такие мысли занимали голову человека, подсчитывающего обезображенные войной трупы. Да только был Рошке в первую очередь немцем, чего втайне стыдился. Было неудобно ему за поволжское прошлое, в котором выписанные из-за границы сектанты-трудовики от зари до зари работали в поле, а затем отмаливали земляные грехи в аккуратной кирхе. И так из века в век, не отвлекаясь ни на токующую в траве дрофу, ни на малейший бунт, какой часто прокатывался по волжским степям.

Из немецкой колонии передалась Рошке не только исполнительность, но и ненависть к тем, кто целую жизнь проводит в поле. Ничего бессмысленнее чекист представить не мог, поэтому, списывая оскорбление на акцент, полупрезрительно называл крестьян «крестьяшками». Мечтой его было превратить Тамбовскую губернию в индустриальный Рур, где после кандалной молодости познавал он азы рабочего движения. На полях виделись Рошке заводы, а вместо осевших изб с крестьяшками — удобные домики и люди в одинаковой униформе. Круг истории разомкнется, образует прямую линию, и освобожденный народ начнет восхождение к великому зданию коммунизма.

— Товарищ комиссар, — крикнул прискакавший с батареи вестовой, — товарищ Клубничкин рапортует, что у него заканчиваются снаряды. Он просит прекратить стрельбу.

Рошке повернул сухую, еще даже не тридцатилетнюю голову в сторону Змеиных лугов. Там ухала артиллерия. Он не любил начальника дивизиона из-за хохотливости, живота, похожего на сдобную булку, масленых усов, в общем, из-за того лавочного, купеческого видка, — а ему доверили орудия, требующие знаний о благородных катетах! А еще ненавидел Рошке саму фамилию Клубничкин, которая казалась ему издева-

тельством над пролетариатом. Другое дело Беднов, Смолин, Головеров да вот хотя бы Мезенцев, которого Рошке почитал за своего духовника (тот был еще более задумчив и строг, чем идейный коммунист Вальтер), но... Клубничкин? Здесь же не randevу с барышнями! И пистолетное имя у Рошке тоже было неспроста. Носил он в кобуре соответствующее инициалам оружие.

— Добро, — кивнул комиссар. — Все равно толку нуль.

Батарея затихла. Солдаты стаскивали погибших в кучу, чтобы рядышком и прикопать. Наиболее обезображенные тела Мезенцев приказал отвезти в Паревку, прямо к церкви, как напоминание о пагубности любого сопротивления. Давно пора Паревке святыми мощами прибарахлиться. На месте боя, копаясь в порванной упряжи и подсумках, шнырял Федыка Канюков. Он ловил уцелевших коней, присовокупляя их к общему табу. Мимоходом смотрел на трупы. Мертвые лежали густо и без особого толка. Парню пришлось постараться, чтобы найти павших не зазя, а красиво, как будто напоследок люди раздвинули райские кущи и Бога увидели. Рядом слонялись братья Купины. Известные близнецы-балагуры, лупоглазые, курносые, толстые, даже немножко раздутые, перехваченные посреди живота специальными ремнями. Сегодня братья в ближнем бою не участвовали — так, постреляли из пулемета с шестисот шагов. Под конец войны лучше не подставляться: дома бабы овдовевшие ждут и поспевшие ягодки-сиротки.

— Малой, чаво мародерствуешь? — в шутку крикнули Купины. — Пошел бы баб половил!

Федыка схватил за узду испуганного коня, увязшего в яме, шепнул пару ласковых и помог тому выбраться из омота. Улыбнулся Канюков ртом-веснушкой и покосился на командиров. Рошке суеты не одобрял, прикрикнул на Купиных, а Мезенцев смотрел в бинокль то на лес, то на деревеньку Кипец, что на другой стороне реки. В руке у комиссара торчала обыкновенная тростинка. Он сорвал ее, когда забрел по колено в воду.

— В Кипец зашел эскадрон?

— Так точно. Докладывают, что бандитов нет. Я обязан высказать предположение, что преступники знали об атаке. Их предупредили, поэтому они заранее улизнули вместе с вожак. Естественно, их предупредили паревцы. Согласно приказу сто семьдесят один, целесообразно применить меры высшей социальной защиты...

— Вот что, Вальтер, — ответил Мезенцев, — мы не можем решать такие большие вопросы без непосредственного командира. Все-таки без его подписи любой приказ недействителен. К слову, вы не задумывались, почему у Верикайте женская фамилия? Никак не могу взять в толк... Впрочем, как бы вы, Вальтер, в разгар боя перебрались на тот берег?

Комиссар явно рассуждал о своем. Немец счел это следствием мандража от первого за долгое время боя. Еще в Тамбове, командирова Рошке к Верикайте и Мезенцеву, чекисту посоветовали смотреть за комиссаром: тот после ранения в голову страдал душевной тревогой.

— Не понимаю смысла задачи. Переплыл бы.

— А вот и неправильно, Рошке. Это же бандитское восстание, а бандиты всегда держатся за вожака. Случись что или измени он кому — сразу за ножи. Нельзя было Антонову бросаться в воду и драпать. Не поняли бы. Особенно он не понял бы. Нет, любезный Вальтер. Антонов с братцем, пока мы здесь лясы точили, сидели у нас под боком. А потом тихонько, когда все улеглось, ушли.

— Ну и где они сидели? Солдаты прочесали местность, — хмыкнул Рошке, — я лично командовал.

— А под водой, в камышах. Вот через это дышали.

Мезенцев протянул товарищу тростинку, которую сжимал в руке. Она оказалась полый. Через нее можно было свободно дышать.

— Почему вы так уверены?

— Какая смелость нужна, — продолжал Мезенцев, — чтобы находиться всего в нескольких метрах от нас и ничем себя не выдать! Ни пузырьком, ни звуком...

— Мне это не ясно, — заметил Рошке чуть холоднее, чем нужно.

— Не ясно? Мы такие трубки в детстве делали. Затаишься в зарослях и ждешь, когда девки купаться прибегут. Просто забава... Понимаете, Рошке?

Чекист пожевал губами:

— Нет, не понимаю. Мы так не делали.

И бросил тростинку на песок. Давить ногой не стал, дабы не показать поднявшегося раздражения. При чем тут глупые русские трубочки? Мы ведь на войне! Рошке вырос с примесью немецкой крови и масла, для него революция — это часовой механизм, который надо почистить от пыли, отрегулировать, отладить, чтобы он начал биться, работать, свистеть, чтобы крутились жернова, а для этого надо ошкурить его от ржавчины, ржавчина же — это засохшая кровь. А тут срезанная трубочка, через которую целое повстанье дышало! Неужели правду сказали в тамбовской ЧК, что голова Мезенцева от войны окончательно раскололась?

Втайне от комиссара попробовал Рошке вытащить мохнатый кончик травинки из зеленого стебля. Рука осторожно потянула за ближайший жесткий стебель. Тот не хотел идти вверх. Он дернул сильнее, и зеленая сабелька рассекла чекисту палец. Не дрогнув в лице, Вальтер приложил к пальцу платок, которым обычно протирал очки. Крови было немного, так, всего полосочка, но показалось Рошке, что разом уставилось на него все болото: лопухие красноармейцы, трупы, сложенные штабелем, Мезенцев, кони, камыш с головастиками и неугомонные братья Купины, которые вот-вот заржут, прославив чекистский конфуз. Только никто и не думал смотреть в сторону образцового коммуниста Вальтера Рошке. Он незаметно спрятал испачканный платок в карман.

Федька Канюков доловил последних лошадей. Беременную кобылу с разодранным животом трогать не стал. Побоялся Канюков, что она может быть жива и тем расстроит его. Прозвучала команда строиться. Отряд двинулся в Паревку.

Дальнейшее Олег Мезенцев помнил с трудом. Забился под черепом крохотный белогвардейский шарик — тук-тук, тук-тук. Большого и светлого Мезенцева, который вытерпит, если бы его даже рвали на лоскуты, мутило. Он не мог понять почему. Может, ударился головой при крушении поезда? Или поранился в бою на болоте? Память с трудом подсказывала, что лоб трещал еще на германском фронте. Или в голове засел осколок, подхваченный на перегороженных улицах Архангельска? Иногда Мезенцев полагал, что причина его страданий не физическая, что череп раскалывается в наиболее важные минуты, требующие от комиссара, посланного додаться Тамбовский мятеж, ясности сознания. Окружающий мир пульсировал, накатывал волной, готовой смыть человеческую гальку в багровый океан. Чудилось, что там кто-то плямкает веслами, словно бьет ложка по тарелке с борщом. Плямк. Страшный детский каприз. Плямк-плямк. Мезенцев считал, что если он поддастся, упадет в зовущую жижу, то уже никогда не очнется. Он превратится в пульсирующий белый шарик. А потом вспыхнет или взорвется. Как звезда.

— Товарищ комиссар, товарищ комиссар!

До командира пытались докричаться, потому что на батарее, через которую проезжала конница, Рошке схватился с Клубничкиным. Тот не приказал после стрельбы прочистить орудия оружейным салом, за что получил замечание от бдительного немца, который в свою очередь был тут же им послан... куда-то в сторону Антонова. Балагуры Купины заготовали, а взбешенный Рошке с побелевшими от ненависти очками ошупывал германскую кобуру. Еще у чекиста закровил палец. Клубничкин, отличаясь не только богатырским здоровьем, но и умственной фантазией, выхватил артиллерийский шомпол и огрел им коня Рошке. Тот припустил галопом под хохот батареи: на исходе войны никто не любит ее фанатиков.

В селе комиссар отмахнулся от заведенного Рошке, требовавшего жестоко наказать Паревку и Клубничкина, которому для начала стоило сменить фамилию на что-то более подобающее. Оклемался Мезенцев только к вечеру, когда его потащили на место убийства комбата. Из артиллериста как будто вынули душу: живот превратился в месиво. Дальше Мезенцева снова захватили фантомные боли. Он смутно помнил напыщенную речь на паперти, за многословие которой ему теперь было стыдно. Перед глазами возникли свеженькие трупы, которые он приказал расстрелять. Почему-то так и подумалось — приказал расстрелять трупы. Или одного повесили?

Сквозь вату в ушах пробился бабий плач и вызывающее мужское молчание. Мезенцев оглянулся и обнаружил, что стоит на приступке церкви, а в сторону Вороны с воплем убегает дурачок Гена. Федька Канюков, раскрыв рот, смотрит на внесудебную расправу. Трясущийся поп Коровин не может вымолвить ни слова. Вот улыбаются Купины, как будто рядом стоит похабник Клубничкин, которого... точно... точно... пару часов назад нашли распотрошенным у кромки барских садов. Убийца сознался. Какой-то Гришка Селянский, знаменитость двух с половиной волостей.

Пожар в голове затихал. Комиссар пришел в себя и понял, что сегодня лето. Июль двадцать первого года. Перед ним плачут бабы и, злобно сжимая в душе кулаки, качается бородатое море. Холодность влилась в Мезенцева. В крови заискрила поморская соль.

— Рядовые! — рявкнул комиссар, и к нему, перестав лыбиться, подлетели Купины. — С приписанным к вам по штату оружием на колокольню марш! — А затем: — Вальтер Рошке!

— Слушаю!

— Баб — налево, мужиков — направо. Красноармейцам оцепить... — он запнулся, не зная, как назвать церковный пяточок двадцать на двадцать метров, — оцепить площадь. Никого не впускать и не выпускать. Ясно?!

Ах как запело от этих слов сердце Вальтера Рошке! Право! Лево! Это же строгие вектора! Это почувствовала и логарифмическая линейка, которая торчала у Рошке вместо позвоночника. Давно он ждал такого приказа, мечтая, что похожим металлическим голосом по новому, социалистическому радио будут зачитывать Гете. Блеснули кругляши на глазах чекиста. Углядел он в лице комиссара марку лучшей немецкой стали.

— А ну, становись!

Мужики зароптали, но сгрудились мохнатой массой справа от церкви. Было их человек сто, а может, сто пятьдесят. Крестьяне были как на подбор: домовитые, суконные, привыкшие работать с утра до утра — нужно же одевать и кормить с десятков ребятишек. Несмотря на голодный год, по мужикам было видно, что они не голодают. Бабы смотрели на девку Арину. Та рыдала над трупом Гришки. Чувствовали женщины, что вскоре им придется перенимать слезную премудрость. А мужики не понимали — разве что поп Игнатий Коровин, взглянув на небо, истово замолился.

— Попа к крестьяшкам плюсуем? — уточнил Рошке у Мезенцева.

— Слагайте.

Коровина втокнули в гомонящую кучу мужиков, где он тут же перестал трястись. Одному в рай идти страшно — могут и не пропустить, а гуртом, точно, примут. Те, кто посмышленей, подходили к батюшке поцеловать на прощание крест. Игнатий почувствовал неведомо откуда взявшуюся мощь. То ли сошла она в него с неба, запнувшись о крест на куполе, то ли передалась через приклады красноармейцев. А может, воспрял Коровин, потому что ни на секунду не пожалел о закопанном в саду храмовом добре. О мешках с мукой, которые утопил в Вороне, о курочках, яйках и белоснежном гусе, принимавшихся от сельчан по праздникам, а чаще без них. Понял, что это лишь мирская суета, и стало Коровину совестно, что до седьмого пота заставлял трудиться юродивого Гену. Вот бы прощения у него попросить. Игнатий посмотрел на Гришку, валяющегося в пыли, и тоже попросил простить. Не хотел он предавать бандита. Просто испугался. Спросили бы Игнатия Захаровича про часы сейчас, он бы лишь усмехнулся — нá, лучше сердце мое послушай.

Открылась священнику главная правда христианства: жизнь нужно прожить так, чтобы стать Богом. Не в языческом, конечно, смысле, молнии и туча метает, а чтобы быть во всем подобным Христу. А он повелел прощать врагов. Коровин обвел взглядом красноармейцев во главе с папертным комиссаром и попросил у них прощения. Посмотрел отец Игнатий и на сельчан. Маленькими они показались детьми. Он поспешил их обнять и приголубить. И так искренне заплакал от счастья, что заискрилась борода. С каждой слезинкой выкатывалось из Игнатия скоромное сало и сдобный каравай. Он худел прямо на глазах, готовясь к главному в жизни путешествию. С большой радостью зашептал слова молитвы. Возможно, он пережил бы еще какую метаморфозу, но на это просто не хватило времени. Даже занять подобающий вид у Игнатия Захаровича Коровина не получилось.

Мезенцев, подняв руку, крикнул:

— По кулакам-разбойникам, оказывающим помощь антоновским бандитам, огонь!

Купины переглянулись — весельчакам немножко поплохело. Никто не сказал «с богом»: слишком уж кощунственно вышло бы, однако каждый внутри перекрестился. Так, на всякий случай.

— Я сказал — огонь! — прошептал Мезенцев.

Зачихал пулемет, установленный на колокольне. Сытный получился расстрел. Первый Купин подавал ленту, а второй усердно, высунув красный рязанский язычок, косил собранных в кучу мужиков. Люди падали целыми гроздьями, утягивая на тот свет одного за другим. Сосед цеплялся за соседа, сын за отца, а тот подтягивал свояка. А все вместе они почему-то схватились за священника, которого никто при жизни не уважал, но вот тут, когда терять было уже нечего, признали мужики за Коровиним большую силу. Глядишь, могла она высвободиться, полететь над долинами и городами да оттолкнуть апостола Петра от райских врат: все вместе бы, несмотря на мучные дела, в рай попали. Только не дал развернуться силе обыкновенный пулемет — лежал Коровин с развороченной грудиной так же мертво, как и остальные сельчане. Выживших, ставя жирные точки из вальтера, добивал Рошке. При каждом выстреле сухое лицо в круглых очках удовлетворенно вздрагивало. Так бывает, когда наконец решается простенькое уравнение, которое долго не хотело сходиться. Нельзя сказать, что Рошке получал садистическое наслаждение. Он не ненавидел и не любил убитых. Ему лишь нравилась точность пистолетного выстрела. Вокруг пальца чекиста был намотан красноватый лоскут.

Сквозь бабский вой Мезенцев прокричал:

— Личности расстрелянных установить. Имущество арестовать. Родственников в концентрационный лагерь. Мобилизовать бедноту и середняков на рытье общей могилы. Личному составу, за исключением часовых и охранения, после построиться здесь же. Рошке, командуйте!

Люди почувствовали большевистскую силу: бабы замолкли и покорно разбирали еще теплых мужей — может, чтобы прижаться напоследок, а может, попробовать последних детей зачать. Купины спустили с коло-

кольни пулемет и теперь вертелись возле комиссара. До чего Верикайте крут, но такого никогда не позволял. Ну и комиссарище полку достался!

Через пару часов Мезенцев построил солдат шеренгой и коротко изложил то, что давно мучило голову:

— Антонов с остатком банды ушел в лес за Кипцом. С ним раненые, причем тяжело. Возможно, ранен и сам Антонов. Они тащат обозы с награбленным добром. Они могут выйти к любой деревне, выползти даже в Саратовскую губернию — и тогда война, новые жертвы, тогда то, что произошло сегодня, повторится. Не один и не два раза.

«И не три, — подумал про себя Рошке. — Четыре, четыре раза повторится». Чекист ведь не любил нечетные цифры.

— Мы обязаны броситься за Антоновым. Взять пару проводников, двадцать человек солдат, догнать банду и добить ее. Отдаю себе отчет, что воевать в лесу с партизанами — дело неблагодарное, но их мало. Они разбиты, истекают кровью, устали, сам лес окружен нашими летучими отрядами, и если мы не сделаем этого в ближайшее время, бандиты затаятся по схрамам. Рошке!

— Слушаю!

— К утру соберите команду. Не больше двадцати человек. Найдите проводника из местных. Лучше двух. Утром, в четыре часа, выступаем к реке Вороне, форсируем ее и углубляемся в лес. Взять необходимого фуража и провианта на три-четыре дня. Пошлите вокруг леса дополнительные конные разъезды. Выполнять!

Что уж говорить, были красноармейцы невеселы. Мечтали пересидеть жаркое лето в относительно сытом селе, где сегодня стало на сотню бесхозных женщин больше. А тут неугомонный комиссар от незнания военной науки гонит в гиблый лес. Рошке, не снимая очков, осторожно протер платком линзы.

— Вы отдали этот приказ, потому что не можете дожидаться, когда очнется Верикайте? — спросил чекист.

— Совершенно верно. Ждать не можем. Уйдут.

— Знаете, о чем я жалею?

Мезенцев решил, что сейчас Вальтер начнет рассказывать об убитых. Комиссар навидался подобных типов — они сначала лезут расстреливать, а потом стирают заляпанный френч и вспоминают: «Вот, помню, офицера кончал — так он смеялся, по плечу хлопнул. Молодец, достойно смерть принял, уважаю». Мезенцев считал это душевным изъяном. Смерть не должна быть тем, о чем можно написать мемуары. Это просто необходимость. Точно такая же, как чистка пистолета или ведение бухгалтерской тетради. Приход-вычет. Приговоренные записаны в столбик. Убитые — по горизонтали. Под красной чертой: «Итого».

Комиссар приготовился пропустить мимо ушей рассуждения Рошке, но тот сказал:

— Жалею, что дурачок удрал.

— Вы что, его тоже хотели расстрелять? — удивился Мезенцев. — Умалишенные не несут классовой ответственности.

— Нет. Его нужно отправить на лечение в московскую больницу. Там бы к нему применили новейшую терапию, сводили бы в душ Шарко, осмотрели выписанные из Европы психоаналитики. Вы знаете, что такое психоанализ? Это классовый анализ, примененный к душе. Ведь советская власть не только карает.

— Не пойму, Рошке, вы намекаете, что я поступил неправильно? Что мандаты надо было подписать, а потом стрелять? Хорошо. В следующий раз, обещаю, ни один кулак без подписи не умрет. Довольны? Или доложите в тамбовскую чеку?

— Мне, собственно, индифферентно, — пожал плечами чекист, — хотя по правилам лучше с мандатами. Показательно, что мы обсуждаем не этическую сторону дела, правильно или нет расстреливать, а то, как это нужно было сделать. С мандатами или без? Этим мне нравится революция: у нее, знаете ли, даже сомнений в нашей правоте не возникает. И все же, что вы думаете о сумасшедшем?

Комиссар потер зудящий над бровью шрам и высypал на ладонь пилюли:

— Если вы хотите знать мое мнение — пусть лучше дурак кончится на воле, чем под психоанализом.

— Гм... Вы не знаете, что такое психоанализ?

Мезенцев не ответил на вопрос. Снова одолела комиссара лобная колика. Наверное, Психоанализ — это немецкий коммунист, возможно давний товарищ Рошке. Ухмыляющийся чекист смотрел, как голосащие бабы перебирают умершее мужичье. Выбирали они мужика получше, потолще, чтобы и хоронить было не стыдно, и могила вышла пожирней. На такую могилу сыновей не стыдно привести, когда из повстанья вернуться. Крестьянки на ярмарке так же жадно роются в цветастых платках.

— Босх! — иронично заметил немец.

— При чем тут Бог? — удивленно спросил Мезенцев.

Чекист постоял, тактично считая в небе шары раскаленного газа, а затем поспешил выполнять приказ командира. Вальтер Рошке был полностью удовлетворен. Оказалось, не знает комиссар ни про психоанализ, ни про Иеронима Босха. Улыбнулись очки. Уже дважды был отомщен порезанный о травинку палец.

X.

Хутор Семена Абрамовича Цыркина расположился в укромном местечке. По Столыпинской реформе семитский мужичок vykроил участок земли у господского леса, куда и перевез семью. Не из-за черты оседлости, а из цепкой паревской общины. Конечно, Цыркин не был иудеем. Он числился прихожанином паревской церкви, и его дети, которых у Семена было пятеро, по домовым книгам считались православными. Когда они сгнули все, кроме единственной дочери, то и кресты поставили деревянные — такие же, как и другим солдатам, погибшим на германском фронте. Только вот никто не лежал в пустых могилах у паревской церк-

ви. Далеко-далеко остались сыновья Семена Абрамовича. Как ни хитрил Цыркин в первую революцию, когда в губернии полыхали помещичьи усадьбы, как ни скрывал свое неудобное происхождение, но не смог уберечь семью от беды.

— Помните, — говорил он детям, — русский человек — он, конечно, добрый, да только когда выпьет. Иначе — зашибет. Для того мы Руси и нужны, чтобы она умасленная на земле лежала и ни с кем драться не лезла.

Семен Абрамович специально забрался подальше. В Паревке он был неоднократно бит за чужую рожу и обильное трудолюбие, исключительное даже для зажиточного села. На отшибе хуторянин обзавелся скотом, сеял зерно, брюкву, репу, однако основным промыслом Цыркина на долгие годы стала винокуренная. Поначалу промышленял бражкой, медовухой, ставил настойки. Развернувшись, попробовал гнать самогон, зеленое вино. По закону сдавал его государству. Платил налоги согласно акцизу и щедро поил всех, кто мог причинить Цыркиным вред. Вскоре к хутору потянулись подводы. Вино у Цыркина было не лучше того, что умели делать сами крестьяне, а в Тамбовской губернии косорыловку гнал каждый дурак, но все были уверены, что у него к тому есть особые способности.

— Тебе по роду положено нас спаивать, — смеялись мужики и, довольные, везли домой хлебное вино.

Все чаще сдавали они зерно не в домашнюю ригу, а продавали Семёну Абрамовичу. Тот построил на хуторе небольшой завод с трубой, дымок в ясную погоду можно было различить из Паревки. Цыркин по-прежнему сдавал вино казне, хотя втайне от государства расширял промысел. Делец колесил по уезду, искал бандитские шинки и хитрых купчиков, готовых ради барышей обойти винную монополию. Заводик Цыркина год от года расширялся, а сам он богател. Батраков не нанимал — на что сыновья дадены? Вскоре поползли по уезду завистливые слухи, а за ними разного рода приказчики от духовной консистории. Ревизоры уезжали с хутора лишь на следующий день. Да не одни, а с большой головой. Так худо-бедно вырастил винокур всех сыновей. Кого-то отдал в ремесленное училище, кого-то в университет, кто-то остался помогать на хуторе, но, как ни странно, ни один из отпрысков не ушел в революцию.

Многое изменилось с началом войны и введением сухого закона. Нет, чиновники всё так же опаивались самогоном, однако на фронте гибли целые дивизии и, как ни упрашивал Цыркин, сколько ни давал денег, чтобы в войска призывали увальней из Паревки, а не его деток, ничего не помогало. Сыновья винокура попали в пехоту, а значит, домой их ждать было нельзя. Университетский сын пошел вольноопределяющимся. Семёну Абрамовичу было стыдно, что он не смог устроить деток в гимназию, дать математическое образование, тогда бы они служили в артиллерии, где вероятность не растерять ножки-ручки была повыше.

С тех пор Семен лелеял единственную дочку. В домово́й книге ее звали Серафима, а на хуторе — Симой. В семнадцатом году отец отрезал

ей длинные волосы и наказал мазать лицо сажей, если к хутору подъезжают незваные гости. Времена пришли лихие, и дочку Семен Абрамович берег пуще винного погреба. Опустошали его неоднократно — то красные, то зеленые, то кулаки из Паревки, а то и просто бесцветные люди. Семен Абрамович обеднел. Все реже дымил труба винокуренного заводика. И при большевиках было тяжело, и когда Кирсановский уезд лежал под Антоновым, и без борцов за народное счастье тоже приходилось несладко.

— Скажите, пожалуйста, — вежливо осведомлялся Цыркин, — мы слышали, что товарищи антоновцы не пьют. У них дисциплина и сухой закон. Так зачем же вам наше вино?

— Пить будем, дядя, — отвечали ополченцы и уезжали восвояси.

Цыркин оставался в недоумении. Он ожидал афоризма, хотя бы логичного объяснения, которое бы покрыло явную несправедливость, но все оставалось глупым, как и многое в этой большой стране, до сих пор непонятной Семену Абрамовичу. Он знал, что наказание за пьянство у Антонова строгое — от пятнадцати плетей до расстрела. Почему же чуть ли не каждый разъезд обдирал его как липку?

Семен Абрамович уходил в дом и усаживал напротив Симу:

— В конце концов, большевики грабят нас не больше, чем антоновцы, так почему говорят, что под ними будет хуже?

— Папа, — хлопала Сима черными ресницами, — так они же тебя повесят, как спекулянта.

— А эти повесят меня, как жида. А тебя снасильничают.

Сима отводила взгляд и сутулилась. Ей целых семнадцать лет, и она успела начитаться привезенных из Тамбова книжек. Отец не догадывался, но Сима уже не могла видеть ни хутора, ни прижимистых паревских крестьян. Ей хотелось свободы, дороги и какого-нибудь города, где есть тайны, библиотеки и тот самый молодой человек. А власть? Ни власть зеленых, ни власть красных Серафиму не интересовала. Девушка давно поняла, что власть не может быть справедливой. Особенно та власть, которая зовется народной. Да и Семен Абрамович Цыркин любил повторять: «Когда власть есть, я ее, как порядочный человек, презираю. Если же власти нет — меня тут же волокут к проруби».

— Папа, — предлагала Сима, — так давайте хоть раз этим... людям подсыпем что-нибудь?.. Да лебеды, да бледных поганок сушеных! Отравы крысиной! Помрут, а мы в лес, прочь из губернии... да куда глаза глядят! Неужто вы не видите, что все они одинаково... плохие?

Шли месяцы. Антонов отступал вглубь Кирсановского уезда. Его молодцы по несколько раз на дню вламывались на хутор. В один из вечеров заехал к Семену Абрамовичу красный разъезд из командира и двух солдат. С утра неподалеку, всего в нескольких верстах, гремела канонада, поэтому винокур ждал гостей. Кинул дочке тряпья на кровать, загнал мелкую живность в погреб, который вырыл в леске, туда же припрятал оставшееся зерно, а мутное пойло, наоборот, держал под рукой.

— Выходи, кулак! Зерно народное прячешь?!

Цыркин признал в краскоме тонкие семитские нотки, чему внутренне обрадовался. Сима сразу же была отправлена в дальнюю комнату, а гости потчеваны дефицитным спиртом.

— Что, Семен, — выпив, спросил гость, — гонишь самогон, когда половине губернии жрать нечего? Говори, где зерно берешь? Страна, мать твою, голодает! А ты — самогон?

Хозяин виновато затараторил:

— Что вы, что вы, товарищ! Я же вижу, что вы наш человек.

— В смысле — наш? — напрягся большевик, видимо, стесняющийся своих корней.

Те выпирали в нем не слишком живо, да приметно — в глазах навывате, припухлых губах и пусть русых, но курчавых волосах.

— Ты хочешь сказать, что я брат спекулянту?

— Как же, ну как же вы такое могли подумать! Я же говорю, что вы тоже рабочий человек. А зерно мы ни у кого не брали. Сам выращивал, вот этими вот руками, смотрите прямо сюда! Продналог зерном в срок заплатил, а что осталось, так есть грех — пустил на вино. Могу квитанцию показать.

— Врешь! Я точно осведомлен, что антоновцы тебе зерно сбывают, а ты его перерабатываешь на водку. Говори, заезжал к тебе кто-нибудь? На подводах? Своим ходом пришли? Что ты им дал? Отвечай!

— Что вы! Антоновцы только и могут, что пограбить или погрозиться сжечь.

— За что сжечь? Ты же, тварь, заодно с ними.

— За то, что жид. Понимаете, товарищ, они жидов страсть как не любят. Никаких дел с жидами иметь не хотят. А сегодня никого не было, богом клянусь.

Цыркин осторожно убрал чарку и поставил вместо нее глиняную кружку и полштофа. Он почаще повторял слово «жид», от которого гость все больше хмурился, чувствуя, что и его антоновцы могут повесить по кровному признаку.

— Кулаки... — наконец выдохнул командир и кивнул Семену: — Отнеси бойцам черпачок.

— Стоит вам только сказать!

Хуторянин привык к пьяным налетам. Сегодня антоновцы, завтра красные, потом просто бандиты, на Святки большевики-бандиты, через неделю антоновцы-коммунисты, потом белые-социалисты и черт бы побрал кто еще! Для Цыркина вооруженные люди всегда были на одно лицо: все они принюхивались, чуя женскую плоть, и всех хозяин пытался побыстрее напоить. Но, чистая правда, ни вчера, ни сегодня никакие антоновцы или другие бандиты к Семену Абрамовичу не заглядывали.

Когда большевик порядочно захмелел и все чаще подпирал рукой ключющую голову, Цыркин решил поинтересоваться:

— Товарищ офицер, а что с Антоновым? С утра перестрелку было слышать.

— Какой я тебе офицер... А-а-а... за своего защитника тревожишься?! — Рука потянулась к шашке.

— Что вы, что вы! Хочу знать, покончили ли с кулаками. Они мне в Паревке шагу ступить не давали.

Военный, выпив еще кружку, поведал хуторянину про лихую конную атаку на болотный лагерь, которую, конечно же, возглавил лично он. Про страшную мясорубку, после которой бандиты бросились к реке Вороне, а он, скромный солдат революции, следовал за ними и рубил, рубил, рубил. Коммунист махал рукой вместе с кружкой, и самогон лился на деревянный стол, как скучная, серая кровь. Затем размахнулся и кокнул о стену пустую бутылку. Так, по его словам, бандитов разрывали советские снаряды. На столе тут же появился непечатый штоф.

Пьянка длилась долго. Солдаты во дворе странно копошились и подгагакивали.

— Получается, — спросил Семен с надеждой, — Антонов убит?

— Не-е... Снова удрал, с-собака. Ищем. Может, ты его прячешь, а?!

— Зачем же господин-товарищ так думает? Они же жидов вместо фонарей вешают.

На дворе не забрехала собака (ее давно пристрелила очередная банда), но Семен Абрамович сразу почувствовал, что на хутор пожаловал кто-то еще. Ноги тут же окоченели. Хоть сейчас на холодец. Вот-вот войдет в хату смутно знакомый антоновец, крикнет Цыркину как старому другу, потребует зычно вина, и к утру кончится жизнь Семена Абрамовича Цыркина вместе с жизнью дорогой Симочки. Украдкой он заглянул в комнатушку дочери, однако никого там не нашел. «Прячется, — обрадовался отец. — Ничего, в погребе все пересидеть можно».

Со двора донеслись пьяные крики. Сначала протестующие, почти испуганные, затем, когда кто-то с кем-то чокнулся, вполне миролюбивые.

— Семен, кто это там к тебе? — Пьяница подтянул шашку поближе.

— Не знаю, товарищ большевик.

Рука искала револьвер, но находила то цибулю, то огурец. Дверь распахнулась, и в хату шагнул грязный, косматый и явно голодный человек.

Он снял с головы свалывшуюся казачью папаху и пристально поглядел на окосевшего коммуниста:

— А Семен где?

Тот оружием указал в угол. Винокур сидел, покорно сложив руки на коленках.

— А это кто? — спросил вошедший, кивнув на размякшую пьянь.

— Это... уважаемый человек, большевик из Паревки.

Еврей ожидал перестрелки, гость же бухнулся за стол и прогудел:

— Там мои хлопцы с твоими во дворе устроились. А чего нет? Один хрен — война окончена. Надо тепереча хоть пожрать как следует. Корячем?

— А? — не понял большевик.

— Ну, дерябнем?

— Выпьем, что ли?

— Да, чеколдыкнем!

— А давай! Думаешь, забоялся? А вот хрен тебе! Нас из чугуна льют, не попужаешь!

Антоновец глотнул из чужой кружки и скомандовал Семену Абрамовичу:

— Чего встал, неси шкалик! Выпьем за упокой Паревки. Перестреляли сегодня половину села.

— Это каку половину? — встрепенулся большевик. — Не так было! Уконтрапунили спекулянтов и кулаков. Человек сто всего. Какая половина?! Бедноту с середняками не трогали! Врешь, собака! Я тебе, падла, за это!..

— Да какая хрен разница? Половина или полста? Это их потом начнут считать. А ну, Семка, неси, не жмись! Выпьем вот с новым знакомым. Поспорим об арифметике.

Коммунист злобно вылупил на незваного гостя, но не стрелял. Может, был уже слишком пьян, может, боялся последствий, не зная, сколько за порогом бойцов — ни одного или двадцать. Наконец он прошипел:

— Ты кто?

— Кто-кто... Хрен с грядки! Лесной дядя я. Дезертировал на вольные хлеба, подальше от смерти. Не враг я тебе больше. Да ты не кипятись. Давай выпьем. Ты ж такой же человек, как и я.

— А-а, хрен с тобой! Наливай!

Чокнулись, распили. Со двора грянул хохот, и партизан повелел Цыркину вынести за порог еще полштофа. Когда еврей вернулся, командеры пьянствовали вовсю. С голодухи антоновца разобрало так же крепко, как и большевика. Тот смотрел на врага без ненависти, однако с укором, мол, ты же неплохой на самом деле человек, зачем заставлял себя ловить два года? Бандит больше налегал на картошку, макая ее в крупную желтую соль. Картошка приятно скрипела на зубах, и большевик чувствовал к противнику понятную боевую нежность, какая бывает у тех, кто долго друг с другом воевал.

— Скажи-ка, паря, а почему ваши наших жутко мучают? Ради смеха ставят в ряд и стреляют как по бутылкам. В какую деревню ни заехать — а там мы болтаемся с табличками на шее. Отчего так?

— А вы почему нас убиваете? Уши корнаете, языки, чашечки коленные срезаете. И к дереву приколачиваете. Мы вам что, попы? Ну ладно меня, понимаю... есть за что, но молодых сопляков? Они же жизни не нюхали, а вы их к дереву!

— Так мы только виноватых кончаем. Кто повинен в страданиях народных.

— А мы что, невинных убиваем? Тоже все ради народа.

— Русского народа?

— Русского. А ты русский?

— Русский.

— И я. Порой своих бойцов послушаю, а потом к пленным иду... и, хоть убей, не могу понять, где свои, а где чужие. Одна ряха, говор один. Ты вот как со своими разбираешься?

— Как-как... Ты на рожу не смотри, они все одинаковые. Тут чутье должно быть, без него людей не обособить. Подходишь и нюхаешь. Кто не по-нашему пахнет, того в расход.

— Чутье, говоришь? Понимаю... Накатим?

— Давай.

Семен Абрамович потихоньку оттаивал. Антоновец привел всего двоих солдат. Они вроде бы ничего не собирались громить. Еврей заключил, что перед ним кто-то из бывших офицеров. Человек хоть и грубый, но по возможности честный. С таким можно иметь дело, хотя кадровые военные были уже повыбиты из повстанья, а лесная власть к лету двадцать первого года переместилась в лапы воря. Офицер нравился Цыркину больше, чем большевик, который балансировал на опасной грани. Выдержит сердце — устроит пакость, а коли рухнет головушка, то всех разрушений — опрокинутая миска с репой. Семен Абрамович знал, что русский человек в изрядном подпитии очень добр и даже приятен. Лезет обниматься, катит сытым взглядом по чужому хозяйству и ничего не хочет украсть. Может дудку-жалейку из деревяшки выстрогать и умилиться малому дитю. Но вот полностью пьяный русский опасен. Он хочет драться и погибать. Может, топором никого и не стукнет, да по дороге домой нападет зачем-то на соседский плетень, а когда на шум выйдет хозяин, то ударит его пьяница по голове выдернутым из плетня колом. Не со зла ударит. Просто — чего он вышел, когда я плетень деру?

Оба пропойцы дошли до такого состояния, что уже не могли ни песню спеть, ни чокнуться, а только таращили мутный взгляд в угол и выдували на губах пузыри. От стола все чаще слышались обвинения в сторону жидов.

— Семен?

— Слушаю!

— Где твоя жидовка... Опять спрятал? Тащи ее сюда!

Цыркин обомлел:

— Какая жидовка? Вы, право, путаете. Сыновья...

— Дочь твоя, — рявкнули в ответ, — первая полку помощница!

— Вы ошибаетесь...

— А-а! Пошел вон! — Коммунист перегнулся через стол и зашептал: — Девка — во! Огонь. А? Хочется?

— Не-е, — антоновец поморщился, — жидовку не буду.

— А вот у меня классовых предубеждений нет!

Коммунист встал и загремел столом в попытке добраться до заветной комнатки. Едко пахло разлитым самогоном. Цыркин, вжавшись в угол, молчал, как молчат в минуту опасности малодушные люди. Решил старый винодел, что если ничего не предпринимать, если сделать вид, что ничего не происходит, то вскоре очнется он в кровати и не будет рядом ни большевиков, ни их противников. Только и нужно, что зажмурить глаза и провалиться в спасительную темень.

Антоновец схватил собутыльника за край защитного френча:

— Погоди-погоди... Какие классы, е-мое... Ты же сам, это... жид.

— Ты кого... кого жидом назвал?! Я коммунист!

— Да ладно, чего ерепенишься? Это же одно и то же. Жид, коммунист, еврей... Какая разница? У нас в лесу как говорят: надо было пораньше перевешать всех этих Цыркиных, и большевизма бы не было.

— Ты прямо как Ленин говоришь! Пойдем вешать Цыркина.

Когда побратимы двинулись к обомлевшему еврею, антоновец предложил выпить на посошок: путь до угла, где, положив руки на колени, сидел Цыркин, был недалек. Это и спасло хутор от погрома: товарищи выпили и опали. Семен Абрамович побежал к дочери, чтобы приказать ей скрыться в лесу и возвращаться только утром, но вспомнил, что комната Симочки давно пуста. Тогда еврей вернулся на свое место, снова положил руки на колени да так и просидел несколько часов, покуда новоиспеченные товарищи не оклемались. Лишь память об общих тостах спасла проспавшихся собутыльников от потасовки. Гостям было неловко, что они так быстро перепились, и обе враждующие стороны постарались поскорее разъехаться в разные стороны. Пьяные кое-как взгромоздились на коней и долго искали подчиненных среди четырех вялых дворовых тел.

— Слушай... Где мои, где твои?

— Да хрен их разберет! Какая разница? Бери себе этих... а я тех.

Когда неожиданные гости уехали, Семен Абрамович опустился на крыльцо и приготовился заплакать. Сил на то не было — не хватило даже упорства повернуться к тихо подошедшей Симе. Если бы старик повернулся, то увидел бы, что платье дочери, которое она так часто портила на одиноких прогулках в лесу, снова порвалось.

— Хоть не сожгли ничего, — попробовал улыбнуться Семен Абрамович, — а ведь могли. Не хотят люди быть сапожниками, токарями, музыкантами. Стыдно им, видите ли. Хотят быть жигачами. Думают, что пожечь чужое добро честнее, чем самому заработать.

— Как потопаешь, так и полопаешь, — не к месту сказала Сима.

— Да? — удивился Цыркин. — Это поговорка? Что же, верная. А я думал, что ты в лес удрала или в стог.

— В стог?

— Говорю же всегда: обо мне не помышляй, я уже старый, а тебе жить да жить. Себя, доча, спасай. Когда-нибудь Россия уляжется спать. Нельзя же вечно гудеть. Тогда тебе за дело нужно приниматься: батраков искать, печи топить, зерно по хорошей цене покупать. Помяни мое слово, винокурню ты обязательно восстановишь. Характер в тебе. Силища как у Юдифи. И красота... Не смотри на то, что девка... Времена наступают, что и девка на коне. Знаешь, что у большевиков полно женских командиров? А чем ты хуже? Они амазонки, а ты Юдифь. Будешь производством командовать. А? Хорошо старик придумал?

Дочь смотрела в темную даль, вышитую еловым крестиком. Вскоре должен был забрезжить рассвет. На глаза Симы навернулись слезы. В отличие от отца у нее еще были силы, чтобы плакать.

— Папа, а почему вы думаете нас еще не сожгли?

— Почему папа так думает? — глупо переспросил Семен Абрамович.

— Потому что на меня только последний дед из Паревки не польстился. И антоновцы, и большевики, и всякий сброд, что на запахах стекается... все меня брали. Они надо мной вместо хутора тешатся.

Старый Цыркин молчал. Нужно было спешить к погребу, откапывать квохчущую живность. Страшно ведь в темноте животинке. И печь хорошо бы истопить, наделать лепешек. Думал еще Цыркин о сыновьях, которые лежали бог весть где, а на паревском кладбище торчали лишь кресты над пустыми могилами. Ноздри ему щекотал едкий запах самогонки.

Семен Абрамович потерянно сказал:

— Ты все-таки иди затопи печь. Кушать пора.

XI.

Лес не кончался. Опушка схлопнулась, а если взять влево или вправо, хотя бы туда, где осталась деревенька Кипец, то, сколь ни иди, ничего, кроме деревьев, не увидишь. Паревские старожилы утверждали, что здесь делов на день хода, но деревья и на следующее утро стояли так же близко друг к другу. Виноват дьявольский газ, шептались мужики. Это он разгневал лешего, который и запутал партизан в трех соснах. Елисей Силыч Гервасий презрительно отодвинул в сторону мелких паревских мужичков. Борода старовера раздвигала ветки раньше, чем руки.

— Енто ничего, ничего. Мои предки по тайге прятались, на горах. Бежали от царя-Антихриста и выживали... Неужель я не выживу в ентом леске? Человек древлего благочестия от хрестьянина никонианского по сути отличается. Молиться надо, поститься, бежать... Так и спасемся. Слава тебе, Господи, что завел в енто дремучее место.

Рядом с бородачом, припадая на волчью лапку, хромал Виктор Жеводанов. Он злился на старовера: тот вытащил его из боя, когда довлеющая сила в кустах зашевелилась. Офицеру пресытило сражаться, бегать, наступать и вновь отступать. Ему давно не хотелось фронта, погон, не хотелось козырять. Бритую голову занимала сладенькая мысль. Жеводанову нравилось, что разбиты полки, уничтожен штаб да и в плен у Кипца впервые попало высшее антоновское командование. И самому Жеводанову хотелось в последний раз клацнуть челюстью и выпустить по большевикам последнюю пулю. Вот это было бы чудо! Тогда бы офицеру все открылось! Но из болота его спасли, вытащили.

Поэтому Виктор Игоревич спросил туго и резко, точно жевал натянутую струну:

— Елисейюшка, что ты все о себе да о себе — о нас бы подумал хоть маленько, а?

Елисей Силыч продолжал раздвигать лапник:

— Чего о вас думать? Только о Боге надо. Господи Сыне Боже, Иисусе Христе, помилуй мя грешного, аминь. Господи Сыне Боже...

Жеводанов весело оглянулся. Кикин, совсем потемневший без кобылы, шептал заклинания в черную бородку. Жеводанов пожалел, что это не он убил крестьянскую лошадку, по которой так тосковал Кикин. Не со зла убил бы, просто как может человек вот так к собственности привязаться? У самого Жеводанова за душой ничего не было: ни семьи, ни теплой квартиры — и даже жалованья ему никто не платил. Не было даже бабы, над ухом которой можно было бы клацнуть зубами и с хохотом пожрать испуганный визг.

Блуждающий взгляд остановился на Косте Хлытине, и офицер нахально толкнул мальчишку:

— Ты ж эсер?

Виктор Игоревич спрашивал это уже в десятый раз. Не нравился Жеводанову молодой социалист-революционер, работавший в подпольном Союзе трудового крестьянства. Он выдавал беглым подложные документы, вел среди крестьян агитацию, а как легла Паревка под Советы, Хлытин ушел в вооруженный отряд.

— Опять молчишь. Не хочешь говорить. А вот когда в отряде Гришка Селянский был, миленько вы болтали. Сразу видно — одна партия, одно происхождение, одна программа. Да только зазнался Гришенька, стал комполка — так сразу тебя и позабыл. Вот что я тебе скажу, эсеришка, весь ваш социализм до первого крупного поста: как замаячит впереди должность — так вы друг друга сразу затопчете, а?

Никто не вмешивался в разговор. Крестьянам диспут был непонятен, а Хлытин безмолвствовал. Его больше волновал таинственный лес. Небо было близко, только рукой потянешь, но чаща с каждым часом густела. Хлытин прижался к ведомому коню, чтобы Жеводанов снова не боднул его рукой.

— Я ж городовой был, — продолжал офицер, — это потом стал вольноопределяющимся, а там и в командирский чин попал. Помню, стояла зима шестого года. Прохаживаюсь я по пустой улице. Порядок ночной охраняю. Все шишки собираю! Мразь очкастая меня в профессорской аудитории ругает, а я мазуриков ловлю, которые за его бобриковым пальто охотятся. Мне финкой в бок тычут, убить хотят семь раз на неделе, жалованье даже не пропьешь — нету его, а меня ругают! И последними словами! Да если бы не полиция, никакой социализм возникнуть бы не смог! Кто ж вас, сволочей, от рабочего человека охранял бы? Так вот... мерзну, зубами стучу. Они у меня тогда еще свои были. А тут навстречу студент с портфельчиком. По виду — баба. Хотя все вы, социалисты, с женской душой живете. Глянул на меня студентик и остановился. Личико миленькое, персичек подмороженный! Ох как заметался взгляд по сторонам! Так убежать студенту захотелось, что я сразу — в свисток.

Если офицер открывал рот, где блестили инородные зубы, партизаны сразу подползали поближе. Не слушать истории — кого ими в военный год удивишь? — а смотреть на металл среди неба. Каждый про себя гадал: откуда у Жеводанова столько железных зубов? Царь за службу вы-

дал? Или раненного на войне вольноопределяющегося улучшили ученые-селекционеры? Чтобы мог пули на лету перекусывать?

— Стой, кричу, не двигаться! Студентик глянул затравленно, глазки красивенькие раскрыл, не знает, куда деваться. Вот-вот расплатится. Ну не парень, а баба! Те всегда долго думают. И тут студентик поднимает портфель над головой, жмурится...

Подумалось Хлытину, что рот городовому выбило как раз эсеровской бомбой. Что долго ползал воющий Жеводанов по снегу, который плавил полицейская кровь. Некому было помочь городовому: немало в те года покалечили полицейских. Вот и возненавидел Виктор Игоревич революционеров. Молодой человек осторожно подвинул руку к винтовке. Вдруг офицеру захочется свести счеты с обидевшей его партией?

— Так чаво? — спросил Кикин (он вообще любил кровавые истории). — Чаво в портфельчике?

— Да ничего. Я прыг в снег, как учили! Лежу секунду, две, пять лежу... осторожно высовываюсь из сугроба — на дороге никого: ни студента, ни его портфеля. На фук меня взяли! Провели! Ха-ха! Молодцы! Хвалю! Все бы такие были!

— Правда смешно, — подал голос Хлытин (он был у него тонкий, как паутинка). — В портфеле, скорее всего, никакой бомбы не было. Одни прокламации. Бомбу юнцу никто не доверит.

Сказал это Костенька Хлытин с большим сожалением. Еще по старым временам, будучи гимназистом, больше всего мечтал он подержать в руках бомбу с ртутным взрывателем. Доверь ему партия адский механизм, Костя бы теперь не шлялся по тамбовским лесам, а давно сидел бы одесную от Каляева.

— Енто вы, безбожники, прогневали Господа нашего, — забубнил Елисей Силыч. — Приходили к нам на фабрику ваши гонцы. Давай, дескать, деньги на революцию — совесть освободишь. Тятя им отвечает: нельзя ли, милые гости, наоборот? Те говорят: можно. Так и кончился тятка мой.

— Та-а-ак! — протянул Жеводанов. — Елисейка, а разве в прошлый раз твоя история не иначе звучала? Тятю же во время бунта в Рассказове укокошили? А тут ему ультиматум выставили... Но у меня другой вопрос. Часом, не гордишься ли ты, что твоего папаню зарезали? Что ты лучше нас, чьи отцы от пьянства и сердца поумирали?

— Для нас смерть — енто начало новой, истинной жизни. Если принял мученический венец, значит, искупил грехи. Если Господь призвал тебя раньше срока, значит, душою ты предназначен к загробному воздаянию. Я смиренно молю Вседержателя о том, чтобы повторить судьбу тятеньки. Тогда, быть может, простятся мне мои тяжкие грехи.

— Простите, — уточнил Хлытин, — а вы ведь старообрядец?

— Православный я. Енто они новообрядцы.

— Кто? Никон? Правильно понимаю?

— А то ж, — согласился Гервасий. — Чтобы было понятливее, есть никониане, те, кто принял книжную справу собаки Никона. А есть благо-

честивые люди, кто еретикам воспротивился. Хотя и древлеправославный древлеправославному рознь. Есть поповцы, кто от никониан перекрещенных священников принял и свою церковь с попами выстроил. Крестятся двумя перстами, а дух Антихристов! Э-эх, дурни! А есть беспоповцы, то есть мы, кто знает, что благодать отныне на небо взята, значит, и попов никаких быть не может. Настали последние времена, когда душу надо спасать.

Кикин крутился рядом, тоже хотел изречь что-нибудь умное, но выдал из себя лишь привычный вопрос:

— Где моя кобыла?

Черные глазки кольнули Хлытина. Тот смутился и отвел взгляд. Тогда Кикин обратился к крестьянам, которые от вопроса отмахнулись:

— Далась тебе эта кляча. В войну кобыла первой страдает.

Кто-то из мужиков с гордостью заявил:

— Как я надо быть.

— А ты что? Чего хочешь?

Даже Гервасий заинтересованно повернул голову. Вдруг знает хлебороб, как на небесную ригу выбрести.

Крестьянин огладил бороду и с удовольствием поведал:

— Оцениться бы надо. Вот чего хочу. Лежал бы на сене, хозяйка давала бы хлебную тюрю со спиртом пососать. И щенят бы вылизывал языком. И на луну бы выл. Житуха!

— Широко думаешь, — согласно закивали мужики.

Хлытин смутился еще больше. О чем говорят эти люди? Какие щенки? По всем правилам Костя Хлытин должен был вырасти сильным, высоким, играть желваками и хрустеть пальцами и вместе с тем быть добрым, отзывчивым человеком. Но вышел Хлытин среднего роста, обглоданный болезнями. Осталась от них излишняя худоба, отчего великоватая винтовка костляво хлопала по спине. Еще Хлытин оставался эсером, когда партия уже была разгромлена. Оставался, потому что поздно пришел к социалистам-революционерам. Пришел, когда распался Боевой отряд, дискредитированный Азефом; когда победу на выборах в Учредительное собрание оказалось некому защищать; когда даже безвредный Комуч* пал: эсеры зачем-то играли в демократию, проглядев Троцкого и Колчака. По малолетству Хлытин проспал всех губернаторов, все войны и каторги, поэтому, как только выпустился из самарской гимназии, сбежал от родительского очага и с головой погрузился в подпольную работу. Хотелось юноше пострадать за народ при народной же власти. Вступил Костя в Союз трудового крестьянства — подпольную эсеровскую организацию в деревне. Когда эсеры объявили о мирном сопротивлении большевикам, Хлытин чуть не заплакал — так хотелось ему приправить свои восемнадцать лет чем-нибудь героическим. А то как же так, война кончается, революция тоже, а у него, Константина Хлытина, ни одного подвига за душой.

* Комуч — Комитет членов Учредительного собрания, антибольшевистское российское правительство с центром в Самаре. Организован в июне 1918 года, а уже к концу года разгромлен Колчаком.

— А знаете, товарищ Кикин, — сказал парнишка, — вы не переживайте за свою лошадь. Я слышал от наших боевых друзей прелюбопытную легенду. Она о командире Антонове. Помните, был у него белый конь?

Люди закивали. Кто с ностальгией, кто с завистью. Конь не эсер, он всем понятен.

— Добыл того коня Антонов у чехословаков, реквизируя прямо с остановленного эшелона. Говорят, конь английской породы, самому королю островному предназначался. Сколько боев прошел на нем Александр Степанович! Сколько раз конь его от смерти спасал! А он взял и отпустил верного друга на все четыре стороны. Скачи куда хочешь. Нельзя тебе со мной: меня убьют, а тебя объездают. Видели белого коня и большевики, и наши. Но только никому он в руки не дается. В тумане скрывается. Тот, кому первым удастся изловить коня Антонова, сможет вновь возглавить войну против коммунистов. Так что, товарищ Кикин, ваша кобыла нужна коню, чтобы ему было не скучно ждать нового вождя.

Костя тихонько засмеялся, и правильно: никто даже не улыбнулся. Никто вообще ничего не понял. Хлытин запунцовел и еще сильнее стиснул в руке уздечку. Застеснявшийся конь ржанул за всех повстанцев.

— Лучше послушайте, как кошку в говядинку превратить!

Предложение Жеводанова всех заинтересовало. Отряд остановился на привал, и офицер рассказал:

— Раз иду и вижу, как мужик кота давит в подворотне. Я к нему: отставить! А мужик и отвечает: отстань, я с кота телячьих котлет наделаю!

Костя фыркнул. От удовольствия Жеводанов заурчал животом. Представилась на мгновение одна картина. Костенька, дальний родственник студента, от которого Виктор Игоревич прыгнул в снег, однажды ляжет на землю с распоротым животом. Рядом уткнется он, Жеводанов, с продырявленной печенью. Хлытин будет скомкан, весь сожмется, будто хочет залезть в материнскую утробу. А Жеводанов умрет длинно, сделав потягушечки. Душа выйдет из тела празднично, в одной манишке. Останется Хлытин со своим социализмом на земле, среди пней и ежевики. А Жеводанова ждет союз с довлеющей силой, которая одна только офицера и насытит. Виктор щелкнул зубами и облизал жесткие усы. Глупенький был мальчик, зря только гимнастерку нацепил.

— Эй, Костюшок, хочешь, я тебе еще кое-что объясню?

— Ха! — обиженно хмыкнул Костя. — Попробуйте. В Самаре я слушал профессора Нечаева и самого Ивановского. Я прочитал половину папиной библиотеки. Не думаю, что вы можете меня удивить. Вам бы, Виктор Игоревич, в Константинополь, к своим. Занялись бы ремеслом по уму — устраивали тараканьи бега.

Жеводанов ничуть не оскорбился. Он улыбнулся железными зубами и проурчал:

— Ах какой славный пример! Я, признаться, в Константинополе никогда не был и уже никогда не буду. Но про эту забаву слышал. Знаешь, Костенька, что бы я сделал, окажись на тараканьих бегах? Я бы дождал-

ся, когда господа генералы, полковники, интенданты, люди в погонах и те, кто от них уже избавился, сделали ставки. Стоял бы спокойно у края стола и ждал. А когда начнется забег, схватил бы ближайшего таракана и в рот его! Хрусть-хрусть! Затем другого! Третьего! И жевал бы, и слатывал, и смеялся в эти сбежавшие лица! Ишь, захотели довлеющую силу на тараканьи бега променять! Там за морем вихри бродят, а они на турецких тараканов смотрят! Я бы перемолол зубами каждого их фаворита! И Ретивого, и Гнедко, и Скорохода! Как они еще называют таракашек в тоске по лошадям? Пусть видят храбрость русского офицера! Он усы в тараканьих кишках измажет, лишь бы трусом не стать и сволочью! Господин генерал, позвольте отрекомендоваться! Это я сожрал вашего таракана! И ведь не поймет публика, что не я стыдоба, а генерал, который завел себе таракана. А я спасаю репутацию русского офицера. И потому — хрусть! Хрусть-хрусть!

Жеводанов злоеще засмеялся. Щелкнули вставные зубы.

Между загорающимися кострами пополз Тимофей Павлович Кикин. Черные губы бугрились беззвучным вопросом:

— Где моя кобыла?

XII.

Лошадь издыхала целую ночь.

Еще вчера она тяжело волочила брюхо к Вороне и сосала бархатными губами будущие соки жеребенка. Животное волновалось за хозяина, чернявого низенького человечка, который уполз в селение, откуда тянуло чужими лошадьми и чужим овсом. Кобыла улеглась в камышовую тень и тихо ржала до самого утра.

Потом приполз хозяин, а за ним бой, где кожа от разорвавшегося снаряда стегнула лошадь под брюхо, и она долго дергалась, мешая кровь с болотной водицей. Когда пришли незнакомые люди, лошадь затихла, притворившись мертвой. Люди собрали уцелевших коней и ушли. Спустилась ночь. Кобыла, напряжнив последние силы, вытолкнулась из трясины и побрела в поле. Лошадь шла по лугам и ржала от боли: из брюха, как из протекшего бака, капало красное масло. Животное тужилось, пытаясь вытолкнуть жеребенка. Тот, помогая матери, высунул наружу крохотное копытце. Да не там, где нужно, а через дырку в животе. Пусть склизкое копытце и не доставало до земли, но пыталось от нее отталкиваться. Кобыла нашла силы порадоваться: быстрый конь вырастет.

Лошадь остановилась, обнаружив на лугу человеческое тело. Труп был не ее хозяином, а чьим-то другим Кикиным. Жаркие ноздри учуяли, что человек пришел из села. Пока лошадь обнюхивала тело, от трупа отлепились мухи. Их не интересовала старая лошадиная кровь. Мухи попытались заползти в рваную рану, чтобы выпить еще не родившегося жеребенка. Кобыла оторвалась от убитого и побрела к живым людям. Свою жизнь она уже не чувствовала, а лишь тянула в село неродившегося жеребенка. На последнем издыхании животное притащилось в Паревку.

Рухнув на пыльном большаке, кобыла бессильно косилась на торчащую из живота ножку. На ней перетирала лапки жирная муха.

Еще вчера Паревка выла, до струпьев расчесывая грудь, а теперь потянулась на работы. Это мертвые остальных кормят. Живым приходится хуже. Лошадь крестьянам тоже было жаль.

— Живой еще, — сказала сердобольная баба. — Добить бы.

— Наши мужики быстрее кончились, — вздохнула другая.

Лошадь таращилась на людей и не могла понять, почему они не помогают, почему не глядят, не говорят ласковых слов, не дают воды и сладкой морковки. Из людей таращился на лошадь Федька Каниюков. Он заметил, что у нее был заранее раздут живот. Федька не сразу понял, что это не от трупного газа, а от утаенной жизни. Парень всхлипнул. Ему было жаль паревцев, но жаль не до конца, когда места себе не находишь, а вот к кобыле Каниюков проникся большим сочувствием. Напомнила она комсомольцу собственную безвестную мать.

— Чего столбом застыли? — закричал Федька. — Где коновал?

— Так нет, сынок, коновала. Убили.

— Фельдшера! Кто человека лечит?

— Глупый ты, — покачала головой безымянная баба. — Фельдшера тоже кончили. Молодой мальчишка был, прямо как ты. А вы и его гуртом!

— Что, — Федька почти плакал, — никто не поможет?

К роженице подошла курносая девка Арина. Она посмотрела на Федьку зареванными глазами:

— Гришку вы убили. Попа убили. Всех убили. Лошадь тоже убейте. Колите в шею и живот. Не задыхаться же там ему.

Под лошадью расплзалась уже не кровь, а бесцветная сукровица. Так и не вылезший наружу жеребенок завозюкал по земле копытом, и Федька отодвинулся в сторону, чтобы дать пространство для штыка.

— В шею и живот колите, не задыхаться же там ему, — повторил парень.

— А ну, стой!

Человека звали Евгений Витальевич Верикайте, и он носил оранжевый кожаный костюм. Сам латыш был невысокий, коротко стриженный, мощный, как отлитая на Путиловском заводе болванка. Долгое время колесил по гражданской родине на бронепоезде «Красный варяг». Привлеченный к подавлению Тамбовского восстания, он не раз разбивал партизан, открывая шквальный огонь из нарезных орудий. Повстанье ненавидело и боялось бронепоездов. Они курсировали от станции к станции, загоня зеленых в железнодорожные квадраты и треугольники. Поезд винтовочкой не сковырнешь — нужно взрывчатку под полотно заложить или рельсы вовремя согнуть. Да и нечестно выходить на бой, запершись в железном чудище. Если удавалось остановить бронепоезд, разъяренные мураши тут же облепляли вагоны, выколупывая оттуда красноармейцев. Не было им пощады — это в поле могли взять в плен, а поезда... Нет, не любили поезда крестьяне. Мстили машинам за оскорбленных коней.

Верикайте родился в Лифляндии, а выучился железному делу в Петербурге. Немногословный был человек. Во-первых, плохо по-русски говорил, больше предпочитая паровоз слушать. Во-вторых, не интересовался крестьянами, считая, что их на свете миллионы, а бронепоездов раз-два и обчелся. Когда раскурочили друга Верикайте, скатились по грязным щекам мазутные слезы. Там, у насыпи, командир ЧОНа в полубреду поклялся отомстить обидчикам.

Но виновата ли перед поездом лошадь? Вот в ее жалких силах измеряется мощь котлов... Боевой машинист присел рядом с кобылой и положил на пузо узловатую руку.

— Кончается, — сказал Верикайте с янтарным сочувствием.

Затем достал нож и перерезал лошади горло. Та застучала пятью копытами и испустила дух. Верикайте стал медленно разрезать живот. Он чинил лошадь так же, как чинил бы сломавшийся механизм — грубо и верно. Кобыла больше не сопротивлялась. Комполка ковырялся в теплом трупе, пытаясь нащупать там новое сердце. Он вынул кишки, отбросил в сторону бесполезный сизый орган и наконец добрался до плода. Наступив лошади на ногу, поднатужившись, разодрал тушу надвое. Она разошлась с влажным треском. На землю в плодовом мешке вывалился почти задохнувшийся жеребенок.

— Дальше не знаю что, — сказал Верикайте и, опираясь на винтовку, отковылял в сторону.

Командир бронепоезда застыл, окровавленный и совсем не страшный, больше похожий на ягоду крыжовника, чем на мясника. Колко блестел отросший ежик волос. Глаза у Верикайте были зеленые, как обшивка сидений в вагоне второго класса. Охающие женщины обмывали жеребенка с таким усердием, точно мстили большевикам за быстро прикопанных мужиков: чекист в очках не дал ни с кем попрощаться. Всем хотелось растить скотинку взамен убитого сына.

— Кто принял командование? — спросил Верикайте у Федьки. — Товарищ Мезенцев? Товарищ Рошке?

— А? Что?

— Отвечать как положено! Кто принял командование?

— Есть отвечать как положено! Командование приняли товарищ Мезенцев и товарищ Рошке!

Евгений Витальевич смягчился. Мальчишка не то чтобы ему понравился, а выглядел без всякой личности: походил Федька Канюков на фабричное изделие. Такого можно вместо колеса поставить или вместо ватерклозета. Везде к месту. К тому же незаметен — здесь командир позавидовал парню.

Верикайте заторопился в штаб. Искал он боевых товарищей не только для того, чтобы вникнуть в положение дел. Хотел узнать командир, не сболтнул ли в бреду чего лишнего. Ведь хоть носил Верикайте спасительную латышскую фамилию, но не был большевик отпрыском рабочей семьи, перебравшейся в Петербург. Отец его был чиновником в Риге, выслужившим личное дворянство. И хотя титул не перешел к сыну да

и фамилия у отца была иная, обрусевшая, Евгений Верикайте опасался, что его тайна может быть раскрыта. Когда в стране началась катавасия, Верикайте озаботился сменой фамилии. Произошла нелепая ошибка, и в новых документах фамилия у Евгения Витальевича оказалась женская. По всем правилам он должен был выйти Верикайтисом. Впрочем, еще одному ложному следу вокруг его происхождения военный обрадовался.

Новые подозрения закрались у Верикайте в Тамбове, когда в выездную ревтройку включили чекиста Вальтера Рошке. Тот через очки холодно посмотрел в круглое лицо латыша. Бывалому фронтовику показалось, что ЧК известно и про отца-контрреволюционера, уехавшего в эмиграцию, и про отрочество в рижской гимназии, где Евгения научили правильному русскому языку, и про дутый прибалтийский акцент. Как тут объяснить, что командир отнюдь не против социализма? Но и не за. Он по пути.

Революция, обнулившая достижения отца-чиновника, позволила Верикайте заново выбиться в люди. Он хотел сделать военную карьеру и даже перевыполнил план. Перерос обыкновенного вояку, и ему вдруг доверили красавец бронепоезд. С ним Евгений Витальевич хотел состариться. Однако всего лишь миг — и бронепоезда больше нет. Следующим мог перестать существовать сам Верикайте. Он ковлял по селу с отвратительным настроением. Не боль в ноге донимала, а то, что могли обо всем догадаться Мезенцев с Рошке.

А Федька Канюков смотрел, как очищенный от пузыря жеребенок неуклюже встает на ноги. Коняжка обнюхал сдохшую мать, которую повитухи делили на мясо, и ткнулся не к кобыле, через мучения вытолкнувшей сына в жизнь, а к плошке с колодезной водой. Жеребенок беспомощно и смешно макал губы в воду, забывая о муках, через которые родился. Его начинал интересовать новый, незнакомый мир. Федька с облегчением и радостью смотрел на малыша. Немножко верилось комсомольцу, что маленькая жизнь испустила сегодня сотню больших смертей.

XIII.

Никто не знал, как именно у Гены помутился рассудок. Пришел Гена из голода и войны. Шарил по подоконникам, искал оставленные странникам гостинцы. В Паревке дурачок задержался и, перетерпев первые побои, превратился в законного юродивого. Кривой уродился Гена, взлохмаченный, кареглазый, одна лопатка торчала выше другой. Юродивый был неопределенного возраста — не мальчик и не старик — и жил по-середине, то ли ниже, то ли выше: постоянно колебалась патлатая голова, а кадык выпирал, как гуськи ярмарочных весов. Когда сердобольная баба укладывала в сених безумца, он поджимал к впалой груди лапки и вместо спасибо кричал: «Аг». Дурак и рад был вывалить иную мудрость, но все равно икал единственным слогом. Послышалось в агуканье имя Геннадий — так и стали юродивого называть. Дурачок знал — неправильно слышалось, хотел поспорить, заагукал, однако глупые люди улыбнулись и решили, что божья душа с ними во всем согласна.

Гена лежал на дальнем берегу Вороны. Мокрое тельце сложилось в плотный коричневый кирпич. В нем бешено колотилось сердце и еще кое-что. Может быть, тоже сердце, а может быть, и нет. Он этого не знал, думал местоимениями и пальцами, посасывая через запятые самого себя: однажды увидел дурачок в лавке большой-большой леденец и решил, что он будет у него вместо сердца.

Гена не очень любил работать. Мог бросить грабли и пойти посмотреть в чужой дом. Нравилось ему заглядывать в окно, обнаруживая там бабу. Те его поначалу пугались, а потом в шутку показывали то грудь, то передок. Изгибались всячески, звали к себе. Хлопали рукой по колыхающемуся заду. Дурачок не чувствовал остроты полового вопроса, а задумчиво смотрел на бабу мутным коровьим взглядом. Над губой по-детски прели следы материнского молока.

У церкви Гена понял, что человек в круглых очках может навсегда увезти его от паревских лугов. Там дурачок разговаривал со змеями, умоляя их не кусать коровок. По ночам любил полакомиться молоком. Он незаметно подползал к буренкам, гладил их, шептал ласковые слова и, памятуя о маме, клал в рот толстый розовый сосок. Но почти всех Гениных кормилиц забили на мясо. Больше не было у юродивого мычащей матери.

Не было и доброго паренька, которого расстреляли у церкви. Он отдавал Гене хлебные корки, куда дурачок назначал капитаном мелкую живность. Лягушка или муравей сплавлялись вниз по ручью, а Гена бежал за хлебным плотом и радовался: пусть крохотная тварь мир посмотрит. Даже Гришку, решившего пожертвовать жизнью за чужих людей, дурак тоже любил. Никто не догадался, почему кривлялся лесной атаманчик. А юродивый разглядел. Хотел Гришка Селянский собрать всю злость на себя, чтобы не тронули большевики ни юродивого, ни других паревцев. Хорошая была задумка, благородная. Только зазря опомоил себя Гришка: все равно зачихал с колокольни пулемет. Голубиная пяточка, которая была у Гены вместо ума, сразу же подсказала бежать прочь. Туда, за речку, где в лес отошли вооруженные люди. Им нужно было рассказать обо всем, что случилось в Паревке, но Гена не помнил и не понимал, что может поведать антоновцам лишь коротенькое, обрывающееся изнутри «Аг!».

В синем небе загудел аэроплан. Юродивый облизнулся. Он с удовольствием смотрел на самолет, пока машина не заслонила солнце. Тогда Гена подпрыгнул, расправил горбатую спину и цапнул по небу рукой. Аэроплан продолжал гудеть в вышине, а Гена удивленно рассматривал пустую ладонь. Очень нравились ему самолеты. Обрадовался дурак, когда привезли в уезд несколько аэропланов. Они занимались воздушной разведкой. Гена блаженно мычал, если вдруг видел летящую машину. Скользит по небу рукотворная птица. Несет в клюве живого червячка. И букашкам хорошо: ничей сапог их не давит. И пилоты ему нравились: они плевали на дурака так же, как солдаты, только занятных железок, винтиков и веревочек у них было больше. Он выменивал ценные вещи на поедание земли — солдаты смеялись и платили дураку бечевой. Каждую находку юродивый относил в потайное место. Там хранилась у него главная жизненная цель.

Надев рубашку, Гена зашлепал в лес. Тот сразу загустел, бросил в лицо паутинку с жирным крестовиком, потушил свет, вытянул подножку-корягу, и стало Гене весело, радостно, он заагукал далеко и для всех. Юродивый без труда нашел след повстанцев. Не по крови и обрывкам бинтов, а почувствовал, что если идти прямо задом наперед, всегда сворачивая, то быстро нагонишь отряд. Так он и поступил, петляя возле каждого красивого деревца.

Был Гена единственным, кто видел, отчего сгинул артиллерист Илья Клубничкин. Дурачок часто бегал в барские сады. Чуть свет, а он уже там — рвет дикую вишню и кислую скороспелку. Что-то себе в рот кладет, а что-то девкам на потеху. Те яблочки примут, поблагодарят и ну в Гену швыряться! Тот хохочет и ядрышкам рот подставляет. Попадет девка внутрь — наестся Гена. В тот злополучный день он прибежал в сады, чтобы нарвать кислячки, но ее объели. Расстроенный дурачок долго бродил вокруг покинутой усадьбы.

Под вечер в сады пришел Клубничкин, да не один, а с бабой, сделанной Богом для послеобеденного отдыха. Юродивый смотрел, как они игрались, бегали вокруг деревьев и баба дразнила командира грудью, как когда-то дразнила Гену из глубины дома. Потом кусты запыхтели, будто приехал в Паревку страшный паровоз, и баба, отряхнувшись, ушла. Клубничкин остался лежать в садах с голым и довольным животом. Гена знал, что к нему никто не подходил. Ни тот холодный человек в круглых очках, ни чернявый Гришка. Просто вдруг зашумел ветер, кустарник брызнул листвою в раскрытые глаза Гены, и, пока тот, обидевшись, протирал их кулаком, Клубничкин испуганно запищал. Дурачок успел увидеть, как от человека отползает что-то похожее на корень или змею. Так из поклона выпрямляются деревья, когда их долу пригибает ветер. Живот Клубничкина раскрылся сизой незабудкой. Гене стало до того страшно, что он бросился бегать кругами, покуда не наткнулся на паренька Федыку...

Ни о чем другом Гена уже не помнил. В голове крутилась страшная лечебница, похожая на большой стеклянный пузырь. Туда его хотел отправить страшный кожаный человек. Кладут там больного под пресс и давят тело, разливая лечебный сок в специальные ампулы. Их потом в аптеках продают. И каким бы грозным ни казался Мезенцев, но имеют над ним власть пилюли, из дураков деланные. Со смехом догонял Гена антоновцев, а вокруг шептался лес, не понимая, почему его не боится маленький босой человек.

Елисей Силыч прислушался:

— Тихо!

Природа повиновалась. Смолкла пичуга. Лес сразу подморозило.

— Чего там, Герваська? — спросил Жеводанов, надеясь, что старобрядец разглядел довлеющую силу.

— Слушайте!

Отряд отлип от котелков и недоверчиво вперился в чащу. Вообще, чаща была везде, однако отряд выбрал свободный пятачок, оплетенный

корнями, где и встал на привал. Кони объедали кусты черники, и в теплоте курились костерки. Все было спокойно. Лошади не вняли предостережению, костры тоже не думали угасать. Только люди, зверье наиболее пугливое, залегли и направили взад, откуда вышли, винтовки.

— Там, — протянул Гервасий, — там... вздыхают.

— Вы что, боитесь? — Хлытин презрительно фыркнул.

Парня развеселило, что большой, сильный человек с такой серьезной бородой может вдруг замереть, в душе приподнявшись на цыпочки, и сказать что-нибудь глупое, неуместное, вроде того, что в чаще кто-то вздыхает. Но эсер первым после Гервасия уловил тяготу, прокрававшуюся сквозь листву. Чья-то далекая грусть ошарашивала тем, что на ее месте должна была быть брань или хотя бы походная песня. А тут среди коряг и мокриц кто-то из-за чего-то переживал. Вздох уловил и квадратный Жеводанов, и Кикин, и даже крестьяне мигом всё поняли, потушили огонь и заученными движениями пригнули коней к земле. От нее потянуло холодом. Костя перестал хихикать, пожелав против воли, чтобы не ржанули кони или Кикин не заныл о потерявшейся кобыле.

— Чую, — вдруг захаркал Кикин, — чую!

— Что? — спросил Жеводанов. — Силищу?

— Родное, мое... тут, рядышком! Я уж ее себе заберу, пусть служит! Мое по праву! Мое! Кто возразит — порву, зубом зацыкочу.

— Молчать! — неожиданно зло зашипел Елисей Силыч. — Без моего повеления не стрелять!

— Ты чего командуешь, борода? — возмутился Жеводанов. — Погоны покажь! Карточку офицерскую!

Меж деревьев промелькнул силуэт. Поначалу было не разобрать — это человек или то, что обычно следует за ним? Фигура шла по касательной, точно антоновцы были мягкой окружностью. Костя, сузив глаза, различил: человек что-то тянул за собой, вроде бы лошадь.

Тимофей Павлович шмыгнул, и из кривого носа выползла зеленая сколопендра. Кикин кого-то узнал и до хруста сжал побелевшие кулаки. Костя же не мог как следует разобрать человека. Не потому, что он отличался от остальных лаптежников — с десятка сажень они все едины, а потому, что веяло от фигуры странной свободой. Ни навозом от нее не тянуло, ни водкой. Не было в незнакомце разухабистой вольницы, когда беглец спешит прокутить украденное, вдоволь наесться и напиться, потому что хозяин — вот он, сидит за душой и под кожей. Быть может, поймал путник того самого коня Антонова? Но лошадь не была белой и человек белым не был: он шел не замечая людей, хотя должен был их заметить, шел, и от горестных вздыханий у него пушилась борода.

— Узнал, узнал! Ой узнал! — зашептал Кикин, когда фигура скрылась.

— Кого узнал? — нетерпеливо выпалил эсер.

— Кума узнал, Петром зовут. Соседушка, близко его деревенька к Паревке. Он издали виден! Что, братва? Узнали такого? Гора-человек!

Паревцы перекрестились. Оставшиеся в меньшинстве Елисей Силыч с Жеводановым и Хлытиным да парой других землепашцев ничего не поняли.

— Так что ж ты куму не крикнул? — удивился Жеводанов. — Раз надежный человек, мог сгодиться.

Паревцы скорбно посмотрели на беляка. Елисей Силыч несколько раз открывал рот, но передумал говорить. Не любил он Кикина: тянуло от него хвостой крестьянской верой, для которой лохматый пенёк милее золотого потира. Ценил Тимофей Павлович не церковь, а замшелую полянку, где можно было причаститься кислой кровью народного бога — клюквой или брусникой. Христа Кикин, конечно, уважал, однако уважал как хозяйственного мужика, который тоже ел и срал. Иконы Кикин тоже одобрял, но только те, что при деле — прикопаны в поле для защиты урожая от грызунов или под стрехой дом от молнии охраняют.

— Дух живет где хочет! — Кикин схватил вещмешок, винтовку и выполз из-под корня.

— Ты куда? — попробовал остановить его Елисей Силыч. — Стой!

— Отпусти! Сил уже нет проповеди слушать! Даром что попов у вас нет, а ихние разговоры остались. Дух живет где хочет! В козявке ползающей и то духа больше, чем в тебе. В пшеничке дух! Повсюду! А в тебе духа нет! Не чуешь разве? Не хочу с тобой!

— Какой дух, откуда? — пискнул Хлытин.

— Да вот же он! У Петра моя кобыла! Ведет под узду! Да еще и жеребенка себе присвоил, а ведь он тоже мой! Ну, братцы, кто с Тимофеем Павловичем в дезертирство? Пойдем за Петром, он все здешние норы знает. А не укажет — мы сами выпытаем! Айда!

Пара неместных крестьян подобрала вещи и, не глядя на командиров, бросилась за Кикиным. Паревские мужики вцепились руками в торчащие корни, точно их силой заставляли идти за Тимофеем Павловичем. Видно было, что лучше бы они предпочли сразу сдаться большевикам.

— Куда?! — рывкнул Елисей Силыч и ткнул Жеводанова. — Чего застыл? Уйдут!

— Иди к черту, — выругался офицер. — И посрать Елисеюшка хочешь, и жопу не замазать! Чтобы я, стало быть, грех совершил? Елисей Силыч же теперь командир, готовится небесными legionами командовать! Русскому праведнику волю дай — архангела Гавриила сместит.

Костя Хлытин молчал. О таком не рассказывали университетские преподаватели. Как только дезертиры скрылись, в колючем урмане снова засвистела пичуга.

Потеплело.

XIV.

У Петра Вершинина было свое дело. Он людям помогал. Как наступили голодные годы, а их в прогнозе было немало, стал менять бедствующий середняк еду на вещи. В Паревку и ее окрестности приходили жители

голодающего Тамбова. Кто пальтишко приносил, кто ткань кумачовую, которую можно и на флаг советский пустить, а можно косынку жене спривить. За мелочевку расплачивался Вершинин картошкой, а за нужную в хозяйстве вещь мог и ярочкой пожертвовать. Городские были рады всему. Мешочников ловили на въезде и выезде с городов, в вагонах и на подводах, на проселках и посреди тайных троп. Обчищали, арестовывали или отправляли восвояси. А там, где недоглядела власть, дело вершили обыкновенные бандиты, что в годы военного коммунизма были вместо амбарных крыс. Оголодавший же народ все равно пер в деревню.

Но и ее подмела продрозверстка. Вершинин уже не мог предложить мешочникам ничего, кроме картофеля. Жена шипела на Петра: «Что зимой глотать будем — штаны суконные?» Вершинин привычно отвечивал женщине затрецину. Одежда, конечно, хорошо, однако на дворе тогда жглось лето двадцатого года, лето засушливое и большевистское: что не сгорело на полях, то забрали в город. Попахивало страшным потрясением, возможно войной. Крестьяне подолгу беседовали и тянулись носом кверху: чернела в воздухе гарь.

Нахлобучив картуз, Вершинин отправился к куму Тимофею Павловичу Кикину, мужику до того ушлomu, что тот мог у Господа Бога на левом плече сидеть. Кикин жил в Паревке, а Вершинин в соседней деревушке. И хоть было средь мужиков какое-никакое родство, хозяйствующий Кикин, нарезавший пожирнее землю и табун коней заведя справный, куму почти ничем не помогал. А если помогал, то в долг. Случалось даже, что Вершинин отдавал четверть урожая Кикину — тот по весне делился семенами. Жена вдалбливала молчаливому Петру, что он должен быть таким же мироедом, как распрекрасный Тимофей Павлович. Муж отмахивался, но, когда стало совсем немоготу, собрался к Кикину в гости. Если кто и знал, что творится на Тамбовщине, так это ее чуткий паук: везде были у Кикина должники, каждый мечтал с ним торговое дело иметь.

Собрались заинтересованные мужики в просторной кикинской избе. Макали болезненную, серую картошку в серую же соль. Рядом расположились незнакомые Петру мальчишки: Костя Хлытин и Гришка Селянский. Один по виду из интеллигенции, образованный, а другой бандит, только что из леса. Тимофей Павлович ревностно следил за гостями: чужие пальцы слишком часто хватали его картошку.

— Балакни-ка нам, фельдсерок, восстание будет али нет?

Костя Хлытин представлял эсеровскую ячейку Союза трудового крестьянства. На пареньке, командированном из Самары, лежала большая ответственность — подготовить почву для народного сопротивления в богатой Паревке. Провести кооперацию, заняться агитацией, разъяснить массам о программе социалистов-революционеров. В общем, вел Хлытин почти бесполезные дела. В реальности СТК был слабо причастен к подготовке восстания. В этом его обвинили большевики, решившие под сурдинку расправиться с давними врагами. ЦК социалистов-революционеров, куда тамбовцы отправили просьбу возглавить восстание, вежливо отказался: по мнению старых революционеров, с большевиками нужно

было бороться иными способами. СТК подключился к крестьянской войне уже по ходу, когда Тамбовщина запылала и по собственной воле призвала на помощь Антонова.

— Наша партия не стоит на позициях открытого вооруженного восстания, — пролепетал Хлытин, — но считает, что к нему надо готовиться... Восстание не делается с бухты-барухты. Нужны определенные условия...

— Кончай канитель, ветрогон, — прервал Гришка. — Антонов, ментяра, лютуйствует по всему уезду. Уже год как половину банд перегромил. И главное, бьет не потому, что мазурики, а потому, что вольные люди при оружии. А все оружие он собирает и хоронит в надежных местах. Ух, просверлю ему в голове фистулу. Но сначала узнаю — зачем? Не просто ведь для забавы, а?

Хозяйственный Кикин пригласил Гришку, как известного кирсановского бандита, который рыскал со своей бандой где-то около Паревки. В тревожный год искали крестьяне у каждой твари защиты. Зайдя в избу, Селянский сразу же невзлюбил тихонького Костю, узнав в нем отпрыска городской интеллигенции. Да и Кикина он тоже на дух не переносил: бедный с богатым родства не имеют.

— Ваша шатия, — набрался ответной храбрости Костя, — даже паревскую милицию разоружить не может. Пробирались вы сюда, Григорий, на пузе, чтобы вас никто не заметил. И вы хотите с такой смелостью против коммунистов идти?

— Задрыга, ты у меня сейчас обсикаешься! — Гришка достал нож. — Сто, забздели?

Меж выбитых зубов харкнула чернота. Смешила Гришку крестьянская любовь к цибуле и клуням да и к куче других непонятных нормальному уху слов. Разве можно в омете мечту найти? Стоят ли в деннике лихость и приключение? Потому и грабила банда Гришки кулацкие избы. Нечего их жалеть. Вспорешь такому бурундуку живот, а оттуда не кишки — зерно полезет.

— А вы, чунари, воевать хотите? Долго терпеть облоги собрались? Вот потому вы и мужики, сто всю жизнь ярмо волочите. Если ты бык, то будет и кнут. Вот ты, громила, почему не в моем отряде? А? Не верис, сто я полковником стану?

Петр Вершинин сидел смирно. Был он по жизни молчалив и даже скромн. Никогда не хватал чужого и не очень держался за свое. Разговор не нравился великану. Он думал, что будут люди серьезные, городские, а здесь парни хорохорятся.

— Больно ты гонорый, — сказал Гришке Вершинин.

— А у тебя, верзила, гордости нет?

— Чего?

— А-а... лапоть! У тебя, поди, и думки нет, кроме как о жирниках посочнее.

— Не бреши. Имеется.

— Какая?

— Не скажу, не дорос ты еще, — отвечивал Петр.

Гришка зло ослабился, но Кикин успел спросить:

— Ну а ты что думаешь, молодой? Будет разбой?

Обидно было эсеру, что его робкие рассказы о Борисе Савинкове никому здесь не интересны. Что нравится крестьянам, когда живот полон, а в голове хоть ветер гуляй, чай посева не выветрит. И куда тут приткнуть тезисы Виктора Чернова или лихие подвиги Боевой организации? Не знают крестьяне, какое это счастье — шагать по первому хрусткому снегу к княжьей карете! И чтобы бомба, пахнувшая аптекой, дрожала в руке, и тлея в голове специально выученный стих. Но в Паревке поселились люди практичные, которым понятна лишь выгода овса и мера фасоли. Костя отнюдь не жаловался на крестьян. Просто зря он, что ли, столько книжек в Самаре прочел?

— Давай, — толкнул парня Гришка, — не молчи! Учи нас, темных. У меня знакомец был, тоже, как ты, любил почитать, ученый, в говне моченный. Мы его тюремной грамоте быстро научили. Хочешь, и тебе очко справим?

Хлытину был неприятен черный, злой Гришка, пришедший на собрание лишь затем, чтобы ткнуть под ребра безусый вопрос: где был Костя-сосунок, когда Гришка топил продотряды в водах Вороны? Может, и не топил никогда бандит большевиков, все равно спрашивал зло, надменно, щупая на поясе нож, и отвечать ему тоже было страшно. Того и гляди крикнет «С-с-ша-а!» и насадит на пику.

Костя собрался с силами и пробормотал:

— Даже если вы... мы победим, то лишь откроем дорогу к власти белым, которые нас в свою очередь перевешают. Понимаете, это называется патовая ситуация. Останутся большевики — будет новое крепостное право. Уйдут большевики — придет старое крепостное право.

— Так пустим петуха или нет? — потребовал Петр, обращаясь к Кикину.

— По-разному бают, кум, — пожал плечами мужик. — У меня скот, земля... Никому не отдам. Я — буду биться. Вооружу батраков, пообещаю за каждого большевика по свинье... хотя свинья — жирно, по курице или ведру овса... Или яйцами, а? Не жидко ведь яйцами?

— Парнишка, — поворотился Вершинин к Косте, — ты грамотой владеешь. Скажи насчет бунта. По-простому скажи, по-нашему.

Бородатые пахари, пахнувшие потом и иконами, ждали ответа Хлытина. Даже взбалмошный Гришка, ковыряющий ножичком яблоко, без злобы наблюдал за эсером. Неудобно поежился Костя от детского взгляда Вершинина. Смотрел он требовательно, как будто задал вопрос, откуда ребятишки берутся.

Костенька Хлытин решил, что никому не станет хуже, если он ответит так, как думал сам:

— Достаточно спичку поднести — все и вспыхнет. Будет бунт, бессмысленный и беспощадный.

— Без смысла? — оживился Кикин. — Так только дураки говорят. Мы им покажем... Вилами в пузо! И петуха в дом! А, мужики? Под-

нимем всю губернию! И как навалимся, как пойдём! Всех передадим, кто против нас! Каждый город возьмем. Будут знать! Бессмысленный. Ха!

Вокруг одобрительно загудело.

Когда Вершинин вернулся домой, жена окучивала мешочницу. Та выглядела изможденной. Свет терялся в серой коже и красных глазах, не проходя женщину насквозь, а застревал в ней вместе с душевным теплом.

— У вас есть сало? — тихо спросила женщина у Вершинина.

— Какое сало? Картохи можем отсыпать, — выпалила жена.

— Тогда я кольцо менять не буду, — перед крестьянским носом сжался серый кулак, — пойду к соседям.

— Экая краля! Да у них ведь тоже ничего!

— Да вы же сами скот перекололи, чтобы никому не достался! Не даете нам мяса!

— Какое мясо? У нас скотины никогда не было! Хлев видела? А нет его. Я хомут только на мужа могу повесить. Любит он таким, как ты, помогать. Скоро всего себя раздаст!

Петр вязко посмотрел на жену и скомандовал:

— Тащи шмат сала. Поверх картохи положишь. Чего скажешь против — избыю. Поняла?

Баба поджала губы и принесла из подпола ароматный кусок сала. Замотала его в ткань и бросила в мешок с картошкой.

Гостя положила кольцо на стол, взвалила на плечо мешок и сказала:

— Спасибо. Вы знаете, у меня муж кончается, ребенку есть нечего... Спасибо.

Вершинин наморщил лоб и сделал еще одну радость:

— Я провожу. Времена плохие. Пойдем тропой, какую продотряды не знают.

Серое лицо снова затрепетало:

— Спасибо.

Шли долго. Женщине было неудобно нести мешок с выменянными продуктами, поэтому его взвалил на плечо Вершинин. Даме стало стыдно, и она рассказала, что ей нужно дойти до железной дороги, там, в условленное время, на повороте, чтобы не столкнуться с обыском на станции, мешочницу в кабину подберет знакомый машинист. А как обрадуется сын, когда поест картошки со шкварками, как оживет муж-инженер, замученный на заводской работе! И всем станет хорошо, весело и немного жарко, небо посветлеет, и уже не так страшно будет просыпаться по утрам. А что кольцо, пусть и свадебное? Это всего лишь кольцо. Важно белое, похожее на полячку, сало, которое пахнет укропом и чесноком, от которого идет такой одуряющий дух, что как бы не пронюхали по пути мазурики.

Женщина беспрестанно говорила, не болтала, повеселев от еды, а именно говорила — буднично, словно не спасала своих близких от смерти, а шла домой с работы. Дело было в свете, который не проходил через мешочницу, а застревал где-то внутри. Поэтому с каждым шагом Петр Вершинин чернел. Вошла пара в пролесок — упала на лица тень, а когда вышли на открытое место, тень с лица Вершинина так и не слезла. За-

хлестали по ногам заросли ландыша и болиголова, сметая грязь и пыль, но обмотки Вершинина стали еще темней. Мужик сам не знал, к чему это, однако безропотно повиновался мрачному душевному гулу. Он распался ребра нехорошим желанием, и свободной рукой Петр все чаще растирал себе сердце. Билось оно глупо, все медленнее, точно отдавало неминуемое.

— Спасибо, — снова сказала женщина, когда показалась железно-дорожная насыпь, — не знаю, как и благодарить. Меня Верой Николаевной зовут.

Вершинин молчал, чувствуя на спине тяжесть своего сала и своей картошки. Вокруг никого не было.

— Спасибо? — неуверенно прошептала женщина, и новая, лихая догадка скользнула по серому лбу: — Ведь... спасибо же?

Петр наконец разлепил губы:

— Ты это... не ходи больше по деревням. Война скоро будет. Чуем мы... плохо будет. Бунт вызрел. Мне так и сказал один головач: бунт бессмысленный и беспощадный. Резать будем большевиков. А они нас. Если они возьмут — нас повесят. Мы одолеем — так жди в гости.

Мешочница потерянно молчала.

— Непонятно сказано? Ну, пошла. Пшла!

Вершинин повернулся и зашагал обратно вместе с мешком. Женщина догнала его без вопроса, без вскрика и, мертво вцепившись в торбу, попробовала выдрать продукты. Он махнул рукой, и Вера упала на землю. Тут же вскочила и снова вцепилась в мужика, пытаясь выцарапать свою еду. Крестьянин разозлился и хорошенько дал женщине по уху. Та подломилась как подкошенная. Вершинин поглядел на тело: из проломленной височной косточки мгновенно выскочила жизнь. Он не думал убивать мешочницу, хотел просто отобрать картошку, которая нужна была ему не меньше, чем чьему-то доходящему сыну и изнуренному мужу.

Петр не особо сожалел о случившемся, но жена, встретившая его блестящим колечком на пальце, сильно удивилась. Посмотрела встревоженно, будто не веря, что суженый наконец-то решился на правильное дело, хлопнула в ладоши, заулыбалась, покорно метнула сэкономленное сало с картошкой на стол и ночью громче обычного стонала под мужской тяжестью: теперь можно было и порожать вволю — хватит еды будущему ребенку.

А Вершинин с тех пор совсем замкнулся. Если раньше из него двух слов нельзя было вытянуть, теперь и одно за радость считалось. Хранил он под языком ненужный в то время голос.

Были еще мешочницы и мешочники, которых Петр водил тайной тропкой за деревню. Теперь он приказал жене не мелочиться, отдавать за четыре иголки и несколько катушек ниток целый пуд муки. Нужно было завлекать мешочников наглядным примером, чтобы никто не достался соседям. Когда интеллигентный мужичок, сменяв альбомы с карандашами, получил в награду полпуда муки, то долго стоял в сенях и улыбался. Никак не хотел выходить на улицу, точно думал, что там муку отберут вместе с улыбкой. Наконец с благодарной дрожью поклонился, коснувшись рукой

выскобленных половиц. Вершинин жестом успокоил его и незаметно взял с собой топор без топорща.

Дело было сделано в кустах орешника. Там же убийца и прикопал художника, используя обмозгованный металл как лопатку. Потом Вершинин бил женщин, парней, опять придушил интеллигентика, расплескал еще одну бабу. Ходили мешочники в основном из Тамбова, но встречались и из Рассказова, почти города, где население работало на фабриках и не имело подсобных хозяйств. Народу в те годы пропадало много, и Петр не боялся разоблачения. Да и улица к своей выгоде смекала, почему небогатые Вершинины нынче так дешево меняют платья на провизию.

Бабы толпились в вершининской горнице, щупали юбки, которые еще недавно принадлежали живым людям, и спрашивали:

— А сатина нет?

— Родненькие, потерпите, как придет человечек к нам — так и каждой из вас юбочку выправим.

Бабы понимали, что сатина нет, и стервенели, грубо трогали ткани, подносили их к вздернутым носам, отпихивали друг друга и сбивали у Вершининой цену. Та взмахивала руками и отбояривалась:

— Все будет, миленькие! Только уговор: как явится мешочник, вы его прямо к нам, сюда приглашайте, а потом приходите — даром отдадим. Дешевше, чем вы, торговать будете.

И бабы говорили. Показывали коричневым от загара пальцем на избу Вершининых и не чувствовали перед путниками никакой вины. Петру пришлось выкопать новый погреб, на сей раз потайной, о котором знали только жена и он сам. Там лежали продукты на черный день и дорогие вещи. Скоро в край придет война, и надо хорошо подготовиться. Тот парнишка из города четко сказал: будет повстанье, а кто Вершинин такой, чтобы умникам не верить?

Прошел год. В деревне неоднократно менялась власть, и плутовской семейке казалось, что лихо все-таки пронесет. И вот опять нагрянули большевики. Были они злые, покалеченные. Часть зажиточных крестьян сразу же взяли в заложники, часть расстреляли, выстроив вдоль уличной канавы. Мстили чоновцы за пущенный под откос паровоз. Да вот задача: деревенька, хоть и стояла ближе всех к месту крушения, ни в чем виновата не была. Устали крестьяне от войны, хотели сеять и спать. Зачем железное полотно портить? Ладно на грузила к удочкам, но ради смерти? Каждый мог поклясться, что непричастен к диверсии. Деревеньку все равно перевернули вверх дном. При обыске у Вершининых нашли кучу тряпья, тканей и украшений.

— Спекулянт? — спросили у Петра.

Он не то чтобы не понял. Просто не хотел говорить. Зачем? Что еще требовалось добавить о времени, когда убивали за ведро картошки? Егото, убийца, нашли, погребок же с продуктами не отыскивали. Пусть жене достанется. Любит она хорошо покушать. И платье кой-какое осталось. Пусть носит.

— Спекулянт, спрашиваю?

Вершинин безразлично глядел по сторонам и в последний раз мял в огромных руках шапку.

— Спекулянт?

Петр посмотрел на командира. Тот был такого же, как он, роста, только светлее. Синие-пресиние глаза. Золотые волосы, зачесанные назад. Вытянутое лицо. Комиссар, пришедший в деревню, как будто специально насмеялся над крупноносыми крестьянами. Уж больно он отличался от местной породы. Отличался настолько, что темный Петр Вершинин разлепил губы и впервые за долгое время уважительно спросил:

— Что?

— Скупали вещи у мешочников? — повторил Мезенцев.

— Да.

— Благодарю. Рощке, займитесь.

Тут же блеснули холодные очки:

— Пожалуйста в Могилевскую губернию, гражданин крестьяшка.

Петра Вершинина расстреляли без церемоний. Подписали мандат, заранее отпечатанный под копирку (на месте нужной фамилии стоял пропуск), и передали спекулянта двум похожим друг на друга красноармейцам. Они всё шутили, ерепенились, доказывая Вершинину, что он кончится быстро, без мук.

— Ты, брат, не бойсь. Мы тебя щелкнем прямо в сердце. У нас рука набитая.

Петру подумалось: неужто так всегда расстреливают? Почему шутят? Лучше бы дали под дых эти веселые пузатые парни. Он ведь, когда бил мешочников, ничего им не говорил — зачем людей расстраивать? Только в самый первый раз той женщине сказал, что пусть домой возвращается. Но ведь и сказал для острастки, для того чтобы избежать душегубства, чтобы ушла она с миром к своему машинисту сушить слезы над паровозной топкой. А тут... тут то же самое, только еще и смеются. Так что виноват Петр Вершинин не больше остальных.

Щелкнули две винтовки. Умиравшего Вершинина бросили в канаву. Никто так и не прознал про его кровавый промысел. Расстреляли за спекуляцию. Жену забрали в концентрационный лагерь в Сампуре, где та, подхватив инфекцию, вскоре скончалась. Когда вдову трясло в лихорадке, ее успокаивали обрывки воспоминаний о потайном погребке, где ее ждут не дождутся мешки с картошкой, соленья и шмат ароматного белого сала.

XV.

Красный отряд ранним утром переправился через Ворону и вошел в лес. Перед тем вышла небольшая заминка. На Змеиных лугах выловили женщину с длинными каштановыми волосами. По виду — еврейка. Думали — связная, оказалось — дурная: биться начала, царапаться, пока не приказал Мезенцев отрезать ей волосы. Не потому, что крепких веревок социализму не хватало. Наловчились партизаны передавать в густых прическах и под женскими повойниками послания.

В волосах у женщины ничего не оказалось. Пока арестованную провождали в Паревку, случилась вынужденная остановка. Крестьяне, взятые в проводники, пожимали плечами: кого хотел найти комиссар? Почитай половина суток прошла, за которые противник мог в другой уезд уйти. Но Мезенцев заранее приказал обложить лесной массив конными патрулями и был уверен в успехе.

— Они ранены, — говорил он больше для других, чем для себя. — Раз ранены — медленно идут. Коней перекладных нет: мы их повыбили. Фураж есть? Нет, побросали нам под ноги. У нас кони овсом заряжены? Да. Бойцы веселы? Да. Оружие наизготовку? Да. Дойдем до них. Недалеко... Да? Да.

Приказы Мезенцева сбивались: в такт болела голова. Командир косился на Рошке, который невозмутимо думал очками. Заметил ли чекист слабость? Братья Купины, как всегда, смешили отряд. Хворающий Верикайте остался в селе. Куда бы он с разбитой ногой пошел? Хотелось Мезенцеву найти в отряде еще одно знакомое лицо, обязательно красивое и худое.

— А где этот, — спросил у Рошке комиссар, — такой... ну, наш... где?

— О чем это вы? О крестьяшке?

Очки не делали Рошке умней или интеллигентней. Он не был похож на того, кто решил отомстить хулиганам из школы. Зато выглядел немец злее, настойчивее, точно учитель, обманувшийся в мудрости преподаваемого предмета. Вальтер прямо (коситься Рошке не умел) смотрел на Мезенцева, пытаясь вычленить трещину, которая расколола голову комиссара. Вроде и были похожи кожаные люди — оба в черных тужурках, галифе, вспотевших гимнастерках, сапогах, — но Мезенцев явно направлялся в лес не ради поимки антоновцев, а за своим тайным желанием, и педантичному Вальтеру Рошке это не нравилось.

— Рошке, вот вы цедите про крестьяшек, а на деле помните, как кого зовут и кто за что просил. Тут надо одно из двух поменять. Иначе диалектика не работает.

— Товарищ комиссар, а вы вообще знаете, что такое диалектика?

— Нет, не знаю, — пожал плечами Мезенцев. — Мне просто нравится, как слово звучит. Оно как выстрел. Можно к стенке всю философию поставить и мир облегчить.

— Это у вас какая-то своя, розовая диалектика. Как водичка. Диалектика ведь совсем о другом.

— Может быть... Так ты не знаешь, где... это?

— О чем вы спрашиваете? Или о ком? О женщине, мужчине? О кулаке, крестьяшке?

— О женщине?

По селу ходили слухи, что холост комиссар по причине ранения в причинное место. Подкладывали в комиссарову избу несколько девок — чтобы отмолили они в постели арестованного батьку. Без брезгливости, но и без вежливости Мезенцев выпроваживал девушек со свахами во двор,

передавая их в пользование чекисту Рошке. Тот кривил рот, похожий на сигму, и в дар пушистое мясо также не принимал. Чекисту сильно и давно хотелось воткнуть немецкое остроугольное тело в мягкий славянский творог. Однако Вальтер стремился соответствовать высоким идеалам революции. Он никогда не брал взятки и никому не делал послаблений. Оставались младшие командиры и солдаты, отдаваться которым уже не было смысла. Вот отвергнутые крестьянки и судачили, что комиссар по профессии печных дел мастер.

— Трубочист, — хохотали из-за плетней девки, — вот за Антоновым и гоняется!

Никто не догадывался, что сидела под сердцем у комиссара длинная игла, какой обычно шивают писатели душевные муки. Колола она Олега Романовича независимо от головной боли. Ждала большевика в купеческой Самаре девушка-игла по имени Ганна Губченко. Ну как ждала? Мезенцев предпочитал полагать, что ждала, хотя он прекрасно понимал, что Ганна так и не простила ему арест отца.

К экспроприации рядового самарского интеллигента, балующегося Комучем, Мезенцев прямого отношения не имел, наоборот, пытался оградить старомодного любителя Герцена от местного аналога Рошке. И сама женщина знала, что Олег, которого она помнила еще по революционному кружку, где читали Бакунина, непричастен к семейной утрате. Знала — и не охладела, а стала теплой, как остывший чайник. Мезенцев кое-как смог объяснить это через диалектику. Тезис — большевик, контртезис — эсерка, синтезом должна была выступить любовь или ненависть, а вышло не по Гегелю.

Если бы Ганна влепила в вытянутое лицо Мезенцева понятное оскорбление, то не болел бы сердцем комиссар. Улыбнулся бы, растер по холодной щеке горячий ожог и с интересом продолжил бы глядеть на женщину. Но Олег Романович прекрасно помнил последний разговор, когда он в романтической, как казалось, обстановке читал стихи:

И когда женщина с прекрасным лицом,
 Единственно дорогим во вселенной,
 Скажет: я не люблю вас,
 Я учу их, как улыбнуться
 И уйти и не возвращаться больше.
 А когда придет их последний час,
 Ровный, красный туман застелет взоры...

Когда комиссар закончил, неуверенно поправляя золотую шевелюру и не зная, куда деть большие руки, Ганна ему подмигнула. Был у нее один глаз зеленый, а другой карий. Единственно дорогое лицо во вселенной сказало:

— Я не люблю вас.

Мезенцев буркнул:

— Я еще одно выучил, послушай.

Ганна вздохнула. Белая шея выгнулась, и у комиссара потемнело в глазах. Он захотел разорвать это горло зубами, втиснуть между ключичных углов свою прямоугольную голову, лишь бы на него не смотрели насмешливые украинские глаза. Правый из них коричневый или левый зеленый — не разобрать. Зеленый зрачок часто смеялся, отодвигая изумрудным хрусталиком плотскую близость, а коричневый тосковал по любви, которую когда-то пытался отыскать в комиссаре.

— Прости, но ты, Мезенцев, меня больше не волнуешь. Я не думаю о тебе. Я не люблю тебя. Мне тепло без тебя.

— А помнишь, тогда, на набережной, ты мне сказала снизу вверх: «Я ваша навеки»? Как же быть с этим?

— Что же, — усмехнулась Ганна, — даже ваш Ленин в начале семнадцатого года говорил, что только будущие поколения доживут до революции.

По длинному, как XIX век, лицу скатилась капля пота. Олег облизал нецелованные губы и мужественно кивнул. За окном по-прежнему была Самара, по Волге пароход тянул баржу с углем, и это означало, что один глаз у Ганны был зеленым, а другой коричневым. Больше всего Мезенцева поразило, что Ганна даже не заплакала, вообще никак не выразила своих чувств. Точно речь шла о прочитанной книге или кооперативном обеде. Это он должен быть холоден, а не она. Женщина насмешливо смотрела на Мезенцева двухцветным взглядом.

— Ну, что будешь делать? Арестуешь меня?

— Нет.

— Тогда стишок расскажешь? Хочешь, я тебе стульчик принесу?

— Не надо стульчик, — вздохнул комиссар.

— На свете есть хорошая русская поговорка: насильно мил не будешь. Вот ты, твоя партия, твои вожди и их методы — это все насильно. Я так не хочу. Никто так не хочет, кроме вас. Ты ко мне относишься так же, как вы относитесь к народу, — почему-то считаете, что мы обязаны вас любить.

Мезенцев молчал. Он думал. Хотелось сказать эсерке что-нибудь хлесткое, но с туманной горчинкой. Чтобы женщина запомнила и, когда умирать будет, ссохнувшаяся или молодая, от болезни или в руках чужого супруга, обязательно заплакала, осознав, что ее Олег из прошлого оказался во всем и навсегда прав.

— Так что? Я жду, — прищурилась на Мезенцева Ганна.

— Ты дура, — сказал он ей, — и народники твои — говно.

Затомив тоску в крови, Мезенцев ринулся в Москву. Там комиссара отправили в Тамбов — делать хлебную революцию. Мезенцев ликовал. Плевать ему было на хлеб: комиссар его вообще не ел. Хотелось вернуть Ганну, которая мотыльком полетела на крестьянское восстание. Мезенцев не знал или не хотел знать, что Ганна крепко держала обещание и ни одной мыслью не выдала себя комиссару. А он так не мог. Он любил. Как вообще можно любить женщину с фамилией Губченко? С такой фамилией варят веселый борщ с галушками. А Мезенцев любил, любил наперекор своему высокому росту, любил так, что получался крест.

Если бы прознали про женщину-иглу толстозадые крестьянки, все равно не перестали бы судачить: любовь в страдательном залоге непонятна тем, кто рожал за жизнь по двенадцать детей. Не понял бы и Рошке, поставив незабудку-эсерочку не в вазочку, а к стенке. Не поняли бы солдаты, найдя у командира изъян, куда на привалах втыкали бы колкие замечания. Мезенцев вертел больной головой, пытаясь высмотреть человека для тайного разговора, но такого не было. Отряд двигался молча и подтянувшись: Рошке укрепил дисциплину.

Шли уже несколько часов, а лес не редел. Дозор доложил, что следов антоновцев не наблюдается. Ни обломанных веток, ни навоза, ни брошенного оружия или раненых. Ничего. Никого. Раньше преследовать повстанцев было веселей. Они обожали класть под задницу пуховую подушку, а когда удирали, то за всадниками струился шлейф из перьев, по которому легко можно было выследить беглецов.

— Привал, — скомандовал Мезенцев.

Рошке сел на траву и посмотрел в себя. Там множились цифры. Чекист специально выбирал непохожие друг на друга значки, женил угловатое на округлом: семнадцать на восемь, тринадцать на девять. Никак не мог он смириться, что в поход выступило девятнадцать человек. Сулило это несчастье. Нужно было набрать двадцать полнокровных людей, но из-за торопыги Мезенцева не успели.

На кожанке засуетились мураши, и чекист решил, что сидит прямо на муравьиной тропе. Насекомые оказались здоровые, рыжие. Рошке встал, точно разогнули циркуль, хотел сделать несколько шагов в сторону, однако обратил внимание на лежащего в траве Мезенцева. Тот задумчиво глядел, как по нему ползало с десятков муравьев. Вальтер посмотрел на Олега Романовича круглыми очками и впервые испытал по отношению к комиссару не холодный восторг, а легкое презрение. О чем это говорил Мезенцев? Почему разлегся? О чем задумался? Почему не отдает приказов и не чистит оружие? Неужто командир впал в славянскую тоску, от которой придумано одно спасение — дух казармы и философии?

Красноармейцы накинули на пламя котелки. Разлилась неуставная речь, которая всегда веселеет, когда дело идет к куреву и еде. Купины рассказывали прибаутку, как одна еврейская девка тут неподалеку отдала им гуся, а они отдалась ей вдвоем. Солдаты гоготали. Немножечко пахло солнцем. С большим неудовольствием Рошке увидел, как быстро люди срослись с природой, словно обязанности классовой борьбы были для них тяжелой поклажей, валяющейся ныне в траве.

Вальтер укоризненно сказал:

— По вам муравьи ползают.

Мезенцев прикусил травинку. На мохнатом кончике болтался муравей, и мужчина, шевеля шершавыми, искусанными губами, осторожно качал зеленый стебелек. То ли убаюкивал насекомое, то ли забавлялся, представляя себя таким же муравьем. По крайней мере, Рошке вообразил именно такую ситуацию, опознавая природу через эксплуатацию, всесильный капитал и угнетенный труд. Но заметив отрешенный взгляд

комиссара, немец раздражился: думал Мезенцев совсем о другом, о чем не мог догадаться естествоиспытатель, с отличием окончивший один из европейских университетов.

— Пусть ползают.

Муравей вместе с травинкой поехал вниз.

Солдаты взорвались хохотом. Купины, не стесняясь, рассказали, как попользовали в сарае каштановую девку. Если выдастся минутка, Купины всю роту на постой приведут. Рошке покраснел и подумал, что нужно было послать на винокуренный хутор более надежных людей. В небе красиво каркнула ворона, что совсем сбило Вальтера с толку: он привык, что ворона каркает зловеще.

— Купины... и вы, товарищ, — ткнул Рошке в мобилизованного крестьянина, — на разведку.

Братья заворчали и отвлеклись от котелков. Комиссар баловался с муравьями. Нижняя губа Рошке стала нервно подрагивать.

— Вы знаете, Олег Романович, царство природы мне никогда не нравилось.

— Мне тоже, — глухо ответил Мезенцев.

Хотелось, чтобы комиссар возразил. Он же качал на травинке муравья — так пусть ответит, что видит в жуках-навозниках определенное обаяние. Тогда бы чекист развернулся. Теперь речь Вальтера выходила не к месту поучительной.

— Не нравится, потому что царство. Скажите, вы любите всю эту земляную романтику: березки, речки, холмики? Сел на них и сиди, пока земелька в себя не засосет? Любите или нет?

— Нет, не люблю, — ответил Мезенцев, рассматривая муравьев.

Ответ опять не удовлетворил Рошке. Выходило, что комиссар во всем с ним соглашался, и не было причин, чтобы развить диалектическое столкновение.

— Я тоже не люблю басен про землю, — нехотя согласился Вальтер. — Впрочем, одна мне очень нравится. Хотите, расскажу?

— Валяйте, — безразлично бросил Мезенцев.

— В тамбовской чеке работал товарищ. Его звали Земляк. Почему, спросите вы. Потому что всех подследственных и приговоренных он ласково величал — земляк. Контра, надо сказать, сразу поднимала голову: как же, начальник опознал кровно-земельное родство, видимо, в деле посмотрел. Чем черт не шутит, может, рассчитывать на скозуху? А Земляк весело и с хохотком подмигивает: «Ну, земля, быстрее сознаешься — быстрее вопрос уладим. А? Что скажешь, земляк?» И курянину так говорит, и белочеху, и поляку, и жителю местечек, и питерцу, и всем-всем. Каждый у него земляк. И каждый радуется, ага, надо же, что-то общее нашлось между чекистом и мной. Ведь никто не понимает, почему он ласково называет их земляками! А расспросить, понятное дело, не смеет. Даже с соседями по нарам не делится — нет, это только мое счастье! Лишь я его земляк! Это мне он вспоможение окажет! И глаза так радостно вспыхивают, когда радостно позовут: «Земляк, поди сюда». Кто ж объяснит контра,

что ни при чем тут губернии и уезды? Что называют их земляками совсем по иной причине. Совсем по иной... Вы ведь понимаете по какой?

Мезенцев наблюдал, как муравьи, почувствовав лакомое тепло, обнажили усики. Он не слушал Рошке. Одна букашка прорвалась сквозь защитную гимнастерку, и укушенный комиссар поспешно встал. Рошке с удовлетворением наблюдал, как его рассказ вывел товарища из оцепенения. Однако чекист поторопился с выводами: Мезенцев подскочил от грянувших в лесу выстрелов.

Через пару минут в переполошившийся лагерь прибежал солдат:

— Там у них... блиндажи, окопы нарыли! Выскочили из-под земли. Подо мной лошадь убили... Но если с флангов зайти, мы их... ух!

— Купины убиты? Оба? — Рошке очень хотелось четных чисел.

— Так точно!

Мезенцев разбил отряд на две когорты и приказал заходить с флангов. Сам пошел посередине, вытащив из кобуры наган. Вскоре по коре щелкнули первые пули. Мезенцев не сразу нашел искусно прорытые окопы. Он ввязался в перестрелку, пока с флангов к окопам не подползли красноармейцы. Пара гранат, клуб земляной пыли — и комиссар медленно пошел на бандитские стоны. Землянку разворотило, в ней лежало два дымящихся трупа. Третий человек был жив и даже не ранен. Его вытащили на свет и прислонили к дереву.

— Где наши? — спросил комиссар.

Бандит ничего не ответил. Солдаты обнаружили выкопанный блиндаж, от которого отходило два луча-окопа. Блиндаж был с глиняной печкой, потайным выходом и еловыми лежанками. В капитальной землянке можно было и зимой на недельку-другую схвататься. Укрытие было старым, добротным.

— Вы кем будете? Ваше имя? — поинтересовался Рошке. — Из крестьяшек? Из банды Антонова? Сами по себе?

— Тебя спрашивают! — Один из бойцов пнул пленного.

Раздался подленький смешок:

— Мы сами по себе! Живем тута, делаем шо хотим.

— Где двое наших?

— Теперь им не отвертеться! Сам Тырышка с них спросит.

— Кто?

— Тырышка! Главный человек леса! Ой спросит!

— Кто такой Тырышка? — удивился Мезенцев.

— Ну ты, пан, совсем с глазду съехал, Тырышку не знаешь? — сверкнул пленник глазами.

Они у него были мертвые, закоптившиеся. Даже не глаза, а кротовые дырочки, куда осыпалась кожа-земля.

— Врешь, падаль! — заорал ближайший солдат. — Какой Тырышка? Мертв он давно! На Лысой горе в Тамбовском уезде его порешили. Я там был с товарищем чекистом!

Партизан мелко, по-воровски захихикал.

— Рошке, объясните, чем прославился этот ваш Тырышка?

Чекист выглядел немножко озадаченным.

— Обыкновенный бандит. Хозяйничал около Тамбова. То вестового зарежет, то патруль перестреляет. Всей банды человек сто. Сам из уголовных, однако заделался политическим, мол, анархист. Сочиняет стишки, любит эпатаж. Махно Тамбовского уезда. Но дело, товарищ комиссар, не в этом. — Рошке протер платком очки. — Дело в том, что Тырышка был убит весной этого года на Лысых холмах близ Тамбова. Я лично участвовал в той операции и видел его труп.

Человек снова захихикал, и из разбитого рта выползла черная змейка. Она юркнула Мезенцеву в ухо, и он почувствовал, как неприятный, совсем нечеловеческий звук разбудил головную боль. Кем бы ни был Тырышка, он явно отличался от банального ворья.

— Ой дурачки вы, дураки вы, дураки! — заливался пленный. — Ничего не понимаете! Тырышка убит? Ах как же! Сколько раз его убивали и сколько раз он оживал! Нет никакой смерти. Верись в смерть — погрешь. Нет — будешь жить. Вот вы верите — вас она и коснется. Вы умрете. А мы будем до Второго пришествия курку кушать и жмых сосать.

— Какие мы умные слова знаем! От атамана нахватался?

— Дух живет где хочет!

— Рошке, — приказал Мезенцев, — Евгений Витальевич перед выходом успел скрепить подписью некоторые мандаты. Достаньте один. По поручению губревкома объявляю заседание ревтройки открытым. Товарищ Рошке, расстреливаем?

— Да, — кивнул немец. — Но по закону я должен заполнить мандат. Ваше имя?

Через две минуты раздался выстрел. Можно было бы и раньше, через минуту, ведь пленный назвался быстро и без запинки. Просто очень уж любил Вальтер Рошке четные числа.

XVI.

Купины смотрели на Тырышку, а Тырышка на Купиных. Какого-либо взаимодействия не получалось: взятые в плен братья удивленно хлопали ресницами, принимая лесного атамана за своего крестьянского родственника, а Тырышка поглядывал без ненависти, без интереса, вообще без ничего. Один глаз его прятался под повязкой. Другой был почти белым, чудным: там как будто выпал снег. Волосы анархист зачесывал назад, отчего черная повязка ползла на прыщеватый лоб. Смотрелся Тырышка нептырем или каким другим ночным существом. Роста он был небольшого, видно, недоедал в детстве — маленький, как и все Махно. Руки же у Тырышки были очень длинными. Чуть ли не по земле волочились.

На атамана с большим почтением таращился Петр Вершинин. Великан хмурился, будто до сих пор хранил за плечами мешок с преступлениями. Там что-то ворочалось и вздыхало. Петр не сильно обрадовался встрече с Кикиным. Тот жался к распухшей от жаркого дня кобыле. Порой Тимофей Павлович нежно целовал собственность в разодранный

бок. Кулак пошел за кумом и выблюкал на банду Тырышки, где обретался Вершинин. Родственничек был тут же принят, обласкан, но не столько за приведенных людей, сколько за оружие — винтовки у антоновцев вежливо изъяли и вооружили собственные руки.

— Кум, ты скажи мне, — прощebetал Кикин, — откуда у тебя кобылка? Больно на мою похожа.

— На земле нашел. Валялась без человеческого присмотра. А то, что на земле лежит, то общее. Кто первый подберет, того и поклажа.

— Это что получается, раз вы меня в лесу подобрали, то и я теперь общий?

Братья Купины засмеялись, обнажив зубы в красных деснах. Кто-то облизнулся, увидев кровь, и от счастья заиграл на губе. Купины, не раз допрашивавшие пленных, тоже обрадовались: видимо, никто не собирался мозжить им камнем ногти. Тырышка слыл самым просвещенным атаманом Тамбовской губернии. Писал с грехом пополам, считал до двух с половиной, зато любил тех, кто обучен буквам. Особенно стихотворцев. Поговаривали, даже помиловал пару интеллигентов, попавших в плен. Они пообещали написать о Тырышке в газету.

Анархическая эпопея разбойника началась в Великую войну, когда фельдфебель Тырышка плюнул в рожу ротному, за что был немедленно отправлен в тюрьму. Когда в тамбовские казематы пожаловала Февральская революция, Тырышка плевать не стал. В тюрьме он заделался анархистом и позже всецело принял Октябрь. Хороший месяц октябрь: крестьяне урожай собрали, а проесть его не успели. Отрадно быть в октябре революционером: можно трогать корову, которую еще не пустили на мясо. Однако атамана интересовали не только мясные сладости. Он рыскал по губернии в поисках лютого тюремщика. Немало попил тот крови заключенным. Любил калечить их тяжелой палкой, в пищу плевал или подсаживал уголовников к политическим, чтобы люди взаимной мудростью опылялись. Так, к слову, Тырышка и заболел политикой.

Анархист потихоньку обрастал свитой. Он поддерживал большевиков, пока новая власть не решила послать Тырышку на фронт против генерала Дутова. Быть разрубленным казачьей шашкой анархисту не хотелось, поэтому он откочевал с оружием в тамбовские леса, где вот уже несколько лет успешно вел вольную жизнь. Грабил крестьян и большевиков, грыз даже своих, зеленых, пока окончательно не стал противосехным бандитом. Таких по Тамбовской губернии, да и по всей России, было много.

Ничем особым среди березовых батек Тырышка не выделялся. Это его больше всего и раздражало. Порой, как обсудят уездные крестьяне новости куриного помета, вспомнят и про атаманский глаз, закрытый повязкой. И так к нему подберутся, и эдак, а потом решат, что с черным бельмом у Тырышки тоже полный порядок. Нужна повязка для того, чтобы не спутали Тырышку, скажем, с Гришкой Селянским, держащим в страхе соседние три сосны. Конкурента по ремеслу Тырышка не любил. Не любил он и еще десяток-другой Щелкунов, Нигугуток, Хвыклов, Гугнивых и Сусявок — в общем, всех тех лесных командиров, что без-

вестно гибнут в болотах и битвах за одинокую повозку, не оставляя потомства историкам. Ведь каждая война выводит целый гурт атаманчиков, везет же одному-двум. Остальных черви выигрывают в карты.

— Ну, — сказал Тырышка, — рассказывайте, кто такие.

Почти каждую свою фразу Тырышка начинал с нуканья.

Вместо документа Купины указали друг другу на носы. Они тянулись вверх довольными свинными пяточками, и сами их владельцы казались добротным кулацким инвентарем. Жирненькие, привыкшие подкармливаться то штыком, то прикладом, пленные улыбались, не зная, что в жизни можно верить в плохое. Будучи главными балагурами полка, они и это свое приключение воспринимали вскользь. Ну что может случиться дурного, если только что на привале не был окончен анекдот?

— Земляки? — спросил Тырышка.

— Не, но близко — из одной губернии.

— Земляки, — удовлетворенно кивнул атаман.

Воинство гоготнуло.

— Уезды разные, — затараторили Купины, — все нас братьями кличут, а мы только по мобилизации познакомились. Но похожи — страсть! Видно, папаша славно покуролесил на курской земле.

— Ну, земляки, не врете? Не родные, что ль, братья?

— Не! Сами всю жизнь удивляемся!

— Ну так, крестьянская кость, что, брата своего не чуете? Такого же, как вы, пахаря? И пришли нас сюда давить? Крестьяне — крестьян? Да где это видано?!

Как и всякий грабитель, Тырышка любил изображать народного защитника. А то, что после у девок юбки поверх головы завязаны, так революция штука страшная — зачем ее видеть?

— Ну какого ж рожна вас сядой принесло? Чаво крестьян бьете?

— Так чего, власть же у нас крестьянская, — пошутили Купины, — вот мы и того... крестьянствуем.

Никто не рассмеялся. Вокруг парней не кипела матерная походная жизнь. Под сухим деревом сидела девка с неглаженным брюхом. В стороне тяжело дышал великан с темными глазами. Иногда он наклонялся и по-доброму вдыхал вонючую лошадь. Та уставилась в кобылий рай и не ржала. Еще лошадь поглаживал мужик, похожий на глазастую водомерку. Глазами он отрывал от парней то бровь, то губу, то указательный пальчик и тщательно все пережевывал.

Красноармейцы на мгновение испугались. Затем оцепенение прошло и рядовые снова затараторили:

— Да мы разве ж с вами воевали? Вы посмотрите на нас, мы же добрые люди. Нас и в отряд взяли, что мы смеяться любим. Всех развлекаем. Хотите, и вас развлечем?

— Можно, — дозволил атаман.

— Хотите, споем?

— Ну, положим, хотим. Только потише. Вдруг кто чужой услышит? Нынче много лихих людей по лесам шатается.

Теперь бандиты заржали. Ржанула и пустая кобыла. Купины снова переглянулись, пожали плечами и запели одну из своих коронных частушек. За ней еще одну. А потом сразу две. Баба, ухватив в животе ребенка, без радости смотрела на пляшущих хлопцев. Вроде и выделявали артисты кренделя, но без тальянки танцы на еловых шишках выглядели жутковато. Не в такт поскрипывали деревья, да плевали в землю мужики — вот и вся музыка.

— Ну артисты, — покачал головой Тырышка. — Братцы, вы хоть раз такое видели?

— Не-а! — протянул Кикин и еще раз пощупал кобылу. — Ах хорошенькая! Буду в тебя пожитки прятать.

Дотошный Тимофей Павлович полдня расспрашивал Вершинина, куда тот подевал жеребенка. Как-никак плод атаманских кровей. Кум молчал. Кобыла теперь принадлежала Тырышке: хочешь жеребенка — с ним дело имей, не хочешь — не имей. Не до расспросов Кикина было. С начала концерта Петр Вершинин, немного оживившись, смотрел на Купиных.

— Хороши петушки, ничего не скажешь. Оставим их... для потехи?

— А мы что говорим?! — обрадовались Купины.

Не зря Рошке и Мезенцев жужжали над ухом про классовую сознательность. Были повстанцы не чужого швейцарского племени, а свои, родные: вон на лице картошка растет. На радостях друзья отмочили еще пару номеров и пропели про случай на еврейском хуторе. Не сразу сообразили братья, что над их шутками никто не смеется. Никто даже не улыбнулся. Курносые головы вдруг прояснились. Неладно было вокруг. Не по-настоящему. Так не бывает в жизни. Экспромт показался неуместным. Так не должны были вести себя пленники и их владельцы. Не сейчас и не в глухом лесу во время братоубийственной войны. Это почти сразу поняли хмурые люди в обносках. А Купины по инерции еще хлопали друг друга по плечам, лезли обниматься и зубоскалили, предвкушая, как расскажут сослуживцам новую прибаутку. Не замечали увальни, как с пня на них мертво смотрит рябая баба. Ухватила она руками живот: не приведи господь, ребенок засмеется.

— Ну молодцы хлопцы, повеселили, — сказал Тырышка. — А теперь мы вас в благодарность убивать будем.

Пленные переглянулись, ожидая, что и сейчас случится шутка, они хрюкнут, хакнут — и как-то все само собой рассосется, забудется, и они с миром пойдут домой. Но все пошло иначе.

— Можно я? — вызвался Кикин. — Я видел, как эти суки в Паревке наших девок щупают. Идут — и хлыч, хлыч! А еще коров щипали за вымя! И... вместо лягушек в молоко ужей плюхали! И людей еще расстреляли с колокольни! Я там все проползал, всех видел... Дай отомщу!

— Ну, Тимофей Павлович, действуй. Я человек, из культуры сделанный, мне мараться о говно ни к чему, — согласился атаман.

— Благодарствую, батька! Петро, кум, иди помогать!

Купины улыбнулись, подтверждая, что да, дело было именно в Паревке, на сеновале и прямо в избах, но разве ж то грех? Разве за то судят?

Ну постреляли народ. А кто ныне в людей не стрелял? Все же стреляли. Все и виноваты. Купины не понимали, зачем их толкают к плотно росшим соснам. Тимофей Павлович приказал скидывать исподнее, и парни обнажили одутловатое мясо. Поджарые мужики с удивлением смотрели на мягкие мужские бока. Вроде рожи были красные, русские, вихры так и вились над ними, а кожа так бледна, так бела, точно и не было ее вовсе. Кикин от радости даже надавил пальцем. Бандиты облизнулись — не на паховую область, заселенную вшами, а на чужой вкусный бок.

— Кусаются! — глупо сказал Купин и хлопнул себя по заднице.

— Комарик бодрит! — пошутил другой Купин.

Тырышка хотел спросить, а как же братьев различают, ведь похожи они на две сдобные плюшки. Такие раньше в жирной Паревке пекли. Хорошо бы туда наведаться скопом, пощупать людишек на предмет коммунизма и контрреволюции. Мысль о богатой Паревке понравилась Тырышке, и он забыл о Купиных. Вокруг них вились комары.

— Комарик знает, кого есть! Хочется ему красненького, — шептал Кикин, — да, кум? Петро, хочешь укусить стрекулистов? Я бы покусал! — И он с наслаждением провел грязным пальцем по сальному боку Купина.

— Та ну, мужики... братки... Мы же от одной сохи... тоже крестьяне.

Увальни скорчили грустные рожи, показывая, что их бы ни в жисть в партию не приняли. Меж тем комары одолевали страшно — тела красноармейцев припухли, и Купины обиженно попросили:

— Бабу хоть от нас отверните, мы же не свататься пришли.

Женщина не отвернулась. Ей было интересно, как будут делить Купиных. По справедливости или как всегда?

— Становись к дереву и не двигайся! — крикнул Кикин. — Петро, вяжи их! Так, чтобы не дергались! Братва, помогай!

Пленных плотно прижали к деревьям. Тимофей Павлович принес с подводы молоток и железные штыри в палец толщиной. Поначалу Купин не кричал, подумывая, что все это не по-настоящему, но со второго удара, когда штырь пробил ладонь и с трудом вошел в дерево, парень заорал. Даже не заорал — вырвал из себя индюшачий крик, отчего сразу же потерял сознание. Мужики вытянули вторую руку, и Кикин не торопясь прибил ее к дереву. Затем прибили ноги в районе щиколоток. Когда молот бил по штырям, жир на боку Купина колыхался. На него, а не на казнь заворуженно смотрел непокалеченный Купин.

— И сколь нам здесь висеть? — неуверенно спросил он.

— Ну, — ответил Тырышка, — не знаю. Тут ты меня озадачил. Пока не надоест, я думаю.

Бандиты дико заржали, и даже кобыла обнажила большие желтоватые зубы. Баба тоже улыбнулась. Брыкнулся и живот: то ребенок решил засмеяться, а может, не захотел вылупляться в мир, где мать не скорбит при виде распятого. Захотел ребенок сбежать с маточного поля да закатиться хотя бы лошади в брюхо. Там люди уже смотрели и больше искать не будут.

— А-а-а-а!

Залитый кровью Купин очнулся. Тело плотно покрыл комариный ворс. Красноармеец завозюкался, захотел сняться с дерева — только штыри были вбиты на совесть, жди теперь, когда ураган пройдет да повалит сосенки. Пленник хотел было закричать, но Кикин зарядил по вихрастой голове молотком. Тот обмяк и больше не двигался.

— Говном их надо измазать! — заметил Тимофей Павлович. — Сошьем братцам одежонку по чину. Мужики сапоги сделают, одного Вершинина на целый армяк хватит, а с меня, так и быть, фуражка вылезет.

— Больно надо, — проворчал Тырышка, — еще жопу об них марать. Пойдем отседова. Пусть их всякий гад лесной жрет теперь.

— А второй как? — разочарованно спросил Кикин.

— Да, я как? — встрепенулся уцелевший. — Нельзя же меня так... нельзя!

И тут в голове Тырышки все сложилось. Купин ведь остался в единственном числе. Теперь он мог быть и первым, и вторым, и в обоих случаях его ни с кем нельзя было спутать. Тырышка довольно повертелся на каблуках, оглядывая свою банду. Вот баба с рыбьими глазами. Молчаливый Вершинин, великан, каких и в горах не найти. Новоприобретенный Тимофей Павлович, облизывающийся на распахнутую кобылу. Крестьяне, которых Кикин привел с собой, дрожали от его, Тырышки, белого взгляда. Дрожали и от черной повязки. Понравилось это атаману. Он любил страх, считая его лучше всякой клятвы.

— Берите с собой хлопца, — вступила в разговор женщина, — он нам пригодится.

— Зачем? — спросил Тырышка.

— Мы из него человека сделаем.

— Человека? Ну смотри, если у тебя самой красный человек родится — не прощу.

— Младенцы все красные, — сказала женщина и погладила беспокойный живот, где вызревал коллективный плод.

— Ну, значит, второго с собой потащим. Теперь он может имя нам открыть.

— Как зовут, падаль? — зашипел Кикин.

— Иван... Иван Купин. Братцы... не кончайте меня! Я сам бы никого ни в жисть пытать не стал! Не верите? Хотите, обсерюсь?! Боюсь вас! Докажу сейчас, не кончайте, братцы, дайте минутку...

— Ну, грузите его! — кивнул Тырышка. — А всячего доработай. Коленные чашечки срежь. Пойдут на подсвечники.

Кикин по-стрекозиному улыбнулся. Никто не знал, как улыбается стрекоза, поэтому все подумали, что у Кикина вместо рта и десен живет мохнатое насекомое. Откроет Тимофей Павлович пошире рот — оно и вылетит пылью собирать. Или мясо.

— Видишь муравейник? — добавила баба. — Да вон же! Там муравьи рыжие и злощие. Ты, как чашечки срежешь, подсыпь на коленочки мурашей. Пусть артист еще попляшет. Мы в глушь уйдем, а лесной гад порадует. Надо о малышах заботиться.

Кикин с уважением посмотрел на бабу. Уже прослышал Тимофей Павлович, что рябая умела говорить с лесом и землей. Была она в отряде вместо попа — водила мужиков вокруг ракитового куста и подорожником любую кровь останавливала. Только не хватало чего-то бабе. Точно жила она без самого важного на свете чувства. Может, потому забеременела?

— Будет сделано, — кивнул Кикин. — Прослежу с наибольшим порядком.

Когда он срезал пленнику колени, то для удобства бухнулся на костлявый зад и долго дул в человечьи ямки. Не хотел Тимофей Павлович, чтобы утонули муравьишки. С фырканьем разлеталась от губ молодая кровь. Трудился мужик добросовестно, пока не выковырял пальцем всю загустевшую жижу. Затем сунул коричневую лапу в муравейник и обтер ее о ножки Купина.

— Комарик бодрит! — смеялся удаляющийся Кикин. — Бодрит комарик!

На трех больших соснах, внахлест, будто здесь играли в крестики-нолики, остался висеть распятый. По одутловатым бокам текла кровь. На коленях, которые раньше прикрывали чашечки, пировали муравьи. Они рвали куски сизого мяса и спешили в муравейник. А ошалевшим комарам даже не нужно было втыкать хоботок: те пили горячую жизнь прямо с тела.

XVII.

Когда в первый раз увидел Хлыгин, как скидывает соплю крестьянин, то чуть не вывернул себя наизнанку. Сопля из ноздри брызнула мощно, шумно, изогнувшись зеленоватой тетивой. Ее кончик зацепился об усы, и сопля рассыпалась по траве как деревенский жемчуг. Костя тогда опешил, не до конца осознавая, что вот на эту русскую травушку, о которой он в гимназии писал народнические сочинения, его же любимый народ, не стесняясь, сморкается и гадит. Будто под ней не мать-земля, воспетая Некрасовым, а грязный двухкопеечный платок.

А потом ничего: поживешь недельку в лесу — и вся натурфилософия выветривается. Хлыгин начал с чувством харкаться и уже без брезгливости смотрел на то, что по утрам оставлял под кустом. Однажды даже использовал по назначению гимназическую тетрадь, которую возил с собой ради душевного отдохновения.

Жизнь в лесу представлялась эсеру романтикой. Костры, сосновый янтарь, боевое товарищество — это все, конечно, было, но издалека, где Самара и Волга, вольная жизнь виделась иначе. Переноса в портфеле эсеровские прокламации, Костя мечтал, как однажды разбросает их по деревьям, ветер закружит типографские листки и грянет буря, которая завьюжит, взбодрит весь мир.

Однако сначала Колчак разгромил Комуч, затем сам откатился от Волги за Уральский хребет, в город пришли большевики, за ними — расстрелы, которым так и не смог поверить лидер эсеровского кружка, куда входил Костенька Хлыгин. Он плохо уже представлялся мальчику. Зачем

запоминать обыкновенного школьного учителя, собирающего приложения к журналу «Нива»? Фамилия у него была дальняя, украинская — Губченко. Она больше подходила гречкосею или переселенцу в Сибирь, но чтобы так звали интеллигента, рассказывающего разночинцам про идеи Лаврова и Иванова-Разумника?

Зато хорошо помнил Хлытин учительскую дочь Ганну. Сколько раз, проходя по гостиной, где собирался кружок, женщина лукаво ерошила Костины волосы. Принесет стакан чаю и, пока подслеповатый родитель читает что-нибудь из шестидесятых, незаметно смахнет с мальчишеской макушки несколько пылинок. Все немело до самого кропоткина. Ганне не так давно исполнилось тридцать. С женщины сошла первая девичья красота, уступившая место холодной зрелости. Она была женщиной не то чтобы ледяной, но если случайно вставала под лампу, косой луч срезал с ключиц тонкий слой инея. Учительская дочь таяла от скрытой душевной муки. Ганна не улыбалась, держалась прямо, как машинный стежок, чуть плосковатой была — без груди и без задней мысли, и каждый ее жест шел из глубины, где гудела неясная тайна. Разбивалась ли она об острые камни, вспенивая чужие сны, Костя не знал. Не знал и то, любила ли Ганна взаимно. Однажды Хлытин собрался с силами и все-таки пробормотал о своих чувствах, только вышло почему-то об Азефе.

— Что вы спросили, Константин?

— Ев... Аз... уф. Хотел узнать ваше мнение... об Азефе. Да. Что вы думаете об Азефе?

— Евно Фишелевич совершенно некрасив. Я о нем ничего не думаю.

— Он же убийца наших товарищей! При чем здесь красота?

— А вы видели его фотокарточку? Любой женщине ясно, что, заведя Азефа, нужно перейти на другую сторону улицы.

— Что? — усмехнулся гимназист. — К большевикам?

— Нет. — Ганна не улыбнулась. — Революция ведет к красоте. Это ведь так просто: увидел человека с отпечатком самовара на лице — сделай шаг в сторону. Обойди. Жадные люди всегда уродливы. Уродливы и предатели. Лица Перовской и Спиридоновой чисты. Сравните их и физиономии жандармов. Мы даже внешне разные. Вы же читали брошюру Энгельгардта «Очистка человечества»?

— Не читал, — пробормотал Костя.

— Тоже, кстати, сочувствующий эсерам... Энгельгардт говорит о двух расах, о двух биолого-моральных типах, о расе Плеве и Столыпина и расе Засулич и Сазонова. Одна раса внешне красива, другая — нет. Одна раса благородна, другая — нет. Между ними идет вековая борьба. И я уверена, что красота победит... Вижу, вы улыбаетесь. Можете смеяться, но я уверена, что Иуда не может быть красивым.

Так Костя Хлытин впервые поговорил о любви. И ему тут же посоветовали прочитать про очистку человечества. Юноша воспитывал себя на иных книгах — он не любил социал-демократического разделения на своих и чужих. В словах Ганны почудился след чужого влияния. Ну право, что за биолого-нравственные расы? Какая-то германщина с ее вечной

тягой к разделениям и классификациям. Костя хотел рассказать о муравьином царе, отворяющем калитку, о хриплых стихах Надсона, о скифах русской революции и корабле смерти Иванова-Разумника. Или вот Блок, который ради поэзии призвал дырявить старый собор. Косте хотелось мистики, хотелось грибов и винтовки, чтобы под черно-зеленым знаменем объединился сектант, пахарь и гумилевский конкистадор. Вот тогда падет старый буржуазный мир, населенный нытиками и механизмами. Нытики — это, конечно же, интеллигенция, вроде отца Ганны, дребезжающим голосом читающего устаревшие позавчера книги. А бездушные механизмы — это большевики, которым Бог пригодился бы лишь в том случае, если бы показывал время.

А в ответ Костя услышал про некрасивого Азефа. Как банально! Точно Ганна одной своей половинкой разговаривала с Костей, а другой — пребывала далеко-далеко. Жила Ганна несобранно, даже во взгляде распадаясь на коричневый и зеленый. Несимметричной оказалась женщина — как будто веточка упала на зеркало. Быть бы Ганне Губченко невысокой, расторопной, говорить на чудном малороссийском наречии, кутать круглое лицо в цветастый платок и мечтать о куске голубого сатина. А девушка возьми и свяжись с революцией. Не с той революцией, с которой дружил ее отец, хотевший заглавными буквами одолеть красных и белых, а с имясобственнической Революцией, которая выкидывала помещиков в прорубь и бросала бомбы в комбеды.

Губченко-старший казался подростку забавным стариком, весь революционный подвиг которого — это просидеть пару месяцев в царской тюрьме. Чем тут гордиться? Романовский харч не советский. Костя мог и год-другой на казенной баланде перебиться — и ничего, размышлял бы спокойно о том, как трон четвертовать. Правда, не только о царе с боярами думал бы арестованный Хлытин. Не забывали бы скрипучие нары о молодой социалистке-революционерке. Учительский кружок собирался лишь для того, чтобы поглазеть на Ганну, мысленно вцепиться в ее лунные пальцы и посадить Революцию на дрожащие колени. Впрочем, чувствовалось, что худенькую женщину не интересовал ни подслеповатый отец, ни студенты с рабочими, ни семейная муха на абажуре. Костя не мог предаться греху, потому что вместе с дергающимся образом Ганны дергалось бы что-то еще. Он боялся открыть глаза и узнать, что представлял не только Ганну, но и ее тайну, а носитель тайны наверняка брился и был высокого роста. Он бы посмотрел на спущенные штаны Константина и недоверчиво покачал головой. Этого допустить было никак нельзя. Вот Костя и вздрагивал, когда затылка касались бледные женские ноготки.

Еще на улице Хлытину показалось, что за ним следят. Гимназист оглянулся, спугнув в подворотню пару теней, наверняка так ничего и не заметив. Когда работа кружка была в самом разгаре (с остановками читали Прудона), в дверь требовательно постучали. Ганна хмыкнула и улыбнулась. От этой улыбки село сердце Хлытина — не оттого, что сейчас в квартиру ворвутся злые люди с наганами, а просто так улыбаются, когда сильно, через боль, любят. И любили не его, Костю Хлытина.

Акты составляли недолго, прямо на учительском столе. Хороший был стол: толстые ножки и зеленое сукно. Старик демократически сопротивлялся, заявлял протест, говорил, что незаконие погубит революцию, однако чекисты не обращали внимания. Они даже пока никого не ударили. Костя давно догадывался, что слухи об их зверствах преувеличены, но быстро сориентировался, что дело не в этом.

По комнате, пугая людей, медленно ходил большой человек. Высокий, глаза настолько синие, что волосы морем искрились. На военном френче комиссарские нашивки. Хлытин не понимал, что на чекистской работе забыл полковой комиссар. Тайна раскрылась быстро: комиссар нет-нет да посматривал на Ганну. Она прислонилась к желтеньким обоям, отвернула голову вбок — будто тех, кто пришел, она все равно не ждала (у Кости зажглась слабенькая надежда), и молчала. На шее билась робкая жилка. Под простым платьем угадывались лебединые ключицы. Костя засмотрелся на женщину и, не ответив на вопрос, получил оплеуху. Старый Губченко вновь запротестовал, и Костя слегка озлобился: он не мальчик, чтобы его защищали. А ведь нужно было: я не мальчик, чтобы меня наказывали.

Комиссар скривился. Кожа над переносицей сложилась в рыбий хвостик.

— Не смей.

Костя разозлился еще больше. Тем временем задержанных уже выводили. Квартира пустела. Разве что муха осталась сидеть на зеленом абажуре. Комиссар, проходя комнатку, каждый раз становился к Ганне чуть ближе. Он хотел сжать девушку в одной руке — для двух было слишком мало тела — и чуть-чуть, всего на мгновение, касался ногтями Ганниного бедра. А может, и не хотел сжимать. Может, этого хотел Костя?

— Он же ее изнасилует, сволочь! Гад! — прокричал парень.

На сей раз по скуле смазали сильнее. Однако не удар огорчил гимназиста и даже не презрительный взгляд комиссара, удивившегося мальчишеской глупости, а теплое женское снисхождение:

— Дурашка ты, Костенька.

Чекисты вопросительно посмотрели на комиссара.

— Подождите внизу, товарищи, — ответил тот, — мне требуется кое-что выяснить.

И тут, как назло, подал голос Губченко-старший:

— Не переживайте, Константин. Они хоть и держиморды, а все-таки не насильники.

Костя, раздражаясь на старого дурака, попытался вырваться, получил удар под дых и с болью в животе был отпущен на свободу уже через пару дней. Отпустили вообще всех, кроме старенького учителя, записанного в организаторы антисоветского кружка. Тот не отпирался, пылко рассказывая, какой он видит настоящую революцию — демократическую и равноправную, где черную кожаную куртку выдает улыбающийся приказчик. Чекисты внимательно слушали. Порой подбадривали: говори, умник, побольше — нам меньше работы будет. И Губченко говорил.

Говорил про Лаврова, про Михайловского, про меньшевистскую критику Ленина, а еще про очень важную и актуальную статью 1907 года, которую необходимо прочитать всем работникам ВЧК... и вот, постойте-ка, может быть, я ее даже с собой захватил.

Больше о судьбе народника Костя Хлытин ничего не слышал.

Мальчик прибежал на опустевшую квартиру Губченко. Придумал даже предлог — забыл тетрадь, но Ганна как будто ждала его. Женщина потерянно слушала Костино клокотание.

— Да мы их всех! Гранатой! Я знаю, где достать... у меня приятель по гимназии! Лично застрелим! Освободим вашего отца и уйдем в деревню поднимать народ. Когда был у них... ну, вы знаете... там был, то продумывал послание, которое оставим после дела. Закончим стихами Савинкова. Помните? «Нет родины — и смерть как увяданье...» Слово «родина» напишем красным. Покажем, что это и наш цвет тоже, и страна тоже наша. Это было бы в духе Боевого отряда. Впрочем, знаете ли, Савинков может быть сегодня в Самаре. В городе неспокойно... Вот бы выйти с ним на связь. Мы бы такое устроили!

Это не был мальчишеский вздор. Выдай ему сейчас револьвер — Костя немедленно бы исполнил задуманное.

Ганна укоризненно сказала:

— Вот что, Константин. Олег Романович — мой старый товарищ... еще по старым временам. Мы не будем его убивать. Он за нас даже вступился. Однако это первый и последний раз. Поэтому нужно срочно уезжать из Самары. Здесь дело проиграно. Вы понимаете?

— Уезжать? Куда?

— Прочь, в деревню. Нужно поднимать крестьян на восстание, иначе мы никогда не скинем большевиков. Пока что деревня с большевиками, если же народу объяснить, что это за власть, тогда они просто захлебнутся. Не в крови, а в русской деревне. Понимаете, Константин? Я еду в Тамбовскую губернию, работать в Союзе трудового крестьянства. Буду днем учительствовать, а в перерывах вести агитацию. Товарищи помогут сделать вам соответствующие документы.

Костя был немного разочарован. Он мечтал достать из кармана пиджака бомбу, а тут снова, как в разговоре про любовь, деревня... крестьяне... агитация... Что-то лишнее и обыкновенное. Да кому это вообще нужно, когда Родину похитили?! Нас каждый день насилюют, а мы советуем преступнику мыть руки перед едой! Но женщина была серьезна. Глаза, коричневый и зеленый, потухли.

Костя, не утерпев, спросил:

— А что он вам сказал?

— Кто — он?

— Он, — произнес Костя с нажимом.

— Он? — Женщина улыбнулась. — Он читал мне стихи.

— Стихи?

— Да, Гумилева. Ему, видите ли, стыдно читать что-нибудь другое.

Говорит, Гумилев хоть и классовый враг, однако близкий большевизму

поэт — смелый, отважный, ему бы бронепоезд водить. Забавно, только это в Гумилеве как раз от неуверенности, а она от уродства. Он ведь косо-глаз. Вот и среди людей часто встречаются те, что всякий приятный предмет объявляют своим. Красным, вкусным, кадетским. Нравится — значит, большевизм, не нравится — забирайте обратно... Мальчишество. Все не наигрались в игрушки. Ведь на деле они всего лишь мальчишки. Что Гумилев, что Мезенцев. А я совсем не люблю мальчишек, Константин.

— А кого любите? — глуповато спросил Хлытин.

— После узнаете.

— Это потому, что ваш Мезенцев... красивый? Такова ваша теория? Он вам нравится из-за роста? Как вы говорили? Некрасивый человек — перейди на другую сторону улицы? А как же Гершуни? Гоц? Да как же... как же я? И Гумилев... Простите, но о вашем Мезенцеве все скоро позабудут, а «урода» еще долго будут учить наизусть! Это ли не красота?

— Константин, — вздохнула Ганна, — вам срочно нужно к народу. Вы все увидите своими глазами. И все сразу поймете.

Так Хлытин оказался на Тамбовщине. Фельдшерской работе парень выучился на курсах и тут же был принят в подпольную эсеровскую сеть. В хозяйствование Хлытину досталось село Паревка. Хотя и там ему было одиноко. Подпольная работа казалась пустым делом. Отправляясь в Кирсанов за очередной партией клистиров, Костя ощущал себя еще одним заблудившимся народником. Таким был отец Ганны, который без толку читал крестьянам Герцена. И самой Ганны нигде не было: она не вышла на связь с уездным штабом Трудового союза. Костя успокаивал себя, что революционерка такого уровня обязательно работает на самом верху. Что ей до скучной Паревки! Тут лишь крестьяне и нахальные красноармейцы.

Особенно не нравились Хлытину два одинаковых на вид солдата. Круглые отчего-то, пухлые, точно смеялись телами над голодавшим народом. Шутники гоготали, раздирая на лицах рты. Бросались через плетень прибаутками, подманивая визгливых девиц. В пыль летела подсолнечная шелуха, остававшаяся на дороге то белыми, то черными чешуйками. Вечером играла тальянка.

Костя хорошо запомнил эти несвоевременные лица и несвоевременный смех. И сейчас, когда антоновцы выбрали к распятому на дереве человеку, Хлытин быстро все вспомнил:

— Это же из Паревки служивый. Как там его?.. Купин!

Купин был еще жив. Он налился синюшно-красным цветом, точно большая ягода смородины. Отряд не сказать чтобы сильно удивился. Мало ли что на войне увидишь. Жеводанов поскрипел железными зубами: его поражало, как крестьяне пытаются людей — неумело, зверски, не так, чтобы расколоть правду, но чтобы само человеческое из тела вынуть и унижить. Вы нас грабите, вы нас убиваете, а мы еще хуже умеем. Мозжечок через ухо вытащим да на рыбалку! Что, не хочешь головой работать? Так давай в срамной уд соломинку засунем, пока мочевой пузырь не лопнет.

— Зверье, — присовокупил офицер. — Ладно бы на мясо человека взяли.

— Добить его надо, уважить, — сказал кто-то из крестьян.

Елисей Силыч помолился, осенил себя двуперстным знаменем и порызгал Купина водичкой. Тот застонал.

— Герваська, — предложил Виктор Игоревич, — займешься соборованием?

— Вера не позволяет. Не могу безоружного, пусть и язычника, жизни лишать.

— От какой ты! — рассмеялся Жеводанов. — А как палить из винтовочки по людям, так вера тебе не мешала? Или фабрики держать с людьми в Рассказове, а?

— То не мои фабрики были — тятины. А тятю большевики убили, им за это всем надо мстить, по-ветхозаветному очи и зубы драть. А с отдельного человечка спрашивать нельзя. Что он смыслить может?

Хлытин потыкал винтовкой в ворох оставленной одежды. Точно, красноармейская форма. Запах от Купина шел перепрелый, словно парня уже готовились положить в компостную кучу. Присев на корточки, Костя рассмотрел муравьев. Насекомые обильно копошились на месте вынутых колен. Муравьи отрывали в кратерах крохотные кусочки пахучего мяса и сбегали по окровавленной голени вниз, на землю, где тайными тропами спешили к муравейнику.

— Братцы, — просипел Купин, — не убивайте. Снимите, Христом Богом прошу.

— Кто вас так? — спросил Хлытин.

— Бандиты.

— Это мы с вами, значит, — хохотнул Жеводанов. — А еще хочет, чтобы его сняли.

— И куда ушли бандиты? — поинтересовался Костя.

— Не знаю... не помню. Снимите.

— Да не жилец он, — заключил Жеводанов. — Пристрелить надо, чтоб не мучился.

— Пусть висит, — веско сказал Елисей Силыч, — на все воля Божья. Раз прибили здесь, значит, было за что. Господу так угодно. Эй, солдатик... Совершал непотребное? Грешил? Людей местных кончал?

— А-а-а-а...

— Убивал людей, а?

— Убивал.

— Вот и пострадай теперь, милый, за это. А как ты хотел? Каждому воздастся за грехи своя. Но каждому и по силам отмерено. На этой сосне духом закалишься, авось в рай пропустят...

Жеводанов чертыхнулся и достал из кобуры револьвер. Елисей Силыч повелительно, хотя и без вызова взял товарища за руку и покачал головой. Офицер внимательно посмотрел на старовера. Совсем не купеческая у него была борода. Таковую не в ломбард закладывают, а на амвон кладут. Глаза у Гервасия тлели углями — сощурился еще чуток, веки выбьют искры и подожгут лес. Костеньку Хлытина сожгут и Жеводанова. Всё сожгут.

— Уйди. — Жеводанов вырвал руку. — Ты бес, а не христианин. Тебя в цирке нужно показывать вместо африканской обезьяны. Человеку помочь надо — убить его, а ты не можешь. Чему тебя Бог учил?

— Много ты о Нем знаешь! Молитву хоть одну выучил? Хоть один канон? Не велит Бог убивать. Только жертвовать.

Купин вновь заворочался. Со сладких штырей, похожих на шоколадные палочки, слетела мошкара. От гнуса человеческое тело превратилось в один большой синяк. Если бы не жировая подкладка, парня бы давно высосали насухо.

— А тебе что, заводчик, истина открылась? Вместе с капиталами снеслась?

— Хватит! — крикнул Костя.

Крестьяне, побаивающиеся Гервасия и Жеводанова, оттащили подростка в сторону:

— Брось, малой. Не вишь, дурные ссорятся? Того и гляди зашибут.

Назревала драка. Офицер готов был вцепиться в потный вражеский загривок и порвать его. Гервасий мрачнел. Накапливал в больших кулаках силу. Раненый вновь застонал. Елисей Сильч насупился. Захрустели толстые пальцы. Ими можно было монеты гнуть. Зарычавший Жеводанов бросился вперед, однако не к Елисею Сильчу, а к Купину. Выхватил что-то, замахнулся, и тут же послышался хлюпающий свист. Это выходил из легких отечный воздух. Офицер выдернул из дрогнувшего тела штык и кольнул второй раз — теперь прямо в сердце. Купин дернулся и умер.

— Вечно вы, праведники, ручки марать не хотите. Думаете, у божьих ворот лапки вместо души показать? А вот выкуси! Первее издохну, пусть в ад определяют, но уж рапортом выпрошу, чтобы на минутку наверх пустили. Я там всех предупрежу, чтобы на руки внимания не обращали, а в сердце смотрели! И всю вашу правоверную делегацию, перед смертью в бане намылившуюся, прямиком в ад определяют! К чертям и собакам социалистам! Тогда-то и будем, братец, в одном котле душу отстирывать!

— Ну, енто... погорячились. Признаю, — согласился Елисей Сильч. — Грешен, за что и несу крест. Ломает он меня, аж кости трещат. Прости меня, Господи. Простите и вы, братцы. Похороним паренька по-человечески? Сам могилу вырою, как Марк Пещерник.

Тело снесли к ближайшему оврагу. Сизый живот немножко свисал набок. По дороге из Купина сыпались рыжие насекомые.

Елисей Сильч неодобрительно проворчал:

— Только муравьев зря распугали.

И принялся копать могилу.

(Продолжение следует.)

Юлия ПИВОВАРОВА
ДЕНЬ РЫБОЛОВА

* * *

Этот портвейн непременно отравлен,
Этот портфель из коззема пустой.
И в унисон говорят тебе: «Стой!» —
Трудные, пьяные дети окраин.

Праздничный день,
День рыболова,
Удочек нет,
Нет и любви.

Только тревоги сплошной безлимит
И сумасшествие драк у столовой.

Это — родной уголок отморозка,
Мрачный, изысканный сон,
Каждую ночь повторяется он,
Как на тельняшке полоска, полоска...

Спросят тебя: «Как прошла твоя юность?»
Скажешь: «Никак», — отвернуться стараясь.
Сразу окажется — юность вернулась,
Но притворилась, что старость.

Муха

Лишенная зренья и слуха,
Сознания, ума и лица,
Летает беспечная муха,
Не чувствуя близость конца.

Дурацкой тоскою не маясь,
Не думая о красоте,
Она вызывает лишь зависть
К бесстрашной такой простоте.

Пример примитивного риска,
На крылышках мерзких своих
Она подлетает так близко,
Что кончится раньше, чем стих.

Друзья

Куда летит метели пепел,
О чем ее негромкий лепет? —
Не знают ни Андрей, ни Павел
И улыбаются нелепо.
Они в метель решили выпить
И закурить среди метели,
По полстакана внутрь вылить
И «Беломор» они хотели.
Куриль метель мешала очень,
До крайней степени мешала,
Она гасила огонечки,
А выпить вроде разрешала.
Потом она им долго пела,
И наконец они узнали,
Куда летит метели пепел,
В каком она танцует зале.
Когда метель слегка утихла,
Они тихонько задымили,
Два грустных и нетрезвых типа.
Метель исчезла за домами,
Ушла в сугробах свежих плавать,
Скользить лучом по льдистой кромке.
Потом пошли Андрей и Павел
В свои бетонные коробки.



* * *

Как тяжело поставить точку,
 А запятую — тяжелей.
 Желтеет осени жилет,
 И через речку путь короче.
 А ты не бойся, не жалеё
 И не проси кого попало
 Дать докурить бычок «Опала»,
 Ведь он из юности твоей.

* * *

*Пообещал Гидрометцентр
 нам от ноля до плюс пяти,
 совсем простывший пациент
 глинтвейн торопится допить.*

Под затемненный свод стеклянный
 Луна неспешно вознеслась.
 В ее лучах мерцает слякоть,
 Сияет призрачная грязь.
 Из-под колес автомобильных
 Летят янтарно искры брызг.
 Мы по тебе давно любили
 Гулять, ночной Новосибирск.
 И там, где мы курили «Космос»
 Под звуки желтых субмарин,
 Сегодня дети комсомольцев
 Встречают спайсом Хеллоуин.
 Взрывают яркие петарды
 Над новой свадьбою в кредит...
 Не может знать сермяжной правды
 Неисправимый эрудит:
 Ему не спится, он словарь
 Мифологический листает,
 Ему не спится. Он — сова
 В магнитном поле иллюстраций.

* * *

Юноша из Владивостока
 Все повторяет цейтнот,
 Цвета томатного сока
 Девушке дарит цветок.

Девушка из Геленджика
 Не принимает цветка,
 Любит бандита-джигита,
 Песню про мрачный централ,

Любит на лавке вечерней
 Сказочной травкой дымить.
 Юноша думает, чем ей
 Он так не дорог, не мил?

Может быть, имя Виталий
 Девушке чем-то не так?
 Альйй цветок увядает,
 И умирает мечта.

* * *

Меня не сорок человек.
 Зачем мне семьдесят тарелок?
 Пусть чисто белых, точно снег,
 Меня не семьдесят, как белок,
 Меня не десять, и не три,
 И не пятнадцать, и не тридцать.
 Меня так мало, посмотри.
 И я сама себе царица.

* * *

Кому-то нужен утонченный вкус,
 А многим только улицы лицей,
 Советский привокзальный перекус:
 Сметана и вареное яйцо.
 Бесплатные поездки по стране,
 От разных контролеров беготня,
 Кому-то, а похоже, что и мне,
 Не предстоит нигде разбогатеть.
 Зато таких попробуй обгони,
 Ведь налегке бежать быстрее стократ,
 И в детстве, где бенгальские огни,
 Запрятан невообразимый клад.

* * *

Я ненавижу насекомых
 Намного больше, чем врагов,
 Чем самых мелочных знакомых
 И опрометчивость шагов.
 Люблю у бабочек я крылья,
 Но их тела не выношу.
 Хочу, чтобы меня закрыли
 От всех moskitov в паранджу.
 Я презираю тараканов,
 Двухвосток, гусениц, мокриц —
 Они глядят со всех экранов
 Отсутствием нормальных лиц.
 Всех перечислить невозможно,
 Всей этой дряни нет числа.
 Увы, не замечать их сложно,
 А полюбить никак нельзя.
 В рядах их армии бесчисленной
 Царит порядок, а не бунт.
 И только пчелки, только пчелки,
 Одни лишь пчелки мед дают.

Фонтан

Алкаш купается в фонтане,
 Его пытаются достать,
 Чтобы доставить куда надо,
 Но это вовсе не фатально.

Всего лишь мелкая досада
 И городская клоунада,
 Любимая у наших граждан,
 Такая форма развлечений,
 Почти магический обряд.
 И каждый чувствует однажды
 Фонтана этого свечение...
 Слов нецензурных звукоряд
 Звучит подобием органа
 Вокруг попавшего в фонтан.
 Идет полиция, как свита,
 Сопровождая хулигана,
 И веселится хулиган.

* * *

Мне до дежурного свиданья
Осталось времени чуть-чуть.
Тюльпаны в банке увядают,
И пропадает свежесть чувств.
И хочется послать все к черту
И превратить реальность в блеф,
И сердце делается черствым,
Как этот черный старый хлеб.

* * *

Когда так хочется уснуть
Почти на каждой остановке
И все равно стремиться в путь
Уже к нормальной обстановке,

Тогда приходит новый день,
В одеждах чистых и прохладных,
И ты, в фуражке набекрень,
Опять целуешь девок ладных,

Пропахших славным «Ив Роше»,
А не духами разливными,
И снова очень хорошо
Ползут машины поливные.

Откуда-то идет прилив
Таких необходимых денег,
Любовь приходит точно взрыв,
И я не знаю, что с ней делать.



Юлия ГОРБАЧЕВА

МИМОЛЕТНОСТИ

Миниатюры

Счастье — это вовсе не монолитная глыба перманентного удовольствия, расплющивающая человека до состояния тупого смайлика. Счастье похоже на пазл, кусочки которого спрятаны в кармашках времени. И сложный запах сохнувшей на балконе мяты, и наивные звуки мультяшной музыки в соседней комнате, и сверхзвуковой росчерк стрижа в остывающем небе, и вечерний тетрис огней многоэтажки напротив... И так каждую минуту, каждый час, каждый день — до последнего вдоха.

Письмо

Когда-нибудь я напишу своим девочкам письмо. О любви. О том невысказываемом чувстве, которое поднимается во мне так часто, но особенно когда я смотрю на них спящих. На безмятежные тени ресниц, на кулачки, легко отпускающие тайны мироздания, на умиротворенные линии доверчивых ротиков. И та стремительная и неумолимая сила, что каждый день делает их старше, словно замирает вместе со мной у детских кроваток. Бесшумно проплывают над нашими головами невесомые корабли снов, а я все ловлю их тихие выдохи, загнипнотизированная этими волнами.

И тогда в разноголосой тишине спящего дома я чувствую, как любовь моя, расправляясь, перерастает границы тела и души, раздвигает рамки пространства и времени, становясь воздухом и светом. И больно, и щиплет в носу, и бесполезно подбирать слова, но так хочется, чтобы они знали...

Когда-нибудь я напишу своим девочкам письмо. О любви. И это, пожалуй, будет письмо самой себе.

Ладонь

Младшая дочка болеет. Бреду в аптеку. А надо мной, над лохматыми сугробами, над безмолвными громадами домов разворачивается холст мартовского неба. Прозрачно-серые перья облаков с пылающими алыми краями мерцают, словно чешуя гигантской небесной рыбыны. И глубина фиоле-

тогового на востоке, и тихий брод лилового на западе рассеивают свои мягкие чары над холодной землей. Поддавшись им, прохожие замедляют шаг, а возбужденные стайки подростков гомонят и вспыхивают быстрым смехом.

Я вспоминаю, сколько же их уже было, этих сиреневых весен с их неослабевающей древней магией. Но никогда не было в темнеющих с востока на запад небесах такого сильного смысла, как сегодня. Сегодня, когда замученная хворью моя ясная малышка не могла уснуть, пока не положила под бледную щечку мою ладонь. И, словно убаюкав в ней всю свою усталость, заснула так спокойно и тихо, так надежно. Эта материнская целительная сила слабой ладони наполнила значением каждый блик мартовских сумерек. Все сложилось. Сложилось во что-то огромное и сияющее. Во что-то, что невозможно разглядеть — можно лишь вдыхать и трепетать.

Солнце

С детства самой главной тайной этого огромного мира для меня была магия солнечного света. И знойный летний запах заброшенных рельсов, и шорох теплых шерстяных кроликов в темной клетке, и анорексичные синие стрекозки над стеклом озера, и истаивающий в черемуховой кроне невесомый вечер тоже волновали меня до невыплакиваемых слез восторга, но только солнце оживляло все это.

Окна моей комнаты смотрели строго на запад, и в ясные дни чуть за полдень солнечный свет начинал затапливать ее снизу вверх. Сидя на дне этого восхитительного сияющего океана, я не могла найти иного выхода, кроме пения. И я пела. Всегда одно и то же. Невесть где услышанный юроповский Final Countdown. И даже закрывая глаза ощущала дыхание солнца.

С тех пор шум реки времени заглушил немало голосов и имен. А сегодня утром в мой мягкий поздний сон ворвалась подпрыгивающая от возбуждения старшая дочка:

— Мам! Мам! Мам! Я тебе что-то хочу показать! Мам! Мам! Мам! Пойдем! Скорей!

Вслед за своим растрепанным олененком я выползаю на кухню. Дочка уже замерла там. Обхватив горячими ладошками мою голову, она щекотно шепчет мне в ухо восторженное:

— Мам!.. Солнце!

За окном после бесцветной зимней недели, сжатое бетонными ладонями многоэтажек, зацветает солнцем холодное небо. И колдовство его света вновь поднимает в душе что-то невыразимое. А рядом в подрагивающих утренних лучах танцует, закрыв глаза, моя девочка...

Калейдоскоп

Моей старшей, кажется, тогда едва исполнилось два. Сопя крохотным носиком, она тащила по грязному полу неразворотливое, пухлое одеяло, решительно вцепившись в него такими еще малышачьими пальчиками-



ми. С минуту я невероятным усилием придерживалась роли альфа-мамы, а потом, конечно, не выдержала, возмутилась:

— Дочь! Ну зачем ты тащишь это одеяло?!

Не отрываясь от своего наивного вредительства, дочка по-деловому бросила:

— Я самолет для миши сделаю.

— Это же одеяло! — удивилась я. — Как из него можно самолет сделать?

— Мама, я все могу сделать, — снисходительно объяснила дочь.

Собрав всю грязь в коридоре, она с одеялом наконец прорвалась в комнату к нетерпеливо растопырившему лапы плюшевому медведю. Упоенно бормоча, дочка навертела из одеяла несуразный ком и, кряхтя, подружилась на него вместе с мишей...

Мир моих девочек и сейчас похож на большой калейдоскоп не познанных до конца и оттого таких манящих вещей. Пахнущая безнадежной ненужностью штора становится заснеженной лесной поляной. Из пыли вдруг ослепительно вспыхивают сокровища блесков прошлогоднего фейерверка. Шум ремонта у соседей — совершенно определенно! — на самом деле производит огромный жук, строящий себе зимнее убежище.

И когда маленькая ладошка так доверчиво и требовательно вцепляется в мою руку, я внезапно вижу мир таким, какой он есть, — полным таинственной магии.

Вприпрыжку

Вот уж чего я никогда не умела, так это бегать. Как вдохновенному созерцателю, мне всегда казался нелепым стремительный, подпрыгивающий на кочках мир. Когда я стала мамой младшей дочки, пришлось со смиренным вздохом отказаться от своих барских привычек подолгу, до полного оцепенения глазеть на деревья, птиц и людей: секундное промедление — и вот уже приходится в панике выглядывать родную пушистую макушку во всех направлениях.

До фотографической четкости отпечаталась в сердце по сотне раз на дню повторяющаяся картинка: моя хохотливая малышка, подпрыгивая с зависанием, как воздушный шарик, несется смешной иноходью не разбирая дороги. Эта спинка, эти ручки, эти пяточки уверенным кубарем улетывают от меня со счастливым повизгиванием. Просто так. Без цели.

Но иногда она берет меня с собой. Мягкими пальчиками настойчиво сжимает мою ладонь и отпускает пружинку бега. Если тащиться за ней по-взрослому, ничего не выйдет. Нужно вплести свои шаги в синкопы ее радостных перебежек. И тогда... тогда можно нестись рядом, почти как лететь, только чуть ниже. Таким балдежным и разлохмаченным клубком. И захлестывает восторг, словно я сумела ввинтиться в ослепительные небеса. И переполняется душа. И мир весь становится моим.

Путешествие

Укладывание большого семейного чемодана — целая история. Быстрый шкодливый топот круглых пяточек, любопытственные происки мягких ладошек, хохотливый шепот — и вот уже аккуратные стопки самого необходимого разворованы в пух и прах, а дочки радостно тащат и расставляют у входной двери пакеты, в которых вперемешку свалены вещи, куклы без рук, огрызки яблок, фантики и разлученные, одинокие носочки.

Это символично. Наши поездки с первой же минуты превращаются в пеструю мешанину болтовни, хныканья, бесовского прыганья, мокрых поцелуев, обид, каких-то по-воробьиному растрепанных ссор и мамканья. А я еду по привычке за небом, за шумом больших листьев, за запахом нагретых солнцем лодок и еще за чем-то таким, что всегда ускользает, оставляя едва различимую нежную горечь. Но вся красота летнего мира мгновенно ускоряется под напором детской активности, и в веселом, безумном калейдоскопе наших дней мелькают кусочки вожделенных облаков и сверкание воды.

А потом они устают. Топать, смотреть, хватать. И ко всему прочему младшую приходится нести на руках. Шелковая щечка прижимается к моей шее, сонное дыхание щекотит ухо. И я чувствую странную вещь: то самое неуловимое, что так долго не давалось, задевая крылом, наконец поймано. Невесомая гармония лета здесь, со мной!

Прикосновения счастья

Когда свет фонаря перламутровой рябью ложится на стену, когда, засыпая, вздрагивает, вскрипывает многоголосый дом, когда задумчивый ночной ветер баюкает за окном пугливую березку — вся суэта прошедшего дня как-то разом придавливает меня. И, вспоминая мелочевку неотложных дел, я с тревогой ощущаю, как комкается под этим прессом моя вселенская нежность к моим девочкам.

А наутро солнце снова нетерпеливо выпрыгивает из-за шторы. Снова наперегонки с самой собой я мечусь по привычным маршрутам. Но пройти мимо дочек, воркующих с куклами на диване, невозможно. Их деловитые ручки с цветными полосками пластилина под ноготками, их круглые доверчивые шейки, теплые головки и мягкие спинки — смотрю затаив дыхание. И не могу удержаться, чтобы не устроить визгливую куча-мала.

Младшая хохочет, как только она умеет, малышковым счастливым хохотом, а старшая с сияющими хитрыми глазами под прикрытием большой подушки безнаказанно щекотит нас и вдруг с озабоченным видом, почти отчаянно, вскрикивает:

- Мама, я пить хочу!
- Так беги попей, — удивляюсь я ее настроению.
- А вы без меня не будете? — умоляюще спрашивает она.
- Что — не будем?
- Любить!





Холодное небо

Осень устраивает генеральную уборку на небе. С самого утра она хлопотливо раскладывает грязные клочья запылившихся туч, продувая их беспощадными ледяными ветрами. Облака, проветрившиеся до легкой сиреневатости с тонкими кружевами белого, осень скучивает к небесному краю. По вечерам наполовину чистые небеса запоздало озаряются зашпанным, нечесаным солнцем, которое нехотя, одним глазом оглядывает неуютную землю и с облегчением проваливается за горизонт.

По давней осенней привычке я немного и смутно тоскую в такие дни. Собираясь за дочками в садик, надеваю серый большой шарф, словно его пушистое нутро может спасти от тревожной холодной бирюзы темнеющего неба. С продрогшей улицы вваливаюсь в парной мир детского сада, со всего размаха врезаюсь в переплетение серпантинных ленточек смеха, нытья, возгласов. Вариться заживо в недрах шарфа приходится долго — сначала в старшей, потом в младшей группе, где мои сверкающие радостью дочки перебивают одевание возбужденными рассказами, капризами и прощаниями с подружками.

И вот наконец мы выкатываемся из тяжелых дверей садика под сюрреалистический холст небес. За обе мои руки держатся маленькие непослушные ладошки в грязных перчатках; большой помпон на шапке младшей хулигански подпрыгивает рядом; старшая то и дело наклоняется за «сокровищами». И все мгновенно меняется: звенящая тревога холодного неба оборачивается благодатной ясностью. Такие маленькие мы с такой огромной нежностью в сердце прокладываем путь к дому...

Дар

Долгие, сияющие летние дни своего детства я проводила у бабушки с бабушкой. Солнечные воспоминания об этом времени рассказами бабушки отполированы и собраны в обережные четки. И до вдоха, до интонации я знаю истории о том, как мы с дедом ходили в кафе-мороженое, как укладывались спать после обеда...

Но я почему-то помню лишь дорогу в сад, плывущую в свете вечернего солнца. По истертым, выносившим утрамбованным камешкам, под тихо шепчущимися сводами боярышниковой аллеи, мимо горчично-желтых шариков пижмы и пыльных исполинских лопухов шагали мы до того таинственного места, где за высоким забором смешивались восхитительные запахи лесопилки и пекущегося хлеба. Там я всегда на миг закрывала глаза и набирала полный нос этих запахов, а потом старалась реже дышать, чтобы не растерять их до самого сада.

В саду, который сочные пышные яблони разделяли на уютные уголки, дед, соскучившись за полдня по земле, сразу уходил с инструментом к какой-нибудь грядке, а я оставалась наедине с летним вечером. В бочке с водой, подсвеченные солнцем, вели свою жизнь микроскопические существа, непокорные травы победно топорщились рядом с кустами малины,



теплые яблоневые листья грели свои бархатные спины в вечернем мареве. И везде: в воздухе, в жужжании толстых шмелей, в прозрачном еще небе — была разлита дедова ко мне любовь. Ведь не так уж важно, ходишь ли ты с человеком в кафе-мороженое, копаешь где-то неподалеку грядки или просто живешь и дышишь рядом с ним. Если хоть раз ты взглянешь на человека как на безусловное и абсолютное чудо, то подаришь ему силу на весь его век.

Февральский снег

Снежинки в феврале совсем не похожи на январские и уж тем более на декабрьские. Тихие и ласковые, покорно опускаются они в городскую грязь, еле слышно бормоча, что совсем скоро солнце оглушит разом раскисшие улицы. Иногда их неожиданно теплые иголки задевают щеку, обжигая предчувствием грядущего тепла. И так под их обреченное падение катится от утра и до вечера молочно-серый день, пока небо не подсвечивается тем цветом, который в старых романах поэтично именуют «пепел розы».

Странно притихшие мои девочки задумчиво рассматривают из машины этот февральский снегопад, прикладывая пальчики к стеклу там, где осели на него крошечные звездочки, и те с готовностью моментально превращаются в лучистые капли. А в темных, как гречишный мед, глазах старшей тем временем оживает весна. Весна, которая столько раз повторялась и которая только грядет, обещая вечное и ликующее торжество. Весна, которую, как фамильную драгоценность, однажды я передам ей по наследству.

Вместе

И вновь в зимних, хрустящих от мороза конвертах февральских дней я получаю ослепительно-солнечные послания весны. Они разворачиваются во всю ширь объятого светом неба, оглушают многоточиями воробьиного гомона, разбухают пробуждающимися от забытья такими явно черными деревьями. И личным постскриптумом — музыка на катке. Вечный хит Р. Е. М. Отрешающий, запускающий ввысь грозди гитарных вопросов.

Вся эта синева, разверзающаяся ливнями света и звука, снова заманивает в ловушку знакомого беспокойного предчувствия. Предчувствия стихии весны. Такого увлекающего, что меня — блудную дочь этой знакомой тоски — словно и удерживает сейчас на зимней земле только легкий и теплый якорек. Младшая дочка.

Зацепившись за меня голой на морозце ручонкой, она сыплет возбужденными скороговорками:

— Мам! Давай купим те булочки... с маленькими чейными кешечками... Давай? Папа такие любит. Он всегда ест булочки с чейными кешечками... а Вика — с малиной... Мам, смотьи, какой снег! С ноздьями! Мам, а у тети есть такие булочки? Мам, дай дьюгую уцьку. Мам!

Мой маленький, теплый якорек, мой компас, указывающий всегда одно и то же: мы — вместе. Два порой скрежещущих бортами взрослых человека и две девочки — никогда порознь, даже если в разных местах. Всегда кольцом — рук, мыслей, судеб, — вокруг которого бушует и небо, и весна, и ветры перемен. И я привычным жестом упрятываю птенца маленькой ручки в ладони, чтобы шагнуть твердо в смятение приближающихся оттепелей...

Пианиссимо любви

Грубое сито памяти с однообразным шорохом упускает песок будней, оставляя лишь драгоценные искры воспоминаний о чувствах, остановивших на миг вращение мира. Ту ослепительную нежность от первой улыбки старшей дочки, когда она, внимательно изучая черты моего лица, принимала их в свое сердце навсегда. То всеохватное умиротворение, когда младшая, пробужив ночь, к утру так незащитно засыпала, уткнувшись кнопкой носика в мое плечо...

Но чем глубже я погружаюсь в поток времени, тем темнее его воды, тем сложнее разглядеть в их безостановочном движении блеск ускользающих прикосновений счастья. И лишь на напряженном пианиссимо просвечивают интонации маминого голоса, поющего мне: «Там, за облаками, там, там-та-рам, там-та-рам...» Звуки этой песни истаивают в нарастающем шорохе повседневности.

И оттого, сидя в сонно дрейфующей в наплывах отсветов автомобильных фар детской, я глажу теплые спинки своих девочек и без конца заклинаю: запомните, запомните, запомните! Эту мирную полутьму комнаты, уютное тиканье будильника, полустертые ночные отзвуки. Ведь однажды все это превратится в бесценные сокровища, которые лягут надежным амулетом у самого сердца.



Евгений АРТЮХОВ

НОВЫЙ ИЕРУСАЛИМ

* * *

«Tutte le strade portano a Roma»*, —
с детства твердил я, шагая из дома.
Но почему-то дорога вела
то от села до другого села,
то от любимого мной городочка
до чуть другого такого.
И точка.

Рим — он мечта.
До него как до неба.
Даже ребенку представить нелепо,
дескать, возьми чуть левой иль правой
и за бараклом твоим — Колизей!

Как же!
Держите карманы пошире!
Это в ином, мне неведомом мире
в каждой дороге латинский уклон.
Наши петляют себе испокон.

Это при Аппии Клавдии Цеке
камнем мостили в языческом веке
за триста лет до рожденья Христа
римские руки гнилые места.

Наши в сравнении с ними убоги.
Мучают нас дураки и дороги.
Но чужеземной молвы не стыдясь,
умников держит родимая грязь.

Сколько ни шаркай в заморских прихожих,
а русский след ни на что не похожий.
Хоть в голове и сумбур, и разброд,
к дому ведет.
Пусть ногами вперед.

* Все дороги ведут в Рим (*итал.*).

У мощей Ильи Муромца

1.

В лавре Киево-Печерской
на нестрашной глубине
от действительности мерзкой
захотелось скрыться мне.

В ум людской теряя веру,
с тонкой свечкою в руке
в близлежащую пещеру
я спускался налегке.

По проходу-переходу
в хладном сумраке земли
к легендарному народу
ноги сами повели.

Я шагал, благоговей,
в юность давнюю свою,
где играл Борис Андреев
богатырского Илью;

где стонала и стенала
древнерусская земля,
но орду одолевала
злого Калина-царя.

2.

Что ж, дотошный соглядатай,
дней майданных судия,
отыскал ты указатель,
где покоится Илья,

и кипенье непривычно
в мутном сердце улеглось:
как-то больно прозаично
из темна глядела кость.

Да — в парче, расшитой златом,
да — за стеклами ларца,
но смутла и простовата,
как у деда и отца.

И в лампадном тусклом свете
стало ясного ясней,
что иных останки эти
ни массивней, ни длинней.

Не за тем, чтоб любоваться,
на святую ткань легли
эти скрюченные пальцы
цвета вспаханной земли,

а чтоб раз и без обмана
собственный проверил взгляд,
что не только великану
подчиняется булат;

что дурная небылица
приучает с юных лет
нас орясиной гордиться,
а не тем, в чьем сердце свет.

И пока живут химеры,
ложный царствует кумир,
этот мир, лишенный веры,
и не Божий.
И не мир.

* * *

Был городок так мал,
 что если заиграет
на танцплощадке духовой оркестр,
то на окраине
 тихонько подпевают
ему
не ты да я,
 а целый хор невест.

До полночи не спят
 ворчливые старухи,
гоняют старики по скулам желваки,
посверкивает моль
 над шалью вековухи,
костями домино грохочут мужики.



А юность сквозняком

несет из тесных комнат
туда, где странный вальс
нисколько не старел.

Могу напеть мотив,

но, хоть убей, не помню:
тебя ли ревновал
или себя жалел?

Гринев

Петруша вырос и, наверное,
забыл бы молодые шалости,
поступки барские, манерные,
и те немногие — из жалости.

Свой век бы прожил припеваючи
бок о бок с капитанской дочкою,
когда бы не тулупчик заячий,
востребованный вьюжной ночью;

когда б не щедрость пустяковая;
когда бы не зазноба-девушка;
когда бы не петля пеньковая;
когда бы не с овчинку небушко...

* * *

Обо всем не скажешь, и не надо:
должен быть в душе предел заветный.
И пустой горшок хранит прохладу,
след от молока едва заметный.

Что-то быть должно твоим и только:
ибо с пустомели взятки гладки,
а творца в подлунном мире столько,
сколько помещается в загадке.

* * *

Когда вокруг Кремля
толпился жадный сброд
и Родину трясли,
как вызревшую грушу,

не недра я жалел,
 не пашню, не завод,
 а бедную свою
 обобранную душу.

Да, плюнули в нее,
 да, подняли на смех.
 Но невдомек ворью,
 как жалки их угрозы:
 ведь снег идет для всех,
 и дождь идет для всех,
 и солнце светит всем,
 а ветер сушит слезы.

* * *

В барачном нищенском жилище
 нас утешал из года в год
 кирпич страниц на девятьсот
 «О вкусной и здоровой пище».

Бывало, зимним вечерком
 отцы сойдутся биться в карты,
 а мы — с присушим нам азартом —
 терзать многостраничный том.

Ах, сколько сытных в нем картин
 с икрою, рыбою и мясом,
 крүшоном, лимонадом, квасом,
 с горою груш и мандарин.

И мы листаем чуть дыша
 страницы сказочные эти,
 страны послевоенной дети —
 в чем только держится душа?

Он и сейчас передо мной —
 тут никакой закон не писан —
 мечтами детскими залистан,
 голодной вымочен слюной.

... Теперь пестрит от тех картин
 любая точка общепита.
 Да что-то нету аппетита.
 К тому же и не пью один.

Новый Иерусалим

Все-то мы представить можем.
Глаз прищуря, поглядим —
и встает пред нами Божий
Новый Иерусалим.

Не фантазия пустая,
не сиятельный каприз —
это, в душах прорастая,
наши чаянья сбылись;

наше вечное стремленье —
не хватая и губя,
а, являя вдохновенье,
мир подладить под себя.

И не то чтобы похожий,
не какой-нибудь второй —
светлый град
исконно Божий
проступает над горой:
выше всякого обмана,
отметающий тщету...

Вижу волны Иордана!
Гефсиманский сад в цвету!
Но при входе горстка нищих
не лежит часами ниц,
а к земной российской пище
приучает райских птиц.



Сергей ШКУРО

В ОЖИДАНИИ СНЕГА

Песенка садовника

Яблочное семечко —
Штука вроде лишняя:
Мусорок для веничка,
Мелочь никудышная.

Но раскинь-ка мыслями,
Почеши где темечко —
Так ли уж бессмысленна
Жизнь простого семечка?

Прикопай на взгорочке,
Потерпи маленечко —
Растопырит створочки
Крошечное семечко.

Словно небу веточка —
Изумрудной стрелкою
Выклюнется веточка,
Не гляди, что мелкая.

Веточка за веточкой —
Вытянется деревце.
Маленькая деточка
Станет взрослой девицей.

К маю разневестится,
Вся в цветах, как водится,
Не пройдет и месяца —
Яблочком разродится.

Яблочко духмяное,
Наливное, спелое,
А на вид — румяное,
Словно загорелое.

А на вкус — медовое,
А местами — пряное,
А внутри — как новое —
Семечко — то самое.

* * *

Макушка дерева, усыпанная снегом,
Почти сливается с молочно-кислым небом.
В природе пасмурно, безмолвно и тепло.
Айда на улицу, пока не развезло...

Зима, по первости просыпавшись как манна,
Столь неожиданна, насколько долгожданна.
Туманно призрачен и чист ее покров.
Едва спохватишься, а он уж был таков.

И снова сумерки повиснут как топор.
Собаку бедную не выгонишь на двор...

* * *

Наше северное небо —
Как вселенская печаль.
Будто в призрачную небыль,
В эту пасмурную даль,
В это мутное зеркало,
Будто в гибельную ртуть...
Глянешь поутру, бывало,
Перекрестишься и — в путь.

В ожидании снега

Зима опять напутала с осадками:
Дожди, туманы, сумерки суконные...
И яблони над вспученными грядками
Который месяц маются, бессонные.

Уже без слез нельзя взглянуть на градусник.
И лишь снегирь, мелькнувший на мгновение
В прозрачных кронах, словно в волнах парусник,
В два счета поднимает настроение.

Весна в городе

Лишь только первая капель
Подтопит мартовскую стужу,
Тотчас сквозь реберную щель
Душа запросится наружу.

Туда — на солнечный припек,
Где золотом сверкают лужи
И где людской живопоток
Лазурной свежестью разбужен.

Где на асфальте, у метро,
Внезапным всплеском акварели —
Тюльпанов полное ведро,
А сквозь распахнутые двери —

Из-под земли, как миражи,
Сплошь в солнечных янтарных бликах,
На свет являются бомжи
С улыбками на сонных лицах.



Сергей КУЛАКОВ

СОРОКОДНЕВ

Человек умер

Желтеет восковое тело
На простыне голубоватой.
По-детски, как-то неумело
Оно раскинулось в кровати,

И, человечесью речь не слыша,
Лежит, согнув в колене ногу,
И притаилось, и не дышит,
И коченеет понемногу.

И в суете предпохоронной,
Средь всхлипов, выдохов и стонов,
До самых слез слова затронут
Заупокойного канона.

А ты, душа, что обомлела
И, как воробушек, прижалась?
Теперь одна, совсем без тела —
Такого мертвого — осталась.

Так неуютно, так печально
Душе, так одиноко в мире,
Но — слышишь — дудочкой прощальной
Раздалось пение Псалтири.

И, позабыв про ужас тленья,
Душа притихшая взирает,
Как к ней под эти песнопенья
Неслышно ангелы слетают...

Сорокоднев

В память отца

Спускался с одной стороны косогор,
С другой стороны поднимался бугор,
А рядом — кресты и могилы.
Молюсь среди них что есть силы.

Здесь, в этой кладбищенской тихой земле,
Лежит твое тело во мраке и тле,
И день наступил сороковый,
И крепки у смерти оковы.

Я смерти дыхания тоже боюсь,
Но, страх пересилив, усердно молюсь,
Акафист о мертвом глаголю:
«Помянут будь, раб Анатолий...»

Читаю слова во спасенье души,
Бредущей по чащам загробной глуши:
«Что бури уже миновали,
И больше не будут печали.

Но только любовь остается сильна,
От мрака и злобы спасет нас она;
Страдания его не умножи,
Заступниче наш Христе Боже!»

Закончив читать, я стою и молчу,
В могилку воткнув восковую свечу.
Лишь ветер колышет печальный
Названья венков погребальных...



Валентин РАСПУТИН

ВОЗВРАЩЕНИЕ РОССИИ

Интервью 1990 года

В 1990 году я, счастливый, сподобился записать беседу с Валентином Распутиным, царство ему небесное; потом расшифровал диктофонную запись, довел до ума свои суждения, а распутинских не касался, и не потому, что Распутина боялся как огня и восторженно молился на писателя денно и ночью, а потому, что его ответы виделись мне мудрыми, ясными и яркими. Но сколь велико было мое изумление, когда я, передав Распутину рукопись, отпечатанную на машинке, получил ее назад почти переписанную, сплошь испещренную характерным распутинским почерком, мелким, убористым, похожим на бисер, нанизанный на тугую потаенную нитку. Правка продолжалась и в корректуре, лишь потом беседа увидела свет в Прибайкалье. И ныне, спустя четверть века, чудом откопав рукопись в своих архивных залежах, предлагаю ее читателям, и не в связи с упокоением всесветно славленного русского писателя, а потому, что мысли, изложенные в беседе, и сегодня злободневны.



Валентин Распутин.

Фото А. Заболоцкого. 1982 г.

Анатолий Байбородин

* * *

Анатолий Байбородин. Мне бы хотелось, чтобы из нашего разговора вышло не репортерское интервью и не диалог критика и писателя, а беседа представителей двух литературных поколений. Хотя границы их, конечно, размыты в общем литературном процессе, но тем не менее я представляю худо-бедно то писательское поколение, которое идет за вашим след в след. Говорить о заслугах двух литературных поколений пока не хочется — рановато, не в пользу моих сверстников будет сравнение; а хотелось бы сказать вначале вот о чем: ваше поколение писателей — и особо те, кого величали «деревенщиками», — по духу и слову было все-таки ближе к матушке-земле, к природе, к родовым корням и самому крестьянскому миру. Мои сверстники, те, кому сорок и под сорок, уже откачнулись от земли душой, растеряли родовые связи, во многом утратили и само народное миропонимание, закрутившись в мутных уловах современной городской жизни. Хотя, конечно, про всех этого не скажешь, всех под одну гребенку не причешешь, и тем не менее...

На мой взгляд, народные писатели-прозаики, скажем, астафьевского поколения и вашего — суть крестьянские писатели. И это как знамение, что в самую лихую пору для русской деревни, пережившей раскулачивание и раскрестьянивание, писателями стали сами крестьянские сыны. Если в прошлом веке литература была в основном дворянской, а на рубеже веков — разночинной, интеллигентской (она принесла много нравственной путаницы и порухи), то со второй половины нынешнего столетия круто окрестьянилась. «Деревенскую» прозу можно сравнить лишь с крестьянской поэзией начала нынешнего века (Есенин, Клюев, Клычков, Орешин, Ганин, Карпов, Ширяевец). Видимо, вещее слово деревенских прозаиков было не случайным; оно, русское слово, зазвучало там, где народу было тяжелее, скорбнее, но где все же светило еще духовное и национальное спасение России.

Писательское слово, бессознательно пытаюсь хоть как-то, хоть в малой мере восполнить недостающее слово православных пастырей, явилось среди самых униженных и оскорбленных, среди самых угнетенных, какими были русские крестьяне, — явилось, чтобы посылно утешить, ободрить, напомнить крестьянству о той духовной крепости и чистоте, какие жили в нем многие столетия.

Словом, ваше писательское поколение знало и любило крестьянский мир, а посему и хотелось бы начать наш разговор с земли, ибо для русского человека в недалекие времена не было ничего серьезнее вопроса о земле. Недавно прочитал основательную мысль Достоевского, сказанную им в «Дневнике писателя»: *«Русский человек с самого начала и никогда не мог и представить себя без земли... Уж когда свободы без земли не хотел принять, значит, земля у него прежде всего, в основании всего, земля — все, а уж из земли у него и все остальное, то есть и свобода, и жизнь, и честь, и семья, и детишки, и порядок, и церковь — одним словом, все, что есть драгоценного»*.

В начале нынешнего века революционная власть изуверски обманула русский народ с землей, потом огнем и мечом сгубила цвет крестьянства (я имею в виду кулаков), потом еще и раскрестьянивала несколько десятилетий, сознательно и бессознательно, но вот теперь, благодаря многолетней борьбе лучших сынов крестьянского мира, благодаря тому же Василию Белову, писателю и депутату, члену Верховного Совета СССР, вышел наконец-таки закон о земле. И вот в связи с этим законом я гадаю: будет ли это началом духовного и хозяйственного возрождения русского крестьянства, а значит, и национального возрождения России?

Валентин Распутин. Ты сказал здесь цитату из Достоевского, которую можно продолжить его же мыслью, и тоже о земле. Она звучит так: *«Это уж какой-то закон природы, не только в России, но и во всем свете... Если в стране владение землей серьезное, то и все в этой стране будет серьезно, во всех то есть отношениях, и в самом общем и в частностях»*.

Воистину это основа, альфа и омега любого общества, любого государства. На земле, на отношении к земле стоит все — и материальное благополучие, и духовное, и нравственное, и настроение народа. И когда, как у нас, человек десятилетиями отлучался от земли и даже наказывался за хозяйское отношение к земле, эта противоестественность, эта несправедливость не могли сказаться только на крестьянине — это перешло на все общество, на всю систему экономических и межчеловеческих отношений. Остался безземельным крестья-

нин — осталась без хозяина земля — осталось бездомным общество. А хуже этого ничего ни в каком государстве не бывает.

Но теперь вот закон о земле. Какие есть надежды в связи с принятием закона о земле? Думаю, наконец-то может явиться хозяйское отношение к земле, бережливое отношение к хлебобобовой ниве. Это не есть, разумеется, только отношение к пашне, но — ко всему миру, связанному с пашней и чувством хозяйина, — к природе, моральным законам, ценностям труда и человеческой жизни; то есть человек займет подобающее ему место в мироздании. Пашня — только ниточка, за которую потянется целый клубок взаимосвязанных оздоровительных понятий, но она та ниточка, которая способна распутать их и расположить в необходимом порядке.

Это, конечно, очень важно сейчас — принятие закона о земле, передача земли крестьянину. Будет ли это началом возрождения российского крестьянства, а значит, и началом возрождения России? Можно надеяться, что будет. Хотя за семь последних десятилетий чувство хозяйина в мужике сильно ослабло, перешло в иждивенчество. Да и крестьянин, в сущности, перестал быть крестьянином. Ведь посмотри, само название *крестьянин* шло от *христианина*. Насколько человек, работающий на земле, был в вере, настолько святым было его отношение к ниве хлебобобовой. А сейчас крестьянин и не называет себя крестьянином — вроде как стыдится старопрежнего звания. Таким же манером было опорочено и уничтожено и слово и понятие *мужик*. А кто такой мужик? Это осторожный, основательный, работающий, мудрый, непостижимо выносливый, нравственно крепкий и суровый, православно милосердный россиянин, на горбу которого, как на китовой спине, столетиями держалась и процветала матушка-Россия. И вот дожили до лихолетья, когда мужик стал пониматься как червь земляной, как скот рабочий. Везде, на тех же съездах, сельские работники называют себя аграрниками, а это совсем другое. Тут нечто чуждое, механически холодное — «аграрник». Если бы вместе с землей вернуть крестьянину еще и духовное начало, которое в нем жило веками, тогда бы, наверно, легче было вести речь о возрождении крестьянства.

Первородно крестьянское в сельском жителе сильно порастратилось, поэтому многие не хотят возвращаться к земле, брать наделы, отрубать, хозяйничать где-то на заимках, работать обособленно от деревни, от сельского мира, и работать от темна и до темна. Тут желающих мало. Сказывается, правда, еще и недоверие к тому, насколько это серьезно — передача земли. Не откажется ли власть от своих обещаний? Люди привыкли в последнее время не доверять власти. И, видимо, справедливо... Поэтому человек сегодня и к закону о земле относится настороженно.

Всё вместе эти сроки оттянет — то есть отдалится само возрождение крестьянства, и рассчитывать, что завтра-послезавтра случится решительный перелом в сельском хозяйстве, разумеется, нельзя. Хотя я уверен, что в конце концов это произойдет. И вот тогда весь круг крестьянского мира будет постепенно возвращаться: имеется в виду и быт, и традиции, которые крепили и духовно возвышали поселян, и само поклонное отношение к земле, к родителям своим, к могилам и заветам предков... Одна нить непременно потянет за собой другие. Когда человек встанет ногой на земле, он примется и душой на этой земле.

Что касается национального возрождения России, здесь многое будет зависеть от той роли, которую выберет для себя интеллигенция. Если бы эти силы — крестьянская как нутро России и интеллигентская как нервные ее окон-



чания — сошлись в совместных трудах по очищению и возвращению духовных и культурных ценностей нации, тогда бы возрождение России состоялось. Я потому особо выделяю роль интеллигенции, что она, производя или импортируя новые идеи, распространяя их как передовые, не всегда умеет примерить их на характер и историческую судьбу своего народа, на его национальную самобытность и своеобразие и вносит в народное сознание немало сумбура. Как это ни горько, но у России нет или почти нет (ту, что есть, научились всячески чернить) преданной ей интеллигенции. Научная и техническая ее часть соблазняется чужими образцами; творческая, как правило, служит мировой идее, не заботясь о той очевидной истине, что национальная идея и в мировую внесла бы больше свежести и пользы.

И наконец, в сельском мире является и проблема фермерства... Если наш крестьянин превратится в фермера — только как производителя сельскохозяйственной продукции, без духовного крестьянского наполнения, без сопутствующего его труду особого мира обрядности и поэзии, — в таком случае придется говорить о цели нашего возрождения как о хлебе едином.

А. Б. В связи с законом о земле, с фермерством важно, в чьи руки попадет земля — в руки земледельца или крупного землевладельца, который, чтобы вернуть капитал и проценты, иссушит дотла силы земли и мужика, работающего на земле, а потом бросит их. Вот на съезде, в печати до хрипоты спорили по поводу колхозов. Есть мнение, что их нужно разогнать и повсеместно вводить фермерство. Но есть и, на мой взгляд, более трезвое суждение, что лучшие из них нужно укреплять и, может быть, переводить на истинный кооперативный путь, когда колхозник имел бы не только оплату за свой труд, но и пай от чистого дохода колхоза и пай этот распределялся бы выборным советом и делился справедливо, по количеству и качеству труда. И тут бы можно поучиться у артелей, добывающих золото, где, при какой-то нравственной ущербности жизни и внутреннего мира приискателей, внешний принцип труда и распределения отработан четко.

В. Р. Самое главное, не нужно разгонять колхозы и совхозы. Как говорил в свое время Александр Солженицын, такой большой стране необходимо многообразие. И в этой большой стране, на землях, лежащих в разных климатических условиях и в разных зонах, конечно, многообразие нужно и экономическое, то есть сельское многообразие. Пусть живут и колхозы, и совхозы, и фермерство, и подряды пусть будут — все, что угодно, лишь бы это работало. Может колхозник или совхозник становиться и пайщиком. Только не надо в это бросаться как в панацею от всех бед. Есть хозяйства, подготовленные к этому, а есть совершенно не готовые. А просто так стать пайщиком, только для того, чтобы им быть, из этого мало что получится. Здесь нужно соразмерить и возможности, и потребности. И тогда уж рассчитывать.

Я недавно побывал в совхозе недалеко от города Усолья-Сибирского. Это большое откормочное хозяйство, которое прекрасно работает. Хороший поселок, почти город. Едва ли народ сейчас оттуда побежит за любимыми пряниками. Быт устроен, зарплата хорошая; рабочие знают, чем будут заниматься завтра и послезавтра, знают, что в сложных условиях, которые предвидятся, не останутся ни голодными, ни брошенными. Крепкое хозяйство, крепкое руководство — так неужели же в погоне за новыми формами от всего этого отказаться?

А. Б. Я думаю, крепкие колхозы еще и потому не распадутся, что они по некоторым признакам близки российской деревенской общине. А в русском характере общинность испокон веку была заложена. Хотя в отличие от колхоза в общине гибко и праведно сочеталось единоличное владение землей с мирским управлением этой землей. Вот к чему должны бы прийти колхозы. В общине земля вроде и принадлежит хозяину, но обращение с ней, мера ее контролировались сельским сходом.

Бытовал миф о том, что ударом по общине явились реформы российского государственного деятеля Петра Аркадьевича Столыпина, хотя, как мы теперь знаем, премьер-министр России выразился ясно: *«Закон не призван учить крестьян и навязывать им какие-либо теории, хотя бы эти теории и признавались законодателями совершенно основательными и правильными. Пусть каждый устраивается по-своему, и только тогда мы действительно поможем населению. <...> Нужно снять те оковы, которые наложены на крестьянство, и дать ему возможность самому избрать тот способ пользования землей, который наиболее его устраивает. <...> Пусть собственность эта будет общая там, где община еще не отжила, пусть она будет подворная там, где община уже не жизненна, но пусть она будет крепкая, пусть будет наследственная».*

У русской общины в столыпинскую пору явно просматривались и недостатки — она затрудняла обогащение и развитие отдельного, наиболее расторопного крестьянина, и достоинства — она, тяготея к уравниловке, напоминала монастырскую общину, где не забывалось участие, сострадание к слабому хозяину, к неудачливому, к пережившему житейское лихо. То есть община, проигрывая иногда в материальном смысле, выигрывала в человечности, в смысле православно-христианском.

В. Р. Община — это целый мир общения с землей, пользования землей, мир отношений между людьми. А что до колхозов, то они действительно близки к общине. Но возврат к ней, если он возможен, произойдет лишь на новых основаниях. Время ушло, первородная русская община, которой интересовался Маркс, канула в Лету.

В самом деле, это был особый мир: духовность, справедливое распределение земли, общие склады — мангазен — на случай неурожая или несчастий, свои законы, свой суд, свои авторитеты. Я вспоминаю послевоенную деревню в трудное и лихое время. Осиротевшая без мужиков, надорванная нуждой, забитая несправедливостью — подыхай с голоду, но гниющие в поле колоски не трогай, — она противопоставила этому лихолетью общинный дух, всем колхозом (община как «мир» стала тогда уже «колхозом») спасая каждую попавшую в беду душу от властей и ретивых до исполнения законов людей. Потребовалось — вспомнилось и отыскалось само собой, будто тут и было, потому что общинность, союзность, товарищество в характере нашего народа и при благоприятных условиях (а благоприятные условия для нас это — «не мешай») они приносили и, надо надеяться, принесут еще добрые плоды.

А. Б. По сей день, кстати, выжила от исконной русской общины *помочь*, когда миром в деревне косят сено или рубят избу. Но, продолжая разговор о русском крестьянстве, мне было бы интересно услышать ваше мнение о том,

является ли сейчас наша деревня незамутненным родником духовности, нравственности? Об этом ведь в свое время немало и с любовью было написано прозаиками вашего поколения — я имею в виду деревенских писателей. Я, еще недавно сельский житель из глухомани, знаю, что мои земляки набрались тех же пороков, что и горожане, и в деревне к тому же все нравственные язвы как-то болезненно выпячены, ибо там не скроешься в бетонных муравейниках, в многолюдстве, там все на виду. Говорят, если человеку сто раз сказать, что он свинья, то он начинает хрюкать, а русскому народу, еще недавно сплошь крестьянскому, это говорили несколько десятилетий после революции. Вот Михаил Пришвин в двадцатом году записал в своем дневнике: *«Был в Москве у Каменева, говорил ему о “свинстве”, а он в каких-то забытых мной выражениях вывел так, что они-то (властители) не хотят свинства и вовсе они не свиньи, а материал свинский (русский народ), что с этим народом ничего иного не поделаешь»*. И это сказано о народе, на духовность которого с надеждой на спасение смотрел весь мир.

В. Р. Можно говорить с большой натяжкой, что деревня остается источником духовности и нравственности. Хотя была крепостью нравов. Однако если в городе смывается, сливается черное, белое, порядочное, непорядочное, добро и зло, то в деревне все это имеет грани. Но нравы сильно пострадали — и в первую очередь из-за пьянства.

Однако сам характер земледельческого труда предполагает нравственность — когда человек работает на земле, когда хозяин. Сама природа нравственна, сама земля нравственна, и человек, который с ними связан, должен быть добрее и честнее, чем тот, который от земли оторван. Былинный источник силы от матери родной земли — это ведь не просто красивый образ, а истина. Содержание этой истины и расшифровывается как раз теми словами Достоевского, с которых мы начали нашу беседу.

Вообще, говоря о возрождении, нетрудно, я думаю, понять, что оно начинается с «малости» — с осознания себя россиянами. Но посмотрите, сколько из-за этой «малости» идет споров и с каким трудом она нам дается!

А. Б. И вот тут трудно удержаться, чтобы опять же не привести вещице слова Достоевского по этому самому поводу: *«Если общечеловечность есть идея национальная русская, то прежде всего надо каждому стать русским, то есть самим собой, и тогда с первого шагу все изменится. Стать русским — значит перестать презирать народ свой. И как только европеец увидит, что мы начали уважать народ наш и национальность нашу, так тотчас же начнет и он нас самих уважать»*.

В деревне долго и крепко оберегался чисто русский характер со всеми его благами и огрехами. Чаще всего про деревенского мужика или бабу и говорили: вот и на обличку, и на повадки чисто русские люди. Но теперь, похоже, и в деревне стал вырождаться этот своеобразный русский характер с присущей ему совестливостью, сердечной отзывчивостью, осторожностью, неторопливостью и основательностью, с редчайшей выносливостью и непрехотливостью.

В. Р. Тут надо говорить не только о русских. Сейчас деревня стала многонациональной и чисто русские села — редкость. Даже там, где были у нас в



Сибири семейские общины, и они разбавлены. Но человек национально лучше помнит себя, конечно, в деревне — там даже в смешанных браках муж и жена могут грубовато подшучивать друг над другом, но чтить друг в друге и уважать национальные черты. Там долго хранились национальные традиции, обычаи, да и по сей день они живы.

Национальности не могут исчезнуть, как бы ни пытались некоторые «интернационалисты» создать человека мирового лица: сам этнос, если бы даже каждая клетка его задалась целью предать себя забвению, находит внутреннюю силу, которая умеет постоять за себя.

А. Б. Имеется и такая скорбная точка зрения, что национальное своеобразие, выраженное в трудовых и праздничных обрядах, в поговоре, костюме, исчезает под нажимом технического прогресса. Вот почти замер на Руси чисто крестьянский образ жизни, отходят в прошлое, порастают быльем наши поэтические обряды, связанные с пашней, с природой в целом. И я с этой точкой зрения — что техническая цивилизация угнетает и умертвляет народную культуру, а вместе с ней и народную нравственность — я с ней был согласен. Но вот, к примеру, Япония — сверхцивилизованная в техническом отношении страна, а ведь сохранила свое национальное своеобразие, свою обрядовую культуру. Хотя бы в какой-то мере, видимо, в чисто внешних проявлениях.

В. Р. Ты говоришь о Японии, где, казалось бы, научно-технический прогресс, которому все молятся, должен был подорвать национальное естество. Нет, этого не происходит, потому что превыше всего там стоит национальный дух.

Национальное самообережение у одних народов имеет спокойный, эволюционный характер, как в той же Японии; в других случаях, как у нас, как в Европе, национальное самоохранение носит взрывчатый, революционный характер. Но, так или иначе, та сила, благодаря которой национальность была вызвана к жизни, требует от человека исполнения своей воли. Интернациональное должно быть подчинено национальному; уважение народов друг к другу имеет своей предтечей самоуважение, то есть накопление и развитие в себе качеств, достойных уважения со стороны других.

А. Б. Япония, насколько я представляю, ставит ощутимые заслоны — вот, к примеру, даже от китайцев, чтобы не раствориться в их родственной древней культуре.

В. Р. Едва ли у нас это возможно — я имею в виду национальные заслоны, — потому что наша страна многоязычна. Япония все-таки однонациональна, хотя китайцев и корейцев там немало. Да, они заботятся о своих рядах: не так-то просто очутиться и осесть в Японии человеку другого мира. В японский мир трудно вжиться — из-за того же языка, из-за традиций, идущих из глубокой древности, которые невозможно усвоить, из-за чего-то невыразимого, присущего только этому народу, что никогда не пристанет к постороннему.

Когда мы говорим «русские», то зачастую имеем в виду духовную, а не родовую сущность. Впору говорить «российские», поскольку с живущими в России народами мы настолько сжились, что неотделимы друг от друга. В пределах



России принимать какие-то национально-оградительные меры бессмысленно и неправомерно, ибо вся Россия — община народов. Национальность у нас, повторяю, становится духовным, а не расовым понятием. Однако ни один народ, разумеется, не хотел бы, чтобы Россия обратилась в Вавилон; никто не согласится потерять свой язык, свою культуру, свое национальное лицо, и речь должна идти об их правовой защите со стороны государства, равно как о механизме духовной самозащиты. Второе мне представляется более важным и действенным.

* * *

А. Б. Русские патриоты, кроме, видимо, безбожных коммунистов, считают, что возрождение русского народа невозможно без приобщения его к православию, поскольку лишь в Церкви, при всех ее внутренних сложностях, хранилась в посильной чистоте и крепости национальная духовность, как, собственно, и сама народная культура. Русская интеллигенция, еще недавно за версту обегавшая православные храмы, теперь проявляет живой интерес к христианству и в какой-то мере посильно даже приобщается к Церкви. А в будущем, можно предположить, к православию придут и рабочие с крестьянами, ибо не будет счастливой жизни без любви к Богу и ближнему.

В. Р. Возвращение к православию, вообще к религии — это, пожалуй, самая большая неожиданность последнего времени. И началось обращение к православию еще до перестройки, а когда появились для того возможности — приобрело массовый характер. Пожалуй, и Церковь сама поначалу растерялась от нарастающего притока желающих вернуться в ее лоно.

В Церкви меньше сельских жителей, это верно, но ведь и храмов в селах почти не осталось. Хотя в крестьянстве черты православного человека больше сохранились. Для интеллигенции — это как бы возвращение блудного сына, крестьянский же мир в силу своего мироощущения не мог окончательно расстаться с христианским сознанием, в полной мере и не был отлучен от религии. До храма далеко, школа, скажем в Сибири, в деревенском углу редкость, но на строение и религиозный календарь всегда оставались при нем, при крестьянине.

При внешнем взгляде: деревенский человек более консервативен, в нем труднее было вытравить Христа, но теперь труднее будет Его и вернуть обратно в крестьянскую душу. Хотя, опять же, самое старшее поколение наших сельчан в действительности с Ним и не разлучалось, изменился лишь язык и способ общения.

Это, разумеется, мнение «не за всю деревню» — деревня сейчас разная, да еще и при наших российских просторах, да еще и при социальных переломках, которые не могли пройти бесследно для крестьянина, — и все же в общем, я думаю, это справедливое мнение.

А. Б. Как и вам, мне повезло: я прожил детство и юность в деревне, в глухоманном, за сотни верст от города, лесостепном забайкальском краю, еще не загубленном технократами; потом я несколько лет самоучком изучал народно-языческую литературу. И мне, наблюдавшему, посильно изучавшему крестьянский быт, очевидно, что в деревне православие имело много природно-языческих начал и, возможно, таковым оно и будет в крестьянстве. Смирится ли с этим Русская православная церковь?

В. Р. Она с этим смирилась давно, столетия назад, даже не смирилась, а сознательно соединила в себе элементы языческого народного мировоззрения и собственного, христианского, не поступившись, разумеется, своими постулатами. Соединила — чтобы не уродовать народную душу, замешанную на поклонении природе, и в то же время своим учением эту душу облагородить и возвысить. Православие даже некоторые свои праздники подстроило под старые языческие. Ну какой же русский человек без поверий в силы природы! Мы с тобой деревенского происхождения люди и знаем, что без темных, казалось бы, поверий в леших, домовых, банников, русалок наше детство было бы неизмеримо беднее. Ведь это же особый — богатый и поэтический — мир, без которого мы, быть может, и не стали бы писателями. Так что язычество и православие противопоставлять нельзя, они срослись в едином древе, где старинные корни питают вытянутый к небу ствол с зеленой листвой. Русское крестьянство язычески крепко стояло на земле, но сердцем и главой обреталось в христианском небе. Вообще, новая идеология только тогда приживается, когда она не уничтожает старую.

А. Б. Дело в том еще, что если в городе православные храмы (отдельные хотя бы) еще так-сяк выжили, то в деревне с ними власть имущие расправились круче — целые поколения сельчан прожили без храмов. Сейчас идет восстановление церквей в городах, но деревня пока еще не может толком раскачаться — вернее, трудно ей, ограбленной духовно и материально, подняться на такое дело. Да и государство, культурная общественность пока еще мало внимания обращают на проблему сельских храмов, да и сама Церковь, мне кажется, еще не знает, с какого бока к ним подступиться.

В. Р. Да, сейчас и новые храмы строятся в городах, и старые оживают, вот и деревня принимается постепенно восстанавливать то, что сохранилось. Деревня от села чем отличалась? Деревня, где есть храм, — это уже село. Так и сейчас церковь будет приметой современного, знающего себе цену села.

* * *

А. Б. Происхождение, пристрастия невольно увели наш разговор в деревню. Но теперь мне бы хотелось коснуться в беседе некоторых политических вопросов, имеющих прямое отношение к России. В свое время вы сказали в одном из выступлений, что, дескать, чего это Прибалтика пугает нас отделением? Что, может, лучше уж России отделиться?.. А Горбачев в беседе с москвичами чуть позже сослался на ваши слова, прибавив, что, мол, если бы Россия отделилась, то лет через пять — десять стала бы одной из самых могучих и богатых держав мира. Дескать, и такая есть точка зрения...

Но возможно ли в каком-то обозримом будущем отделение России от тех, кто выкормился подле нее, и от нее тех, кто теперь не желает жить с ней под одной крышей? И главное, может ли Россия вернуться к своему старинному, испытанному способу управления державой? В конце концов, Англия, имея выборное, демократическое правительство, не отказалась и от королевы и гордится тем.

В. Р. Об отделении... Я не знаю, стала бы Россия в самостоятельности могучей державой; при мудром и строгом хозяйствовании, вероятно, и стала бы. Но тут другой вопрос. Все-таки наше нынешнее государство строилось на ос-

нове России. В коренниках-то всегда была Русь, и держава крепилась ею. Отделение России, я думаю, было бы неверным и эгоистическим актом. Не для того собирали земли наши деды и прадеды, собирали в течение нескольких веков, чтобы мы сейчас шли на полный раскол ради собственного материального благополучия. Русский человек так устроен, что ему обязательно нужно кого-то опекать, о ком-то заботиться. Это одна из сторон той самой всемирной отзывчивости русского человека, о которой говорил Достоевский. Она ничего не имеет общего с имперским мышлением, которым ненавистники России постоянно тычут нам в нос, сознательно путая божий дар с яичницей. Традиционно русский не может быть узким, твердолобым националистом — просто по своему характеру не может. А в характере его — отдать с себя последнюю рубашку, даже и во вред себе. И потому малые народности в старой России чувствовали себя совсем неплохо. Лучше, чем в годы советской власти. Хотя и после Октября им грех жаловаться на старшего брата. Ущемление их национальных прав, вытеснение языков и обычаев происходило в государстве, от начала и до конца идеологизированном вселенской космополитической идеей, которая фактически не признавала никакого национального своеобразия и от которой русский народ пострадал не меньше, а больше других. И сваливать на него свои беды и обиды, как это нередко сейчас делается на окраинах, слишком близоруко. Эти обиды справедливы, но, по справедливости, надо искать адрес, куда их направлять.

Недавно принят Союзный договор. На основании его, я думаю, кто хочет остаться, тот в Союзе останется, но это будет федерация республик на других основаниях — свободных, равноправных и дружественных. А тех, кто не хочет жить в Союзе, их и не надо силком держать. Зачем? Но пусть они пройдут узаконенную систему выхода, какая определена. Нельзя же просто — фыркнули и дверью хлопнули. Даже в семье так не делается. Когда надумает отделиться кто-то из братьев, всей семьей строят ему дом, обговаривают, как умнее и праведней провести раздел, а затем уж делятся. А тут тем более, речь ведь идет о государстве. Хлопать дверью — это некрасиво и безнравственно. И незаконно.

Но сейчас еще важнее положение самой России. Вот здесь уж точно — Россия должна быть единой и неделимой. Не останется Союза, пострадает мир — если она превратится в княжеские владения. Крепить Россию сейчас — значит крепить Союз.

И тут мы, кстати, в своей национальной политике рубили сук, на котором сидели. Тянули все из России на окраины, а когда корень иссушили, естественно, стали хиреть и окраины — потому что нет живительного тока, все подорвано. Словом, выход — вернуть благосостояние, могущество и авторитет России и вокруг нее собраться всем народам, что сделают свой выбор в пользу Союза. Выбор в любую сторону должен быть народным мнением, а не митинговой декларацией горячих голов, спекулирующих именем народа.

Второй вопрос, видимо, надо так понимать: возможна ли в России конституционная монархия? В старой России это был способ правления, отвечающий характеру нашего народа. Почему и говорил Алексей Хомяков, неколебимый русский славянофил, что русский человек — это антигосударственный человек. Наше сегодняшнее сетование по поводу гражданской пассивности россиянина обоснованно, но она, эта пассивность, имеет свои истоки в системе подчинения и соподчинения человека в старой России. Он привык исполнять ту роль, какая



ему была отведена, не посягая на ее расширение, чувствуя себя за монархической твердыней как за каменной стеной. Для него совесть выше писанных законов, к которым он всегда относился с опаской, а внутреннее устройство человека и жизни важнее внешнего. Вот почему и чувствует он себя неуютно в демократическом половодье, где, чтобы выдвинуться, надо расталкивать локтями других. Мало, что ли, среди россиян деловых людей, способных подняться на государственную вершину? Есть они, пусть и не в изобилии, но вековая сдержанность, стыдливость и укorenившаяся самодостаточность не позволяют им, как правило, пользоваться нечистыми методами в борьбе за власть и обещать золотые горы. Там же, где это случается, — посмотрите, как глупо и карикатурно выглядит русский человек.

Можно ли в России возродить монархию? На это я отвечу словами И. А. Ильина, философа и публициста, много и верно размышлявшего о прошлой и будущей судьбе нашего Отечества. Будучи убежденным монархистом, он писал: *«Будущая форма государственного устройства России будет зависеть прежде всего и больше всего от того правосознания, которое обнаружится в русском народе после падения большевиков. Мы не можем ни предвидеть, ни предсказать его. Необходимого для введения монархии монархического правосознания в русском народе может не оказаться. Как же мы можем предсказать будущую форму именно в сторону монархии? Что же создаст в России монарх, если народ не пойдет за ним на жизнь и смерть?»*

От себя добавлю: нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Это была бы реставрация прошлого, что-то вроде музейного воссоздания минувшей эпохи.

А. Б. Я же представляю это не как реставрацию и музейное воссоздание минувшего, а как возвращение к естественному и наиболее плодотворному управлению народом. Государство — прообраз большой семьи, где все домочадцы строго подчиняются отцу, доверяя всю внутрисемейную и внешнюю политику только ему, при этом занимаясь тем, что требуется семье, к чему есть дар; своевольное чадо отец может сурово наказать в назидание тому, но отец же и полностью отвечает за своих домашних перед внешним миром, как отвечает и за то, чтобы они были сыты, одеты, обуты и защищены. При ином раскладе трудно в большой семье сохранить мир и благоденствие. Отцу можно посоветовать, и он может послушать совета, но решать окончательно должен только отец, а иначе, как говорят: у семи нянек дитя без глаза. Вот так и в государстве... Кроме того, тут нельзя забывать, что монарх российский был или старался быть человеком по-христиански духовным, праведным в самодержавном правлении.

В. Р. Всякая выборность слишком зависит от многих случайностей и нечистой политической игры. Монархия же передавалась по наследству. Наследника с пеленок готовили к той роли, какую ему предстояло исполнять: и нравственно, и культурно, и политически. Не говоря уж о том, что монарх не мог быть неверующим человеком. Он чувствовал свою ответственность перед народом не на определенный срок, а на всю жизнь. Его власть, в сущности, была неограниченной и могла привести к деспотии, но ведь и вождь планку тирании поднял на космическую высоту. Условием справедливой монархии было — царь для страны, а не страна для царя, и этому «условию» династичность отвечала больше. И не было такого, как у нас теперь, когда всякая новая власть начинает оплевывать прежнюю.

Не следует идеализировать наследственную монархию, но и забрасывать ее камнями тоже неразумно. Мы слишком грубо называем Николая I Палкиным, тогда как при нем подготавливались демократические реформы, которые потом его сыном были осуществлены. Мы знаем, что по Манифесту 1905 года Россия стала едва ли не самой демократической страной в мире, — мы знаем это и по-прежнему талдычим о Николае-вешателе. А реформы Александра II и Александра III — Россия ими готовилась к демократии русского образца. Она, эта отечественная демократия, естественно вращалась в русскую систему и естественно осуществлялась бы. Революция, делавшаяся ради демократии, сразу же ее и попраля.

А. Б. Я думаю, приспела пора объективно глянуть на русскую историю прошлого и нынешнего веков, и тогда, может быть, мы с любовью и почтением отнесемся к нашим государям, которые все же немало сделали для процветания народов России. А первым шагом могло бы стать возрождение порушенных памятников российским государям. Вот посмотришь в европейских государствах: как они уважительно относятся к своей истории, как лелеют какую-нибудь усыпальницу своего короля. А мы?! Словом, надо все же восстановить памятники российским государям. В Иркутске, к примеру, вместо серого убогого штыря, что стоит на набережной Ангары, поставить памятник, какой там был на законном постаменте, — памятник Александру III.

В. Р. Памятник Александру III ставился в связи со строительством Транссибирской магистрали, покровителем которой при жизни он и был и которой много послужил как государственный муж. В одинаковом исполнении памятники стояли в начале, конце и середине великой дороги на восток. Иркутск — середина этого пути, неподалеку от него, как известно, есть станция Половина.

Но прежде чем возрождать памятники российским государям, надо, полагаю, очистить для этого духовную территорию и отказаться от названий улиц, поселков, городов в честь людей, которые явно себя скомпрометировали и которые не только не дали никакого блага народу, но принесли ему немало горя. В Иркутске пора отказаться в чести Свердлову, Урицкому, Ярославскому, террористам вроде Софьи Перовской, Халтурина, деятелям Французской революции, у которых руки по локоть в крови. В каждом городе, в каждом селе всего этого в избытке, и хотели мы того или не хотели, но продолжаем поклоняться тем, кого на нормальном языке давно следует называть собственными именами. Посмотрите: вернули Твери подлинное старинное имя — и сразу как-то уютнее и надежнее стало на душе.

А. Б. И все же мне хотелось бы снова вернуться к разговору о наших российских государях, потому что не сказано главное или сказано мимоходом. Самое существенное различие между ними и нашими верховными советскими руководителями, на мой взгляд, в том, что белый православный царь все же считался помазанником Божиим, что означает, если перевести на мирской язык, что он был или старался быть и патриотом России, и совестью народной. Помазанник Божий — тут великий принцип, требующий от царя, чтобы *правил по-божески*, это предполагало и неусыпный надзор над правителем со стороны Русской православной церкви.



В. Р. Разумеется, император чувствовал свою особую роль. Эта была и человеческая, и надчеловеческая роль одновременно. Его готовили, и он готовил себя к этой роли — отца народа. То, что делал, считалось справедливым. Это не значит, что он считал себя не от мира сего — напротив, он обязан был поддерживать в себе этот авторитет уровнем нравственности. Достоинство всякого народа крепится достоинством его руководителя. Но это относится не только к монархии.

А. Б. Русская православная церковь за границей канонизировала коварно убиенную семью императора Николая II...

В. Р. В том, что она будет канонизирована и у нас в России, я не сомневаюсь. Я уверен, что со временем — и об этом уже начинают поговаривать — дойдет дело и до канонизации Достоевского.

А. Б. Когда мы заговорили о наших самодержцах, мне вспомнился писатель Дмитрий Балашов, так талантливо, с проникновением в дух и слово эпохи, написавший о них, создавший романый цикл «Государи московские». Недавно я с трудом приобрел книгу Владимира Личутина «Душа неизъяснимая. Размышления о русском народе», где есть очерк о Дмитрии Балашове. Какая дивная, талантливая личность: писатель, историк-этнограф, фольклорист, крестьянин...

В. Р. Балашов — удивительный человек, удивительный литератор. После Всеволода Никаноровича Иванова он лучший наш исторический писатель. Те пять книг, которые Балашов написал о русской истории, — неоцененный по достоинству да и неоценимый вклад в национальное сознание и возвращение прошлого в духовный обиход настоящего. Но у нас так: чем крупнее, значительнее писатель, тем он незаметней. Хотя сейчас, когда у россиянина пробудился интерес к русской истории, думаю, что Дмитрия Балашова узнают, полюбят и избранные читатели. Русское зарубежье давно уже зачитывается Балашовым; книги его там нарахват.

Но Балашов не только писатель, а и ученый, у которого есть крупные работы по фольклору, они выходили отдельными книгами. А самое примечательное — размышляя в книгах о преданиях, поверьях и характере русского крестьянства, писатель и сам крестьянствовал: жил в деревне, держал коров, лошадей. Необычный человек с сильным северным характером, а это такой особенный характер... Когда смотришь на Дмитрия Балашова, на Личутина, Белова, когда вспоминаешь покойных Клюева, Шергина, Писахова, Абрамова, Яшина, Рубцова — видишь поражающе выразительный портрет. Что ни писатель — воистину народный; что ни личность — самобытная, уважающая себя, упорная до упрямства, талантливая, национально выраженная и в языке, и в жизни, вся какая-то прочная... Про таких говорят: колуном не сваляешь. Северный русский характер (а он и в Сибирь пришел) невольно подает надежду на то, что в любых штатаниях и метаниях, как бы ни ломали и ни гнули, выстоим и укрепимся.

А. Б. Удивительно в Балашове даже и то, что он всю жизнь ходит в русской рубаше с расписанным вышивкой косым воротом, подпоясанный ремешком, в шароварах, заправленных в яловые или хромовые сапоги. Ведь для того

чтобы носить крестьянский исконный наряд, немалая по нынешним временам смелость нужна; убеждения нужно иметь неколебимые, чтобы это не походило на балаган, на причуду.

В. Р. Это не причуда, а если и причуда, я к ней отношусь с уважением. Мы вместе были в Италии, в Венеции. Там ничем никого не удивишь, всяких повидали, но когда Дмитрий Балашов проходил в своей красной расписной рубахе — на него заглядывались. Да и само лицо — красивое, аскетичное, с горящими глазами, как из древности, невольно притягивало к себе внимание. Это походило бы на балаган, если бы он простомудинствовал от случая к случаю, а он же постоянно такой... Он в сапогах ходит в деревне и в Кремль приходит в сапогах. Такой же был Виталий Закруткин в своей неизменной фронтальной гимнастерке.

А. Б. Коль мы заговорили о писателе Балашове, то хотелось бы порасспросить вас о российских литературных делах. Многие наши писатели уже давно с головой окунулись в изматывающую борьбу за Россию, и литература вроде как отошла в тень...

В. Р. После литературной эпохи, которая продолжалась, если вести отсчет от Первого съезда писателей, более полувека, теперь, похоже, наступил литературный момент. Сколько он продлится, трудно сказать, но, поскольку момент, должен вскоре прийти к какому-то завершению. Политическая ситуация в стране очень сложная, от нее сегодня зависит, что ждет нас завтра, и не отозваться на эту ситуацию писатели не могут. Бывшие друзья рассорились, прежние единомышленники разошлись во взглядах, какая нам нужна Россия. Каждый считает, что прав он и его союзники. А Россия, как никогда ободранная и обогнанная, между тем ждет, что ей уготовано. Помните, у Твардовского:

—Так-то, Теркин...
 —Так, примерно:
 Не понять — где фронт, где тыл.
 В окруженье — в сорок первом —
 Хоть какой, но выход был.

Может ведь и так случиться, что, решив не изменять своему таланту и не отвлекаться от художественности, ни за понюх табаку мы отдадим Россию из огня да в полымя — тогда некому станет и книги читать. Поэтому, чтобы кто-то мог относительно спокойно работать, замечательный писатель Василий Белов вынужден оставить на время письменный стол и принимать закон о земле. И я не берусь утверждать, что без Белова этот закон был бы наверняка утвержден. У крестьянства, способного благодаря ему возродиться, достаточно противников и справа, и слева, и в середине. А без крестьянства, как мы уже говорили, России не остаться Россией. Вывеску над новым заведением могут на какое-то время оставить, а затем и вывеску снимут. И возглавит тогда она, матушка, список топонимических названий, изъятых из народного обращения.

Писатель не своей волей, я думаю, решает, что ему делать — тут какая-то другая сила властно повелевает. Как бы сама литература распределяет, куда кому

пойти и чем заниматься. Ну, а те художественные книги, какие мог написать за эти годы Белов, — их читатель, конечно, недосчитается и немало потеряет, но обретет, быть может, нечто гораздо большее.

В истории отечественной литературы немало примеров, когда писатель и словом и делом целиком отдавался политической борьбе на благо России. А «Братья Карамазовы», «Бесы»? Это ведь во многом публицистические произведения. Особенно «Бесы». Публицистика для русского писателя, начиная со «Слова о полку Игореве» и «Слова о законе и благодати» митрополита Иллариона, — это свойство души, воинский вклад в походе за святую Русь, когда ей угрожали внешние или внутренние враги. Так было, так будет, доколе останется на земле хоть одно русское перо.

А. Б. Наконец-то к русскому читателю пробилась литература белой эмиграции, вернее, литература насильственно изгнанных. Николай Гумилев, Марина Цветаева — ее книга стихов «Лебединый стан» о белой гвардии — высокая, страстная, наполненная плачем по Руси, истинно лебединая песня. Но мы открываем и новые имена прекрасных русских писателей: Иван Шмелев, Борис Зайцев, Иван Ильин...

В. Р. Марину Цветаеву, Бунина мы знаем неплохо, хотя они ведь тоже из белой эмиграции. Но вот есть у Ивана Ильина, можно сказать, классического русского мыслителя, на которого я уже ссылался, казалось бы, не свойственная ему работа по литературной критике. Речь идет о статье «О тьме и просветлении». И дает он в ней сравнительные характеристики Шмелева, Ремизова и Бунина. Так вот, Ильин считает Ивана Бунина великолепным натуралистом языческого, додуховного опыта, а Ивана Шмелева художником, постигшим молитвенный свет. Шмелев, может быть, самый глубокий писатель русской после-революционной эмиграции, да и не только эмиграции. Не хочется сравнивать, но Шмелев, без всякого сомнения, писатель огромной духовной мощи, христианской чистоты и светлости души. Его «Лето Господне», «Богомолье», «Неупиваемая чаша» и другие творения — это даже не просто русская литературная классика, это, кажется, помеченное и высветленное самим Божьим Духом.

Вот еще Борис Зайцев — его мы тоже мало знаем. Художник иссушающей тоски по России. Это даже и не ностальгия, это крик по России, как и у поэта Георгия Иванова.

Мы вели речь о белой эмиграции или, как ее обозначают, эмиграции первой волны. Ни вторая, ни третья такой литературы не создали. Первая волна ведь не убегала от России, была изгнана, стала отделенной частью России. Мы остались на земле русской, а они унесли русский дух и на расстоянии и в разлуке видели нашу Родину лучше, чем мы, находящиеся внутри нее...

А. Б. В третьей волне эмиграции особняком держится только Александр Солженицын*, который, как мне думается, своими православными воззрениями, своим русским патриотизмом ближе стоит к белой эмиграции. Только не-

* Беседа происходила, напомним, более четверти века назад, и лет через десять, а может и раньше, я все же осмыслил роль Солженицына в русской истории и русской литературе XX века, и от былого восторга осталось лишь разочарование. Изменил ли В. Распутин отношение к Солженицыну или не изменил, не знаю; последние лет пять он уже не упоминал его в публичных речах и беседах.



колебимый патриот мог сказать из изгнания, не помня обид: «Я люблю свою Родину. Я хочу, чтобы моя страна, которая больна, которую 70 лет уничтожали и которая находится на грани смерти, возродилась к жизни».

Вокруг Солженицына наши доморощенные «демократы»-интернационалисты наптели много лишнего, насильно притягивая писателя, православного человека, русского патриота к диссидентству на западнический манер, ставя его имя рядом с именем покойного академика Андрея Сахарова. Согласно критику советскую действительность, они все же разошлись во взглядах на послереволюционную историю, на будущее устройство России. И теперь те же «демократы», которые так шумно суетились вокруг Солженицына, видя в нем лишь антисоветчика, начинают откровенно на него набрасываться.

Солженицына однажды в печати назвали явлением, предтечей которого был Достоевский. Думается, что это не совсем так. Достоевский все же писатель, написавший уже в прошлом веке о начале века нынешнего, когда к власти в России пришли люди, презирающие все коренное русское, когда пришли разрушители тысячелетней российской государственности и национальной памяти; и Достоевский же, указывая на особую, спасительную для человечества духовность русского человека, видел в нем и нигилистические, бунтарские наклонности, которые могут быть использованы заговорщиками. А Солженицын — писатель, верно написавший уже пережитое народом, виденное и прочувствованное самим, он подбирался к истокам зла, к его корням, на которые раньше указал Достоевский.

В. Р. С предтечей, думаю, это обмолвка или как-то не так изъято из контекста... Предтеча — подготовка, подготовка главной фигуры и, стало быть, на порядок ниже ее. Сравнить того и другого нельзя. Это совершенно самостоятельные фигуры, великие личности — тот и другой. Достоевский — житель духовного мира, заглядывающий в материальный; Солженицын — материального, знающий духовный. Достоевский был последним писателем дореволюционной России, кто знал пути ее спасения, во весь голос говорил о них, но и предвидел, что спасением своим она не воспользуется. Солженицын стал первым писателем такого масштаба, кто оболваненную Россию привел на место ее трагического выбора и показал, как и почему она изменила самой себе.

Заметьте, тот и другой — и Достоевский, и Солженицын — прошли через каторгу, хотя опыт Солженицына был и горше, и масштабней; тот и другой выстрадали свое провидение, но в двадцатом веке оно, провидение, потребовало другого языка, другого взгляда — обращенного в прошлое, чтобы собирать пожитки для будущего.

У них много общего, хотя они совсем, совсем разные. Но оба — как верстовые столбы на мученическом пути России. Еще молчали почти все, отводя душу в анекдотах, но нашелся человек и сказал всю горькую правду. Мы говорим, что правда прорастает из-под любого камня — точно так же поднялся Солженицын. Он поднялся первым, потом легче было разгибать спину другим. Для этого нужно было иметь и мужество, и талант. А еще важно было сберечь и приумножить талант за проклятые годы лагерей. Ведь Солженицын начинал писать в молодости, затем фронт — там не до рукописей; затем тюрьма и лагеря, где тоже не отводили кабинета для самообразования и полезного чтения. И все-таки человек настолько огромной силы воли, настолько могучего духа, что про-



должал работать и в этих условиях. И когда вышла повесть «Один день Ивана Денисовича» — это было как потрясение. Воистину: охота пуще неволи. Затем «Матренин двор», «Раковый корпус»... А два последних года для читателей России и вовсе проходят под знаком Солженицына, и если бы наше любезное Отечество, как во времена Достоевского, захотело взять урокам нашего великого современника, на многое бы у него открылись глаза и по-другому смотрело бы оно на происходящее.

* * *

А. Б. Солженицын, а ранее Достоевский говорили о том, что в России определенно есть люди, которые радуются русским неудачам, потому что неудачи — это шатание, постепенное разрушение российской государственности и, главное, нарастание взрывной обстановки, приближение того вождельного смутного времени, когда можно будет взять в руки власть.

В. Р. Солженицын в «Красном колесе» как раз и пишет о подготовке русской революции, о ее составляющих, об общественном мнении, которое не одно десятилетие вело подрывную работу, пока не произошел взрыв. Это был, за малыми исключениями, всеобщий общественный соблазн, круговое опьянение: долой! — и никаких. Хотя по темпам экономического развития Россия к Первой мировой войне вышла на одно из ведущих мест в мире. О политических свободах мы уже говорили; у правительства не имелось даже собственной газеты, где бы оно могло защищаться от дружных нападков.

А теперь сравним: да, нынешнее правительство экономикой похвалиться не в состоянии — развал, что называется, по всем швам. Но урок февраля семнадцатого, а затем и октября учит нас, что благополучие не остановило бы вакханалию («волконалию» у А. Ремизова) так называемой «демократии»: если у нее развязаны руки, в поддержку ей всегда что-нибудь подворачивается — то война, то разруха.

А насчет того, что часть интеллигенции радовалась государственным неудачам в конце прошлого и начале нынешнего века... Да, так оно и было. Радовались неудачам в Русско-японской войне, всему радовались, что подрывало авторитет царя и правительства. Как и ныне, когда чем хуже, тем лучше.

А. Б. Наш разговор, видимо, не случайно все же постоянно сворачивает к русским и российским вопросам, тем не менее хотелось бы опять вернуться к нынешней литературной жизни в России... Поколению, которое в литературе идет следом за вашим, кажется, стало еще труднее, чем в застойные времена, пробиться к читателю: резкое размежевание на западников и российских самобытников-патриотов повлекло за собой размежевание критики, газет, журналов, размежевание это вышло отнюдь не в пользу молодых писателей, скажем, настроенных патриотически. Если раньше все же старались литературное произведение измерять по художественным достоинствам, что, правда, не исключало «красную» конъюнктуру, то теперь все критерии размыты. Наступил какой-то сплошной хаос в литературном процессе.

В. Р. В застойные времена можно было хоть спокойно работать. Мы говорим: цензура, цензура! Цензура, конечно, писателю не мама родная, от нее

настрадались и Белов, и Абрамов, и Виктор Астафьев, у которого было много выброшено из замечательной повести «Пастух и пастушка». Сейчас он восстановил текст — это уже совсем другая книга. Нет, я не говорю, что цензура — благо, но и не могу согласиться с теми, кто собственную леность, бездарность и вздорность оправдывает невозможностью и слова сказать в подцензурных условиях. Неправда это. Говорили. И говорили неплохо. Только в послевоенное время — Овечкин, Тендряков, Троепольский, Быков, Абрамов, Твардовский, Зальгин, Можаяев, Гончар и другие — да без них бы и правду, и совесть, и веру извратили так, что не на чем было бы порядочному человеку и стоять.

Самое же страшное в те времена, о чем мы поминали, — напроць оказалась отсеченной отечественная история и общественная мысль. Будто и не было никогда «Истории государства Российского», книг Хомякова, Киреевских, Данилевского, Соловьева, Леонтьева, Федорова, Розанова и многих других. Все черной краской: реакционеры! Цензуровали книги Гоголя, Достоевского... С такой цензурой теперешние «демократы», пожалуй, готовы и согласиться втихомолку. Белинский, Чернышевский, Добролюбов, Писарев, Радищев были доступны — то есть все, что лепило из России в прошлом одно лишь «темное царство», образовывало нашего гражданина с пеленок и загоняло его в узкий коридор представлений о своем Отечестве. Так вот, о застойных временах... Официальные духовные и нравственные ценности навязывались одни, но литература держалась незыблемых, вечных, и тут никакая цензура ничего с ней поделывать не могла. Да это было и не в интересах государства. Человеку приходилось жить действительно двойной моралью, и государственный надзор как бы молчаливо с этим соглашался, не в силах отказаться от догматического панциря, но и признавая, что в одной лишь догме человек задохнется и омертвеет окончательно. Мы вправе жаловаться на цензуру, но надо признать: то, что все же позволялось литературе, не позволялось другим искусствам. И она, художественная литература, своим шансом, своей особой ролью в обществе воспользовалась прекрасно, и если за два-три поколения человек нравственно все-таки выстоял, заслуга литературы тут не из последних. В том числе и «деревенской» литературы. В самые лживые годы были писатели из современников, к которым миллионы людей обращались точно к исповедникам и находили спасительную опору.

И сравним, что теперь. В сумерках истории литература и светила, и направляла, а как выбрались на открытое место — все ценности, все добродетели в черепки, и самая добрая книга потускнела перед разгулом общественных страстей.

А. Б. Официальная пропаганда, к которой всегда примыкала часть художественного творчества, от лицемерия, двойной морали резко повернула к цинизму. И человек, кажется, стал перед выбором: социалистическое лицемерие или буржуазный коммерческий цинизм? Что лучше? Этот коммерческий цинизм в культуре особенно ярко выразился в комсомольских изданиях. И начались нападки на художников, которые и в застойные времена подсознательно и сознательно опирались в своих творениях на вековые национальные духовные ценности. Почитаешь критические статьи в «Огоньке» — господи, сколько злобы, сколько ядовитой ненависти к писателям российского патриотического склада. Таким остервенелым лаем разве что Александра Исаевича Солженицына сопровождали в изгнание.

В. Р. Об этом трудно говорить, да и не хочется. Водиться и разбираться с этой публикой не делает чести, но и не отвечать нельзя — примут за слабость, за то, что нечем отвечать. Особенно яростным нападкам подвергается ныне всякое упоминание, всякое обращение к патриотическому чувству. Договорились до последнего: «Патриотизм — это свойство негодяев». Россию хотят обесславить и обеззащитить окончательно, чтобы потом без помех на торг и панель ее — кто дороже даст. Это бесчестная игра, когда святые чувства, соединяющие человека со своей землей и народом, пытаются столкнуть в яму с нечистотами. Не в первый раз возникает братство ненавистников самостоятельной, самобытной России, и ничего тут нового или «демократического» нет, но Россия от этой «традиции» всякий раз несет непоправимый урон. Что руководит ими? Да все то же: родина там, где лучше кормят, где богаче витрины и свободней нравы, вот отчего и «деревенщики», через малую родину проповедовавшие любовь к Родине большой, сделали для них сразу мракобесами.

А. Б. Думаю, пока «деревенские» писатели поругивали русский народ, и поругивали, очевидно, справедливо (конечно, и с болью, и с любовью к нему), пока во всех послеоктябрьских бедах (террор, унесший цвет русского народа, раскрестьянивание, расказачивание, разрушение православных храмов и гонения на веру) винули лишь сам народ («свинский материал», по Каменеву), «демократы» и патриоты боролись с царством большевистской лжи в одной упряжке; но как только в русских художниках наконец-то пробудилась гордость за свой народ, за Отечество, когда стали осознать, кто, как и зачем, оболванив народ, вывел его на плаху, когда заговорили о продолжении вытекающего из веков самобытного пути России — вот тут-то «левая» критика и обрушилась на писателей-патриотов, завопила: мол, не надо искать врагов извне самого русского народа — вся трагедия россиян уже и в самой русской душе, в той тысячелетней рабе.

В. Р. И столько грязи вылили на эту душу, столько предъявили ей обвинений, так брызжут над ней слюной, а нет оглянуться на себя: вы ведь считаете себя лучшими, передовыми, цивилизованными — и такая брань! Не выдаете ли вы себя не за то, чем в действительности являетесь? Полно, господа! Ведь она, душа эта, только-только стала приподниматься и оглядываться, куда ее, бедную, затуркали, а тут на нее со всех сторон: цыц! Не имеешь права! Не имеешь права в цивилизованном обществе находиться, не вышла породой. Ну не расизм ли с другого конца?!

Кому, спрашивается, нужна безликая, бесславная и бессловесная Россия? Если смотреть на нее как на вожделенную и выгодную подстилку для богатых партнеров — тогда да, тогда понятно. Но в таком случае наши «душеведы» больше, чем на сутенеров, не потянут. Если же мы искренно печемся о могучей и светлой России, достойном члене мирового сообщества, то как же ей без своих традиций, обычаев, песен, без русского языка, без святынь! И что это, простите, за народ, если он не будет уважать себя? Всех уважай, а себя не смей — где ж он возьмет уважение к другим, если не выработает его к себе? Нет, в интересах всего мира, каждой нации, большой и малой, чтобы Россия имела свои краски, особенности, свою мысль.

Я не хочу этим сказать, что русская душа без недостатков, что ее на божницу надо. Нет, конечно. Но и под плевательницу ее приспособить не позволим. Вспомните еще раз, что не последние умы как в России, так и на Западе говорили о всемирной отзывчивости русской души.

* * *

А. Б. Мы начали было говорить о том, как сложно теперь молодому традиционному русскому писателю обрести своего читателя, то есть опубликовать произведение в журнале, издать в книге, и чтоб заметила критика, свела с читателем. И причин тут много. На писателей вашего поколения, которые в силу дарования, настойчивости или предприимчивости все же начинали печататься, — на них работала, по сути, вся критика, все журналы и издательства, еще не поделенные на «правых» и «левых», на «демократов» и «патриотов». Теперь же молодому автору, пишущему, скажем, в русских народных нравственных и художественных традициях, издательский выбор самый минимальный, критики работают жестко по направлениям да и мало уже занимаются художественным анализом произведений, в политику ударились. А тут еще и коммерция подошла...

В. Р. Коммерция литературе, конечно, противопоказана. Как и религии. Духовное нельзя рассматривать как товар. Когда книга превращается в товар, навязывающий себя, и перестает быть исповедью, молитвой и проповедью, когда литература теряет литургическое звучание — обречена и художественность, и светоносность. Серьезная книга станет уделом элиты, общество неизбежно очерствеет, в лучшем случае переведет свою душу на правовой механизм. Хотя в России и это невозможно, русская душа для такого положения не годится. Стало быть, может произойти худшее. И, конечно, молодому писателю заявить о себе будет неизмеримо труднее. Прежде издательства обязаны были заботиться о молодых, имели чуть ли не планы для них. Теперь же молодых в условиях рынка может выручить кроме собственных объединений государственная дотация. Литературу (и вообще культуру) переводить на полный хозрасчет, бросать в рынок — преступление. Мы это преступление уже видим, глядя на театр, когда он взялся зарабатывать деньги всеми удобными способами — деньги пахнут! — вот и цели у него стали бесовские.

Времена предстоят трудные, но, я думаю, не безнадежные для литературы. Будем надеяться, что хоть традиция читать книги не плотью, а душой в России не сгинет. Возможно, когда валом повалят книги низкого пошиба, в читателе они вызовут отрывку. В уме у него пока есть: мыслителями, как и деятелями, без серьезной книги не становятся.

А. Б. Любовь к Отечеству впитывается вместе с молоком матери, потом эта любовь выверяется, высветляется Божьим духом, обогащается и крепнет. Родину, как и мать, никогда не выбирают и не меняют, как не выбирают время, когда удобнее быть патриотом России. Хотя молодым литераторам иногда говорят (и мне говорили): что ты лезешь в политику, что ты суешься в это патриотическое движение — ты же еще ничем ничего! Заимей сперва авторитет худож-



ника, а уж потом и борись за Россию, если уж без этого никак нельзя. И для примера приводили вас, как это ни странно: дескать, не будь у Распутина за спиной его талантливых повестей и рассказов, не будь большого имени, никто бы и слушать его не стал, если бы он даже говорил и писал в статьях то же самое. Словом, позаботься вначале о воплощении своего художественного дара, а потом уж кидайся в публицистику.

В. Р. Время, состояние Отечества, как мы уже поминали, диктуют писателю, в том числе и молодому, начинающему, сам характер поведения; тут не следует забывать и возможности таланта: один начинает с публицистики, другой с повести. Здесь давать рецепты — занятие пустое. Один только совет молодому писателю: не бросать Россию. Это не сулит спокойной жизни, камнями, боюсь, будут продолжать забрасывать и через десять лет... А иные же как рассуждают: сначала я заработаю деньги (даже не имя), обеспечу себя, потом напишу великую книгу. Не напишет, не получится — лукаво начал.

А. Б. Любовь к России исторической, ощущение опасности, опять нависшей над ней в маскарадной личине безродности, космополитизма, — все это, нет худа без добра, стало помаленьку сплачивать наше литературное поколение. И все же трудно сказать, что ваше поколение писателей подготовило себе для опоры достойную смену, крепкие тылы или, наоборот, стойкий передовой отряд.

В. Р. Нет, опора, конечно, есть. Но или это закон литературы, или свойство времени, однако 30—35-летний писатель малозаметен. Не знаю, чем это объяснить. Может, оттого, что хлебнули меньше лиха в детстве, в юности? Жизнь была более благополучна... Талант пошел не в глубину, а в ширину. Главное для писателя, что должно даваться Родиной, народом, — язык, а он в последние десятилетия, и особенно в последние годы, сильно пострадал. Но говорить о том, что поддержка есть, можно без всякой натяжки.

А. Б. Много толковали про закон о печати, связывая с ним большие литературные, публицистические надежды...

В. Р. Закон о печати принят, и говорить теперь о том, нужен или не нужен, бессмысленно. Хотя многие страны, какие мы называем цивилизованными, прекрасно обходятся без него. Теперь все будет зависеть от степени культуры и здравого смысла «четвертой власти». Из нее можно сделать общественный террор, новое пропагандное насилие, ярмарку человеческих пороков, средства массовой информации превратить в средства массовой дезинформации, тотальной обработки душ, а можно и наоборот. Пока в борьбе за власть в России преобладает, как мы видим, первое. Кроме того, — еще и до закона, а сейчас и под его защитой — такое половодье грязных листов, такое бесстыдство, какого, поверьте, нигде в мире нет. Особенно усердствуют, помимо всяких кооператоров, молодежные издания. Вообще, надо признать: молодежь свою мы бросили на произвол судьбы.

А. Б. Вот вы помянули кооператоров... Дело еще в том, что в большинстве своем нынешние кооператоры, как, видимо, и заправили теневой экономики — это ведь не российские купцы, которые несли в себе православную нравственность, были патриотами России и непосредственно своих уездных и губернских городов и которые на собственные средства возводили наши города, открывали милосердные, сиропитательные дома, приюты, гимназии, училища, библиотеки, театры, художественные музеи, которые, наконец, замаливая неизбежные торговые, житейские грехи, на свои капиталы строили православные храмы — нынешние памятники архитектуры, да и так немало жертвовали в епархии. А сегодняшние предприниматели не больно-то разбегутся жертвовать на благо и красу России. Но, может, я ошибаюсь, дай-то бог.

В. Р. Грязные деньги на добрые и чистые дела не даются. Их может пожертвовать только кооператор-производитель, кому они достаются тяжким трудом. Да и то не всякий.

А. Б. Вот мы заговорили о печати... Не знаю, что будет дальше, но простонародье уже пугает разрушение в прессе духовных идеалов (и коммунистических, и российских исторических), как и воспевание того, что еще недавно считалось недостойным даже обсуждения. Я об этом сужу из мнений своей многочисленной родни, своих деревенских земляков, которые не могут постигнуть, что творится на белом свете и куда мы катимся, и живут в постоянном страхе, в напряжении.

В. Р. Настроение от всего порой бывает такое, что хоть не живи. Единственное спасение — работа, объединенная работа всех, кому дорога Россия, реки ее и леса, песни и сказания, «преданья старины глубокой», кто благодарен ей за свое происхождение и верит в ее будущее. Ни за какие посулы, ни за какие пряники не отдавать Россию тем, кто наладился ею торговать, кто сидит с ножницами над ее картой и кто остатки ее святости превращает в пошмище.

Много чего за свою историю вынесла и перетерпела Россия, но самый жестокий удар нанесен был ей в этом веке. Едва лишь она с великим трудом стала приходить в себя, поднялись на нее собственные, возвращенные за десятилетия манкурты — неразумные, оболваненные сыновья, не ведающие, что творят... Такого испытания еще не бывало, но... если не оставлять Россию, если стоять всем миром за честь ее и достоинство, за целостность ее просторов и братство всех составляющих ее народов — лучшей своей частью поверившая в себя, вынесет Россия и это.

Июнь — август 1990 г.



Сергей СИМОНОВ, Вадим КАПУСТИН

ЮРИЙ ЗАМЯТИН, «СИБИРСКИЙ МЕТЕОР»

Звезда Юрия Замятина, стремительно вспыхнувшая в 1915 г., стала, пожалуй, самой яркой на заре сибирского спорта. А своим соперникам Замятин порой казался настоящим «сибирским метеором», на большой скорости пролетающим мимо по беговой дорожке или лыжной трассе.

Несмотря на украденные войной лучшие годы, на отсутствие крупных соревнований и квалифицированных тренеров, томский самородок блеснул серией высоких результатов на Первой Красной Сибирской олимпиаде в Омске в 1920 г. Затем выиграл лыжные гонки на зимнем первенстве Сибири. По данным на май 1922 г., Юрий Замятин был обладателем 16 сибирских рекордов в легкой атлетике и лыжном спорте. Не подкачал сибиряк и на всесоюзном уровне. В феврале 1924 г. в Москве на первенстве Рабоче-крестьянской Красной армии (по сути, лыжное первенство страны, жившей тогда под военно-спортивным флагом) Замятин занял второе место в индивидуальной гонке на 30 км, уступив только чемпиону страны, заслуженному мастеру спорта Скалкину. На протяжении почти 10 лет он считался сильнейшим лыжником и бегуном Сибири.

Счастлив был Юрий Константинович и в учениках. Его уроки помогли Ивану Потанину стать сильнейшим спринтером СССР, а воспитанники Замятина Дмитрий Моравецкий, братья Клюге, Сергей Цитович ковали славу сибирского спорта на лыжне и беговых дорожках. В Новосибирске Юрий Замятин был преподавателем техникума физкультуры, стал основателем и руководителем врачебно-физкультурного диспансера. На его именные призы проводились лыжные юношеские соревнования. Как спортивный врач-альпинист, в 30-х годах он участвовал в знаменитом покорении горы Белухи, а в военные годы помогал готовить бойцов-лыжников и лечил раненых воинов в новосибирских госпиталях.

Но за полвека, прошедших со дня его смерти, имя Юрия Замятина подзабыто. Его могилу в 20-м квартале Заельцовского кладбища Новосибирска, где он обрел вечный покой в апреле 1964 г., обнаружить так и не удалось. Поэтому высшей справедливостью будет поподробнее рассказать землякам о блестящем родоначальнике сибирского спорта, в числе первых достигшем всесоюзного уровня.

Знал бы дед-священник...

А ведь судьба будто бы чертила ему, родившемуся в семье потомственного священника, совсем другие орбиты. Если бы дед Юрия Замятина, знаменитый томский праведник и протоиерей Дмитрий Степанович узнал, что его взрослые внуки голоштанными бегают при всем честном народе по футбольному полю и гоняют какой-то кожаный пузырь, то он мог, как человек простых и строгих правил, сурово обойтись с продолжателями фамилии. Но дед умер в 1908 г., когда внуки были совсем мальчишками. «Господь прибрал к себе его как своего непотыдного служителя», — с уважением написано в некрологе, а похоронен был церковный пастырь в ограде мужского Богородице-Алексиевского монастыря, чего удостаивались очень немногие.

Отец Юрия Константин Дмитриевич, хоть тоже был известным томским священником (в Николаевской церкви при губернском тюремном замке), но взглядов был куда более либеральных, не настаивал, чтобы сыновья Михаил и Юрий непременно пошли по церковной линии, и отдал их не в семинарию, а в Губернскую гимназию. К их спортивным увлечениям относился очень лояльно и даже помог в 1913 г. получить разрешение проводить легкоатлетические и футбольные соревнования на площади возле Ярлыковской церкви, неподалеку от которой располагался Томский спортклуб.

Ну а как было Константину Дмитриевичу отказать Томскому спортклубу, когда его старший сын Михаил был голкипером одной из лучших футбольных команд города, а еще большие спортивные надежды подавал младший сын Юрий? Вообще-то, по метрикам он — Георгий Константинович, но в Томске его больше звали Юрием. Для Томска это было обычно: вспомните, ведь первого секретаря Томского обкома КПСС Егора Кузьмича Лигачева (между прочим, коренного новосибирца и болельщика «Спартака») здесь тоже раньше звали исключительно — Юрий Кузьмич. Так вот, Георгий, он же Юрий, Замятин отличался и на коротких, и на стайерских дистанциях — редкая для спорта универсальность, а в лыжных гонках вскоре его уже никто в Томске догнать не мог.

Откуда же в степенной и чинной семье священников взялась такая спортивная прыть? Сам Георгий-Юрий Замятин в своих воспоминаниях пишет, что начиналось все в детстве с народных игр, развивающих ловкость, быстроту и сноровку. Зимой прибавлялось катание на лыжах и коньках.

«А с момента поступления в Первую томскую губернскую мужскую гимназию эти детские забавы пошли по более правильному руслу под руководством спортсмена-любителя Ивана Афанасьевича Шулакова — в жизни скромного бухгалтера, но большого энтузиаста физического развития. Все свободное от работы время он уделял водному (парусному) спорту, введенному им впервые в Томске. А зимой — лыжным прогулкам по сосновому бору возле дачного “городка” на левом берегу Томи, куда он выезжал на целые праздничные дни, окруженный молодежью.

Прогулки в бору и катание с гор обычно заканчивались привалом в домике лесника, где варились пельмени, шли рассказы, полные экзотики.

Катание на лодке с парусом, рыбная ловля, игры в крокет, лапту, городки, зимой хождение на лыжах, катание с гор — все это заложило любовь к природе и физическим упражнениям с малых лет на всю жизнь».



Чемпионы из... «сарайного клуба»

Тут следует непременно добавить, что Замятину и его поколению во многом повезло со временем. Родись он на два-три десятка лет пораньше — и никаким «сибирским метеором» бы не стал. Но Томск на стыке веков явился, по сути, колыбелью сибирского спорта. Открытие первого за Уралом университета (1888 г.), а затем и Технологического института сделало город «умственной столицей Сибири», притягивало все новое, интересное. Зарождающийся спорт (уже в современном, «олимпийском» варианте) и забота о физической культуре — это тоже было новое и передовое.

В Томске трудился «сибирский Лесгафт» — доктор Владислав Пирусский, создавший здесь в 1895 г. третье во всей огромной империи Общество содействия физическому развитию — с площадками для игр, купальнями, загородными летними лагерями, катками и великолепным манежем для занятий спортом и ручным трудом.

В начале XX века пионеры спорта уже создали в Томске первые спортивные кружки и общества — «Сокол», Спортивно-атлетический клуб и, конечно же, Томский спортклуб, к которому и примкнули вскоре братья Замятины. Правда, прежде был еще «сарайный клуб», о котором с удовольствием вспоминает Замятин-второй (первым был старший по возрасту брат Михаил). «Сарайный клуб» был связан с футбольным бумом, начавшимся в Томске в 1912 г. Футболисты становились костяком стихийных спортивных клубов, а «дикие» команды возникали тогда чуть ли не на каждой улице. В Верхней Елани (тогда улица Большая Садовая, а ныне Ленинский проспект) образовался именно таким путем своеобразный кружок любителей спорта, к которому присоединился Юрий Замятин.

«Возрастной состав кружка был разнообразный: взрослые студенты Томского Университета, сотрудники Технологического Института, служащие и учащиеся. Занимались главным образом играми в городки (победители ездили верхом на “побежденных”), лапту, крокет, футбол, а затем и элементами легкой атлетики (бег, прыжки). На пустыре одной из усадеб была создана собственными силами площадка с подобием беговой дорожки среди репья и бурьяна, с местом для игры в городки. Эта площадка служила для занятий футболом и легкой атлетикой. Вошедшие в этот кружок в шутку называли себя членами “Сарайного клуба” (инвентарь хранился в сарае, через крышу которого надо было вылезать на площадку). На крыше сарая часто беседовали о том, чем заниматься сегодня и завтра, то есть — о перспективах спортивной работы. Все были ярыми любителями футбола, не пропускавшими ни одного матча между Коммерческим училищем и Губернской гимназией. Благо игры проходили совсем недалеко, на площади Лагерного сада, в конце Садовой улицы, на берегу Томи».

Нельзя не удержаться, чтобы не процитировать один фрагмент из воспоминаний Замятина, относящийся к первым шагам лыжного спорта:

«Что касается лыжного спорта, то начиная с 1913 года Томским спортклубом регулярно проводились лыжные соревнования сначала по снежному покрову реки Томи около устья Ушайки. Затем лыжники перекочевали в старый лагерный сад на Верхней Елани, отсюда, через короткое время, на Потаповы лужки — место традиционного катания томичей с холмов близ Томска.

Благоприятный профиль местности, покрытой прекрасным березовым лесом, хороший спуск к реке — все это было использовано для массового катания, для культивирования горнолыжного спорта (снежные трамплины на склоне Лысой горы) и первых лыжных соревнований. Применялся для катаний бобслей многоместный. Добирались до Потаповых лужков на лыжах (от города 2—3 км). Ни о какой лыжной базе не могло быть и речи! Любители заранее (летом) делали землянки для обогрева и варки пищи (чай, пельмени) — каждый для себя!

В программу тогдашних состязаний включались дистанции: 1 верста — на быстроту; 3—5 верст — на выносливость; лыжные эстафеты — 3 этапа по 1 версте и 5 этапов по 1,5 версты. Техника бега того времени на лыжах была примитивной, ходили по “всей Руси великой” тогда... русским ходом. Но инвентарь (лыжи, обувь, спортивная одежда) был для того времени качественным. Томский магазин “Технико-промышленное бюро” выписывал этот инвентарь из Финляндии, в силу чего он был дорогой и малодоступный для массового потребителя. Из обуви в ходу были пьексы, гальки, унты.

Большинство любителей лыжного спорта предпочитали ходить на пимачесанках при мягком креплении, хотя уже в то время отдельные лыжники имели род твердых креплений — подошвенные. Длинные и узкие лыжи не позволяли делать резких и быстрых поворотов на небольшой площади, и этим объяснялись гонки по прямой и ровной местности — реке, озеру, равнине. Специальных мазей не существовало. Мазали лыжную беговую поверхность стеарином, парафином, воском и даже... медвежьим салом! Так как инвентарь был дорогой, любители лыжного спорта пробовали делать лыжи сами. Вскоре некоторые кустари начали недурно выделывать лыжи по заморским образцам. Особенного успеха в этом добился томский бондарь Тюлкин. Он даже перестроил свою бондарную мастерскую на лыжное производство! Им хорошо выделывались как беговые, так и горные лыжи».

Превращение в лебедя

Весной 1915 г. пробил час Юрия Замятина — пора ему было превращаться из равнодушного зрителя в неперемного участника! По его утверждению, 16-летнего паренька-гимназиста, случайно принявшего участие в тренировочных играх, заметили как футболиста и пригласили с братом играть в составе «настоящей» команды «Спорт-1».

Пожалуй, элемент случайности Юрий Константинович немного преувеличил. Все-таки брат Михаил, который старше на 3 года, уже был к тому времени полноправным голкипером «Спорта-1» и чемпионом Томска 1914 г. Его имя уже мелькало в газетах, чего, кстати, пионеры футбола удостаивались тогда не часто. Скорее всего, Михаил, зная неплохие спортивные данные Юрия, и порекомендовал капитану «Спорта-1» (а тогда капитан был, по сути, играющим тренером) Николаю Часовникову обратить внимание на младшего брата. Но для самого Юрия элемент чудесного превращения в лебедя, без сомнения, присутствовал и буквально окрылил будущего рекордсмена Сибири. Прекрасные беговые задатки и скоростная выносливость Юрия быстро определили его футбольное амплуа: он занял место в полузащите, ведь хавбеки во все времена, не исключая и нынешних, выполняли на поле самый большой объем работы, успевая помогать и защитникам, и форвардам.

Начались регулярные осмысленные тренировки. Летом «Спорт-1» встречался с «дачными», пригородными командами, а осенью выиграл у первого чем-

пиона Томска, своего сильнейшего и принципиальнейшего соперника — команды «Унитас» из Коммерческого училища.

Дадим снова слово Юрию Константиновичу, поведавшему в своих воспоминаниях о непростых условиях, в которых пионеры сибирского футбола прокладывали дорогу будущему «спорту №1».

«Хотя любовь к футболу начала активно проявляться уже тогда, не было футбольных, хорошо организованных полей, но стихийно возникают “дикие” команды из молодежи в разных районах и дачных местах города. Многочисленные болельщики того времени охотно посещали первые футбольные матчи, проходившие в лучшем месте города с естественной травянистой поверхностью — Лагерном саду.

Для характеристики этого футбольного поля следует сказать, что посередине его стоял телеграфный столб с проводами, мешавший игре, который невозможно было убрать, так как нельзя было добиться на это разрешения! Постоянных, с сеткой, ворот не было. Стойки ворот с перекладинами хранились на расстоянии 400—500 метров от поля во дворе лавочника Черняка, которому платили за охрану. Стойки с перекладинами каждый раз приносились на тренировочные занятия и соревнования (и уносились с них) на плечах самих футболистов. Верхняя одежда снималась около ворот и складывалась навалом, подвергаясь действию дождя и пыли — в зависимости от погоды... Никаких удобств для зрителей не было: они стояли стеной вдоль лицевых линий и очень мешали игре и... вратарю.

К 1915 году в городе было уже несколько футбольных команд, регулярно тренировавшихся и ежегодно разыгрывавших первенство города. Лучшими из них были команды Коммерческого училища “Унитас” и Первой губернской мужской гимназии “Спорт-1”. Капитанами этих команд были Валентин Вейхель (впоследствии крупный инженер, работавший в Новосибирске и Новокузнецке) и Николай Часовников — будущий профессор гистологии.

Николай Сергеевич Часовников, владея английским языком, переводил все теоретические новинки из соответствующих литературных источников и вводил их в практику учебно-тренировочной работы своей команды. А каждая игра разбиралась до тонкостей. Поэтому, уступая своему противнику — Коммерческому училищу — в физических данных и по возрасту, команда гимназистов вскоре стала превосходить соперников техникой и тактикой игры.

Несмотря на всяческие трудности, связанные с началом Первой мировой войны, футбол продолжал развиваться и втягивал новые слои молодежи. В 1917—1918 годах в городском розыгрыше принимали участие футбольные команды военнопленных».

Братья Замятины в составе «Спорта-1» стали чемпионами Томска 1915 г. и запечатлены на единственном, наверное, сохранившемся снимке томской суперкоманды. Его опубликовал столичный журнал «К спорту!». Михаил уже успел к тому времени проявить себя и в легкой атлетике. Особенно удавались ему прыжки в длину с места (был тогда такой вид), где он установил рекорд Томска. А младшего Юрия, как полномочного члена Томского спортклуба, зимой привлекли к участию в лыжных соревнованиях.

Неожиданно для всех, участвуя без всякой подготовки, впервые встав на беговые лыжи, Юрий Замятин выиграл первенство Томского спортклуба в беге на 20 верст «Вокруг города Томска». Причем был сильнейший 40-градусный мороз и Замятин пришел первым на финиш, опередив таких видных лыжников того времени, как чемпион Томска дипломник Технологического института

Патрин, гимназист Тихомиров и другие. Правда, в марте на первенстве города опытный Патрин взял реванш у Юрия.

Весной 1916 г. новоиспеченного «метеора» Замятина привлекли также к занятиям легкой атлетикой, происходившим вперемежку с тренировками в футбол на берегу Томи, где раньше, чем в других местах, стаивал снег. И вновь молодой спортсмен произвел настоящий фурор. Уже 9 мая на ипподроме Юрий Замятин участвовал в беге на 100 метров и хотя немного уступил городскому чемпиону Лоскутникову, зато дистанцию 1500 м уверенно выиграл.

Первые успехи заставили плотнее взяться за тренировки, и после упорных занятий Юрий Замятин стал королем спринта, выиграв короткие дистанции, а также забег на полтора километра, где улучшил свой весенний результат сразу на 17 секунд.

С этого момента участь Замятина как лыжника и легкоатлета была решена. За два года он выигрывает в Томске практически все что можно — первенство спортклуба на дистанции «Вокруг Томска» и Кубок имени инженера Лидемана, лыжное первенство города.

Весной 1918-го на больших легкоатлетических соревнованиях на ипподроме с участием бывших военнопленных венгров, чехов, немцев Замятин выигрывает дистанции 100 м, 1500 м и решает судьбу эстафеты 4×100 метров. В газетах соревнования именовались малыми Олимпийскими играми, так как за победу в них с томичами соревновались бывшие участники и даже призеры Олимпиады 1912 г. в Стокгольме.

Повоевал за белых и за красных

Мы говорим о спорте, но не надо забывать, какие это были драматичные, переломные и тяжелые времена для всей России.

Первая мировая война, Февральская революция, смута и фактическое безвластие, Октябрьская революция, приведшая к власти большевиков, и, самое ужасное, Гражданская война, расколовшая страну на два непримиримых лагеря. Россия была поднята на дыбы, одна эпоха меняла, уничтожала другую в беспощадной и кровавой борьбе, и никто в огромной империи не мог спрятаться и уйти от этих невиданных катаклизмов. И наш герой Юрий Замятин, достаточно миролюбивый и доброжелательный по характеру человек, естественно, тоже был втянут в эту безжалостную мясорубку истории.

Весной 1918 г. он окончил Губернскую гимназию с золотой медалью, а в июле зачислен в число студентов медицинского факультета Томского университета. Но заняться вплотную учебой не удалось. Транссиб был охвачен пламенем мятежа Чехословацкого корпуса, от него запылал огромный пожар Гражданской войны на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Получилось, что гимназию Замятин оканчивал еще при красных, в университет поступал при белых (Сибирское Временное правительство), а в сентябре 1918 г. студент и будущий чемпион и рекордсмен Сибири был мобилизован в армию и стал колчаковцем.

Как писал Юрий Замятин в анкете:

«При Колчаке служил солдатом-артиллеристом. Был в Первой Сибирской армии младшим фейерверкером (самый младший офицерский чин в артиллерии. — *Прим. ред.*) во 2-й легкой батарее 2-го сводного артиллерийского дивизиона. Участвовал в отходе белой армии от Перми и оставил ее при добровольной сдаче артиллерийского полка в Томске в декабре 1919 года.

В Красной армии служил в 3-й легкой запасной батарее Пятой армии».

Более ничего об участии Замятина в боевых действиях не известно. Сам он рассказывать об этом не любил, да и о своем пребывании (пусть и не добровольном) в армии Колчака в те годы лучше было промолчать и забыть.

К счастью, примерно с этого времени таланты Юрия Замятина начинают использоваться по назначению. И в первую очередь военным ведомством — Всеобучем (Всеобщее военное обучение трудящихся Советской Республики), который управлял тогда всеми спортивными клубами и занимался организацией соревнований всех рангов.

Как специалист по физической культуре, Замятин был привлечен в качестве преподавателя 5-й Военной школы ФИЗО (физического образования), позже был инструктором по спортивной подготовке в воинских частях. Возобновилась и спортивная карьера.

И снова олимпиада

Летом 1920 г. в Омске проходят первые в истории всесибирские соревнования. В Красной олимпиаде участвуют спортсмены всех крупных городов Сибири, включая бывших военнопленных, выступавших на предвоенных Олимпийских играх в Стокгольме. И Томск выигрывает общее первенство! Причем большую роль в этом сыграло успешное выступление Юрия Замятина, выигравшего спринт (дистанции 60, 200 и 400 метров) и решившего исход эстафеты 4×100 м и так называемой шведской или «олимпийской» эстафеты (800+400+200+200 м). Триумфатор игр, прозванный «сибирским метеором», вспоминал позже о своеобразных «декорациях» Красной олимпиады:

«Наконец-то осуществилась мечта многих старых сибирских спортсменов — объединение всех спортивных сил Сибири. В Омск съехались в августе 1920 года команды спортсменов следующих городов: Томска, Иркутска, Красноярска, Барабинска, Тюмени, Барнаула, Семипалатинска. Состав участников по подготовке и возрасту был пестрым: от начинающих заниматься молодых людей до спортсменов солидного возраста. Так, например, бывший военнопленный Первой мировой войны, участник Олимпиады 1912 года в Стокгольме Вейберг из Иркутска — 33-летний спортсмен. И рядом начинающий стайерскую карьеру красноярец Владимир Туровец — юный спортсмен, бежавший 5 тысяч метров в трусиках, закрепленных ремнем, на котором болталась кобура с револьвером... Таковы были контрасты и... дух времени!

Эта олимпиада проводилась в условиях ожесточенной Гражданской войны. Место проведения — омский ипподром с беговым кругом в 1 версту, с мягкой, «лошадиной», а не гаревой дорожкой, с трибунами для зрителей рысистого спорта и... тотализатором. Расквартированы участники были в полуземляных бараках бывших военнопленных.

Паек получали красноармейский — натурой. Каждая команда в ведрах варила себе пищу на кострах, назначая для этого дежурного. А на ночь — дневального по казарме. И все же соревнования прошли с энтузиазмом, с подъемом духа участников, показавших неплохие результаты для того тяжелого времени.

Лучшие из победителей вошли в сборную Сибири для участия в первенстве страны по легкой атлетике в Москве. Но события под Варшавой в августе 1920 года (Красная армия, пытаясь взять столицу Польши, потерпела серьезное поражение. — *Прим. ред.*) отменили намеченные мероприятия, и команда была возвращена со станции Киндяковка обратно в Сибирь».

Зимой томичи принимали первенство Сибири по лыжам и конькам. В споре с лучшими лыжниками огромного региона Юрий Замятин становится зимним королем, выиграв обе дистанции — 10 и 30 км. Особенно трудным соперником оказался занесенный ветрами эпохи в сибирский Барабинск финн Систонен, обладавший высокой техникой и прекрасным спортивным инвентарем.

Тогда все сибирские лыжники ходили с длинными палками в рост человека. У Систонена же были более современные и более удобные низкие палки. Плюс отличный скандинавский стиль хода, перенятый у сильнейших лыжников Европы (да и всего мира) тех времен. Тем не менее Замятину финн уступил.

Впрочем, «сибирскому метеору» проигрывали тогда все — и зимой, и летом. Это были годы триумфа: Юрий Замятин участвовал во всех общесибирских и томских соревнованиях, матчевых встречах городов — и побеждал. Так было на летнем первенстве Сибири 1921 г. в Томске, на легкоатлетических соревнованиях с участием томичей в Омске, Барнауле и Новониколаевске. Даже в первенстве Сибири 1922 г. по «водным лыжам» (организаторы упустили хорошее время для проведения соревнования, и бежать лыжникам пришлось в конце марта — по таявшему снегу и лужам) Замятин вновь оказался сильнейшим.

В таблице всесибирских рекордов, опубликованной в томской газете «Красное знамя» в мае 1922 г., старый член Томского спортклуба Юрий Замятин идет, безусловно, первым номером. На его счету 13 рекордов: в беге на 60, 100, 200, 400 и 3000 метров, а также на восьми лыжных дистанциях — от 3 до 30 км. Плюс еще 3 всесибирских рекорда, которые томичи держали в эстафете 4 по 200 м и олимпийской. Ну а лыжные эстафеты тогда еще не проводились.

Покорение нового уровня

А в сентябре «сибирский метеор» смог наконец-то испытать себя на всероссийском уровне — в первенстве страны по легкой атлетике. Оно проходило с 3 по 10 сентября в Москве на стадионе Общества любителей лыжного спорта, и впервые в истории отечественной легкой атлетики в нем принимали участие два сибиряка — томичи Юрий Замятин и Федор Сергиев. Выступления их не были особо удачными: сказалась долгая неделя пути до столицы — без тренировок, а также неопытность томичей в беге на крутых виражах нестандартного 350-метрового круга стадиона. И если среди провинциальных спортсменов Замятин был одним из лучших (второе время на 400 м и третье — на 200 м), то москвичам все уступили. Через полтора года сибиряк возьмет в столице реванш, правда, уже в лыжном спорте.

В том же памятном 1922 г. наш герой вновь поступил на медицинский факультет Томского университета. В студенческой анкете Юрий Замятин написал о причинах своего выбора: «Активно работая по спорту уже 10 лет, желаю, окончив медфак и научно подкрепившись, работать по линии физической культуры трудящихся, а для этого надо быть врачом».

Правда, вступительные экзамены по физике и политэкономии Замятину сдавать не пришлось: его отправили на Всероссийские соревнования в Москву, о которых уже шла речь выше, и сам комиссар Сергей Рассоленко, начальник Всевобуча в Томской губернии, ходатайствовал о зачислении спортсмена-абитуриента без этих двух экзаменов.

Юрий пошел по стопам старшего брата Михаила, который уже окончил университет, преподавал на медицинском факультете. Спорту Михаил уделял уже куда меньше внимания, хотя принимал еще участие в лыжных и легкоатлетических соревнованиях. А в начале 20-х он даже установил всесибирский рекорд по прыжкам в длину с места (ранее этот вид входил в олимпийскую программу, как и прыжки в высоту с места). Но теперь Михаил стал главным кормильцем семьи Замятиных. Ведь после революции «профессия» отца-священника стала практически запретной, опальной. Константин Дмитриевич, по счастью, не попал в «Дело о томских церковниках» (многих участников его приговорили к высшей мере наказания), а, поработав конторщиком, сотрудником «Пищевкуса», рабочим на овощесушилках, удалился на покой и жил в своем небольшом домике по проспекту Тимирязевскому (а ныне Ленина), 66. Здесь же жили и сыновья.

Старшему довольно быстро аукнулась графа «социальное происхождение — из семьи священника». В начале 20-х гг. он работал врачом в губернском совете физической культуры, писал для газеты «Красное знамя» статьи о пользе физической культуры и спорта. Однако вскоре за социальное происхождение его с этой должности сняли. Дмитрий Моравецкий — старейший томский спортсмен, а в то время ученик тренера Юрия Замятина — стал случайным свидетелем разговора тренера с комиссаром Иваном Чернобровиным, который в 20-х гг. руководил физкультурной работой в Томске и в округе. Комиссар на повышенных тонах объяснил Замятину, почему снимают с работы его брата и что изменения решения не будет. Правда, младшего брата эти послереволюционные вихри не затронули. Видимо, потому, что он был в ту пору сильнейшим спортсменом Сибири, а на всероссийских соревнованиях (Юрий Замятин в те годы работал инструктором спорта в частях РККА — Рабоче-крестьянской Красной армии) в Москве красные бойцы из Западно-Сибирского военного округа под руководством и при лидерском участии Юрия Замятина заняли первое место.

«Серебряная доска» и золотая команда

Это была, конечно, отдельная песня, так как успех на первенстве РККА (фактически — первенстве страны, ведь участвовали здесь все сильнейшие лыжники СССР) стал первым серьезным достижением спортсменов Сибири на всесоюзном уровне.

Соревнования проходили в Москве в феврале 1924 г. и включали в себя индивидуальную гонку на 30 км и командный пробег на ту же дистанцию. Юрий Замятин достаточно скуп, но не без удовольствия рассказывал об этих памятных состязаниях в статье для газеты «Сибирский стрелок»:

«На индивидуальных состязаниях в группе командного состава шли очень сильные гонщики-спортсмены. От Московского военного округа — П. Скалкин (победитель первенства СССР 1923—1924 годов), В. Серебряков (чемпион страны 1920—1922 годов), Хитров (участник лыжного пробега Архангельск — Москва). От Ленинградского военного округа — команда финнов интервоеншколы (3 человека). Это были главные претенденты на три классных места. Провинция также выставила свои лучшие силы. Но действительность опровергла некоторые расчеты.

Описывать гонку было бы долго, скажу лишь, что каждый метр выигрывался в борьбе, благодаря чему мне удалось достичь небывалого для себя результата. Первым пришел П. Скалкин за 2 ч. 16 мин. 46 с., что было луч-

Томские лыжники.
Второй справа —
Г. К. Замятин.
20-е гг.



ше результата первенства СССР 1924 года. Вторым был я со временем 2 ч. 20 мин. Третьим к финишу пришел В. Серебряков — 2 ч. 28 мин. 19 с.

Среди красноармейцев первые три места заняли ленинградские финны. Красноармейцы-сибиряки заняли 6, 8, 9-е места, показав хорошее для них время.

Наконец, разыгрывается “гвоздь” всего первенства — гонка на 30 км в полном военном снаряжении — 1 пуд 20 фунтов (винтовка с патронами, пара белья, ботинки и пр.). Условия гонки трудные: каждый округ выставляет команду 19 человек, включая начальника команды. Команда выходит со старта в колонне по звеньям, проходит дистанцию в произвольном строю, приходит на финиш в колонне, потеряв не более двух человек из всего состава. Проходя финиш, команда должна иметь продолжительность суммарного времени не более полминуты. Прошедшие финиш позднее считаются отставшими. Старт между командами раздельный — 10 минут.

На меня, как на капитана и вдохновителя команды сибиряков, легла огромная ответственность. Надо было предусмотреть все мелочи и вникнуть в психологию каждого красноармейца, поддержать спортивный дух команды.

Тянем жребий. Последний номер. Первой идет интервоеншкола, за ней Ленинградская школа ФИЗО. Обе идут хорошо, особенно команда финнов — видна спайка, вытреннированность, техника. Ленинцы идут несколько хуже. Вот красноармейские команды: дившкола Ленинградского военного округа, за нею идут фавориты Москвы — 18-й пехотный полк во главе со Скалкиным. Со старта полк уверенно уходит вперед, взяв сильный темп. Затем стартует команда Западного фронта и, наконец, мы.

Ребята волнуются, и надо много выдержки, чтобы их успокоить. Старт взят. Идем нервно, но после трех километров пути все приходит в норму. После пяти километров вижу, что некоторые лыжники в команде утомлены. Регулирую ход, облегчаю слабым, складывая винтовки на себя, постепенно превращаясь в мула. Правила допускали это, но помогали своим только начальник команды финнов Антилла и я.

Пройдя половину дистанции, несколько человек из нашей команды окончательно выдохлись, и немало пришлось потратить силы воли, чтобы заставить их дойти до финиша. Ребята буквально выжимали из себя последние соки, ибо знали, что правилами допускаются только двое отставших. Шли на совесть, великие труды не пропали даром.

Подходя к скаковому ипподрому, мы увидели команду Западного фронта, вышедшую раньше нас на 10 минут. Наконец — финиш. Пройдя его, один из участников нашей команды упал от усталости. Но заветная черта позади.



Проверяют вес снаряжения. У нас все верно. Судьи удаляются на совещание. Наконец, объявляют результаты гонки. Первой и лучшей объявляется команда Западно-Сибирского военного округа (4-й полк связи), прошедшая всю дистанцию без замечаний при полной нагрузке и показавшая сплоченность и выдержку. Время пробега 4 часа 26 мин. Ребята в восторге! Куда девалась усталость?!

Второе место присуждают дивизионной школе Ленинградского военного округа. Лучшее время показала команда 18-го пехотного полка МВО, но за неправильную выкладку (у каждого не хватило 2—3 фунта груза), подставку в команду красноармейца из другой части и прочие компрометирующие факты она была дисквалифицирована.

Мы “заработали” своей честной победой “Серебряную доску” — приз Реввоенсовета республики, памятные жетоны, спортивную литературу и каждый — по паре лыж».

Самому Замятину, по рассказам его учеников, нарком Семашко за успех в гонке на 30 км подарил свои собственные лыжи. Назывались они «Идеал», сделаны были в Норвегии, не уступали знаменитому «Телемарку» и произвели в Томске настоящий фурор.

Друзья и ученики, разглядев и пощупав наркомовский подарок, просили дать прокатиться. Замятин, человек широкой и щедрой души, никому не отказывал. Не отказывался и в шутовском ключе рассказать историю о том, как перепали ему лыжи Семашко. Вообще, был Юрий Константинович человеком с юмором, любил посмеяться, всегда был душой компании.

Обаятельный и безотказный, он часто помогал своим товарищам, которые в завтрашней гонке могли быть его конкурентами: Замятин был отличным «мазеваром», как никто в Томске умел подбирать лыжную мазь, подходящую к погоде, но на эти свои секреты жадным не был.

Когда стихи не в радость

Команду воинов-чемпионов торжественно встречали на вокзале Новониколаевска военные части округа, устроив небольшой парад для победителей. А у Юрия Замятина, помимо продолжающейся учебы в Томском мединституте, с лихвой прибавилось спортивной работы. Он был назначен инструктором Губернского совета физической культуры, а позже — ответработником Томского окружного совета. Фактически Замятин был руководителем томского спорта, а также главным судьей крупнейших соревнований и их организатором.

Все чаще приходилось заниматься тренерской работой. А ведь Юрию Замятину очень хотелось оставаться действующим спортсменом. Силы для этого были, причем проявлял себя «сибирский метеор» в самых разных видах спорта.

К примеру, в 1923 г. вместе с давними товарищами по сборной Томска по футболу Юрий Замятин отправляется на один из первых в 20-х гг. междугородных матчей в Новониколаевск. Отправились пароходом и прогадали: он сильно опоздал и прибыл не к вечеру, а поздно ночью. Первый матч томичи играли фактически после двух бессонных ночей и, взяв быстрый темп, довольно скоро выдохлись — новониколаевцы с пенальти сумели сравнять счет и добиться ничьей 1:1.

Репортер-очевидец утверждает, что на игре томичей сказалась несыгранность: извечные конкуренты из команд «Спорт» и «Одиннадцать» привыкли играть друг против друга, а тут нужно было — вместе. Не совсем удачной была и расстановка.



Встреча штабом и войсками Западно-Сибирского военного округа команды лыжников 4-го полка связи — победителей первенства РККА в Москве с призом Реввоенсовета. Новониколаевск, 3 марта 1924 г.

Перед второй игрой томичи несколько перекроили состав, в том числе Замятина перевели из левых полузащитников на ответственное место центрального хавбека, ведущего игру. В результате перестановок томская команда во второй встрече одержала убедительную победу со счетом 7:0, а команда Новониколаевска, который выдвигался на роль столицы «новой красной Сибири», была просто сбита с толку сильным нападением и хорошей защитой игроков Томска.

Примечательно, что месяцем раньше Замятин уже побеждал новониколаевцев, только в составе команды... велоэстафеты. Вызов сделали задиристые соседи, которые путь до Томска (226 верст) одолели за 12 часов 44 минуты. Томичи спешно собрали ответную команду и, несмотря на неблагоприятную погоду (в пути им перепал ураганный ветер и дождь), прошли эту же трассу на час быстрее — 11 часов 47 минут. Первый этап в этой победной эстафете ехал Замятин — от верхней переправы до села Калтай. Как написано в газетном отчете: «Первый этап по тяжелой песчаной дороге, и под конец под небольшим дождем, был хорошо пройден товарищем Замятиным». При этом нужно учесть, что велосипед был далеко не самым любимым его видом. А «коньком» его оставалась легкая атлетика и особенно лыжи.

Наверное, если бы все свое время Юрий Замятин посвящал исключительно спорту и улучшению своих результатов, то он мог бы еще 5—6 лет входить в «когорту непобедимых» лыжников и легкоатлетов Сибири.

Но сама жизнь, работа в спорткомитете и учеба в институте съедали много сил и времени. Юрия Константиновича — как организатора, тренера, квалифицированного специалиста по физической культуре и спорту — весьма уважали в Томске. С ним первым главная томская газета «Красное знамя» опубликовала беседу о состоянии физкультуры и спорта в Томске.

В тридцатых годах и позже таких публичных бесед достаивались обычно лишь председатели спорткомитетов. Однако приязнь в те годы была штукой переменчивой и за любой промах (даже кажущийся промах) могли устроить разнос по полной программе. У Замятина такой случай был. Когда во время праздника МЮДа (Международный юношеский день) случилась некоторая неразбериха со спортивными состязаниями, то Дедушка Гаврило — сатирик тех



лет, строчащий вирши на злобу дня, — тут же пропечатал в том же «Красном знамени» стихи, оканчивавшиеся строками:

**Мы присуждаем вам, Замятин,
За бестолковость первый приз!**

Обидные стихи стали поводом для оживленной переписки на страницах газеты, но каждая сторона осталась при своем мнении.

Врач, тренер, профессионал

Между тем Юрий Замятин, как человек творческий и уже матерый профессионал, был успешным организатором не только городских и губернских соревнований, но и различных новых, революционных по духу спортивных дел. Это, к примеру, участие в подготовке масштабного велопробега Томск — Москва (его совершили два томских спортсмена Павел Ворожцов и Владимир Кекин) или организация одного из первых в истории Сибири лыжного агитперехода из Томска в Анжерку, который сам Замятин в декабре 1925 г. и возглавил. Пройдя в сибирских морозных условиях за два дня 100 километров пути, участники перехода выступили в Анжерке с рядом докладов о развитии лыжного спорта и продемонстрировали местным жителям технику лыжного бега разными способами.

Кроме того, в целях пропаганды лыжного спорта устраивались эстафеты по улицам Томска, дальние лыжные вылазки в сельские местности — Заварзино, Протопопово, Кафтанчиково. А в январе 1927 г. Юрий Замятин вместе с группой томских лыжников встречал на подходе к городу двадцатку ново-сибирских спортсменов, успешно совершивших за 6 суток лыжный переход в 240 километров.

Однако в 1927 г. ему пришлось целиком переключиться на учебу, чтобы успешно окончить мединститут и стать профессиональным врачом. Эта вершина также была взята: в ноябре Замятин получил диплом врача и на 2,5 года уехал на врачебную работу в Бийск. Но, хотя эти первые годы освоения профессии давались нелегко, отнимали много сил, Замятин все-таки находил время и для тренерской работы.

Собственно, тяга к наставничеству у знаменитого сибирского спортсмена появилась давно. Работа инструктором спорта в воинских частях — это, по сути, уже зачатки тренерской деятельности. В 1923 г. Юрий Замятин разглядел в одном из своих подопечных воинов недожженный талант. Красноармеец Иван Потанин увлекался разными видами спорта, особенно преуспевал в борьбе и тяжелой атлетике. Однако наметанный глаз Замятина рассмотрел в нем взрывные качества отличного спринте-



**Студенческий билет Г. К. Замятина.
1926 г.**

ра. Летом 1923 г. он плотно занимается с Потаниным, дает ему первые уроки спринта. Плодотворное, хоть и не всегда регулярное (служба есть служба) сотрудничество двух спортивных звезд Сибири продолжалось и принесло Потанину первые спортивные успехи на сибирском уровне. А когда Потанин выиграл первенство РККА и чемпионат СССР в спринте, то был переведен в Новосибирск и уже в составе сборной Сибири участвовал в Первой Всесоюзной спартакиаде в Москве в 1928 г., где стал серебряным призером на стометровке и чемпионом спартакиады в эстафете 4 по 100 метров.

А Юрий Замятин зимой 1928 г. впервые приехал на лыжное первенство Сибири как спортивный врач и тренер. Зато блестяще выступили его томские ученики и последователи: Сергей Цитович (чемпион Сибири 1928 г.), Дмитрий Моравецкий, Алексей Гулида, Анатолий Клюге, Георгий Степанов, Георгий Суховеев и другие. Неудивительно, что первенство завоевал Томск.

Летом Замятин едет в Москву на знаменитую Первую Всесоюзную спартакиаду как врач команды Сибири и тренер плеяды спринтеров, подготовленных им в Бийске (Нестеров, Коротков, Нарожных, Великанов), занявших в Западно-Сибирском крае первое место в эстафете 4 по 100 м. На спартакиаде состав эстафеты был усилен еще одним подопечным Замятина — Иваном Потаниным. И сибиряки выиграли в итоге первое место.

Новосибирск — это новый взлет!

После двух с половиной лет врачебной работы в Бийске Юрия Константиновича Замятина переводят в Иркутск — врачом Сибирского техникума физической культуры, потом — в Красноярск. И, наконец, в мае 1931 г. Юрий Константинович переезжает в Новосибирск, где только что по инициативе Краевого совета физической культуры и Сибирского военного округа был открыт Западно-Сибирский краевой техникум физической культуры. Юрий Замятин — в числе первых преподавателей нового техникума, который должен давать всей Сибири столь необходимые физкультурные кадры: учителей, тренеров, руководителей секций, спорторганизаторов. Замятин преподает анатомию, физиологию, гигиену, практические дисциплины. Среди коллег-преподавателей многие знакомы ему еще по Томску.

Кроме того, при Краевом совете физической культуры был впервые организован научно-исследовательский кабинет, оснащенный первоклассным зарубежным оборудованием, полученным от Карской экспедиции (она снабжала через Северный морской путь сибирские заводы-гиганты отличной техникой).

Замятин в числе преподавателей физкультурного техникума получил возможность работать в этом современном кабинете. А его оборудование позволяло впервые серьезно заняться научно-исследовательской работой в области спорта и физической культуры, готовить новые современные методики.

Все это очень увлекало, и вообще, Новосибирск стал для Юрия Замятина новой жизнью, новым уровнем, новым творческим взлетом, и «сибирский метеор» начал покорять новые вершины в прямом и переносном смысле.

Помимо повседневной работы, появились и новые увлечения. Проведя два с половиной года в Бийске, в красивейших местах Алтая, Юрий Константинович влюбился в горы. И в Новосибирске, столице Сибири, смог решить вопрос о включении его в состав экспедиции на Алтай и штурме его высочайшей вершины — горы Белухи (4 509 метров).



Правда, с первой попытки взять священную гору Сибири не удалось (заболел один из участников восхождения), но впечатления остались огромные. Красота гор была просто неопишима, не зря ведь в преданиях, бытующих в Азии, говорится, что именно здесь должно быть райское место Шамбала.

В январе 1932 г. Замятин снова отправляется на Алтай — в составе лыжной экспедиции. Помимо научно-исследовательской работы, экспедиция занималась и разработкой маршрутов для зимнего туризма на Алтае. По ее итогам Юрий Замятин написал и опубликовал специальную работу по развитию туризма.

В 1933-м Юрий Константинович решил потряхнуть стариной (хотя ему всего 35 лет) и принял участие в лыжном чемпионате Новосибирска. Метеор не метеор, но скорость спортивный ветеран показал очень приличную и оставил «за кормой» всех сильнейших лыжников города тех лет: Яковлева, Лулева, Королева, Лунина и других. Замятин стал победителем на дистанции 30 км, а в марте уже выступал в Свердловске — на лыжных соревнованиях в честь юбилея Всесоюзного общества «Динамо». Среди гонщиков старшего возраста (35 лет и старше), съехавшихся со всех крупных городов страны, Замятин занял призовое третье место. Успех вдохновил молодого ветерана, и летом он принял участие в первенстве общества «Динамо» по легкой атлетике, проходившем в Горьком.

Схематическая карта экспедиции Замятина. 1932 г.



Зимой 1934 г. Юрий Константинович вновь встает на лыжи и участвует в матчевой встрече четырех сибирских городов (Новосибирск, Иркутск, Томск, Омск). Фактически это было первенство Сибири. Захватывающие по накалу борьбы соревнования выиграл Новосибирск. А ключевыми в его победе стали очки, принесенные представителем старшего поколения Юрием Замятиным. Он выиграл гонку на 10 км и на последнем этапе решил судьбу комбинированной эстафеты в пользу Новосибирска.

В феврале 1935 г. Замятин — участник лыжного сбора мастеров «Динамо» в Москве, а после него выступает в первенстве СССР по лыжам.

Покорение священной горы

Ну а потом пришел черед легендарной горы Белухи, мечта о покорении которой никуда не ушла. Тем более в начале 30-х гг. в Советском Союзе был настоящий всплеск интереса к альпинизму. Горные экспедиции и штурмы вершин органично вписывались в ритм и дух той эпохи: «Мы покоряем пространство и время, мы — молодые хозяева земли». И горы, естественно, тоже должны были покоряться!

Появились статьи и книги о пользе горного туризма и альпинизма. Знаменитый академик, полярник и участник горных восхождений на Памире Отто Юльевич Шмидт писал:

«Горный туризм — путешествие по высокогорной местности, переходы по ледникам, восхождения на вершины — дает закалку, как ни один другой вид спорта. Укрепляя сердце и легкие, развивая выносливость и неутомимость, приучая переносить любую погоду, он великолепно тренирует тело. Еще важнее его значение для характера человека. Горы ставят трудные задачи. В их преодолении развиваются настойчивость, смелость, воля к победе, а также организованность, точность... Необходимость постоянной поддержки друг друга, ответственность за жизнь товарища, которого можно погубить собственной неосторожностью, совместные восхождения на одной веревке, жизнь в одной палатке создают крепкое товарищество, приучают к коллективности. А далекое путешествие, красота и разнообразие видов природы, величие ледяных пустынь, широта кругозора с вершин — все это не только оставляет неизгладимое впечатление, но расширяет и внутренние горизонты человека далеко за пределы личного, мелкого, повседневного».

Была подведена и идеологическая база под преимущества советского альпинизма. В противовес «буржуазному» альпинизму, где на вершину карабкаются спортсмены-индивидуалисты, малые по составу группы, — в СССР стали практиковаться массовые восхождения, воспитывающие коллективизм и товарищество. Штурм горных вершин шел в разных уголках страны — на Кавказе, на Памире, на сопках Дальнего Востока. Неудивительно, что и в Сибири в 1935 г. газетой «Советская Сибирь» и Обществом пролетарского туризма и экскурсий была организована массовая альпиниада по штурму Белухи.

Помимо нескольких более-менее опытных восходителей, в составе этой сотни отважных сибирских альпи-



Г. К. Замятин.
 Рисунок И. И. Тютюкова.
 1935 г.



нистов (не забывайте, что даже к подножию Белухи тогда добраться через мало-проходимую горно-лесистую местность Ойротии было не так-то просто, а на вершине горы за 100 лет изучения побывало всего лишь 14 человек) отправлялись на штурм Белухи шахтеры, рабочие, крестьяне, военные. Было развернуто целое соревнование за право участия в походе. В число избранных попадали лучшие ударники производства, сдавшие нормы ГТО. Был создан штаб альпиниады. В числе организаторов был и Юрий Замятин, чья фигура идеально подходила для этой экспедиции: врач, ученый, исследователь, отличный спортсмен, уже имеющий некоторый опыт горных восхождений.

Разведка показала, что условия восхождения чрезвычайно трудны. Грозы чередовались с туманами, путь проходил среди сплошного хаоса нагромождений льда, изорванного глубокими трещинами. Часть пути к вершине закрывалась густыми туманами, и тогда продвижение становилось совершенно невозможным. И это малая часть тех трудностей, которые встретились на пути разведывательной группы и которые предстояло преодолеть участникам альпиниады.

Восхождение на вершину запланировали провести двумя колоннами. На самом леднике было организовано 3 стана для ночевки участников. В этих станах содержалось продовольствие, дополнительное снаряжение, обувь, теплое белье, штурмовые костюмы, спальные мешки; было организовано медико-санитарное обслуживание, установлены научные приборы. В связи со сложными метеословиями были разработаны специальные высокогорные пайки.



Вид на Белуху.
Фото Ивана Моторина.
1935 г.



В ночь с пятого на шестое июля 1935 г. на штурм вершины выдвинулась первая группа численностью 40 человек. Альпинисты взяли восточную вершину Белухи, водрузили на ней бюст Сталина и знамя Ойротского обкома партии. Вообще, на седло Белухи, к ее главным вершинам, поднялись 83 человека, а штурм восточной вершины врачи разрешили совершить — по состоянию здоровья и самочувствию — 43 участникам. Все они достигли заветной цели и 8 июля бодрыми и здоровыми вернулись в лагерь. Среди стоявших на вершине был и врач Юрий Замятин, получивший за восхождение значок «Альпинист СССР» первой ступени.

Новосибирск встречал альпинистов как героев. По итогам экспедиции был сделан кинофильм и выпущена книга «Штурм Белухи», в которую вошла статья врача Замятина «Влияние восхождения на организм человека». Экспедиция, помимо собственно покорения вершины, собрала очень ценный научный материал о малоизученной местности. Альпиниада дала мощный толчок развитию горного туризма в Сибири. Многие люди увлеклись альпинизмом и сами познали, что «лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал», — за 30 лет до создания этой песни.

Война и мирные походы

Юрий Константинович Замятин, спустившись с гор, вновь окунулся в будничную врачебную, педагогическую и исследовательскую работу. Но мирным будням оставалось длиться уже недолго: в 1941-м грянула Великая война. И уже 23 июня Юрий Замятин, как врач-специалист, был мобилизован и направлен в распоряжение Новосибирского военного госпиталя, который вскоре стал принимать первых тяжелораненых бойцов. Помимо многочасовой работы в госпитале, прославленный лыжник и врач, по словам его ученика томича Дмитрия Владимировича Моравецкого (командир лыжных и пехотных батальонов на фронте), участвовал в подготовке воинов-лыжников для специальных сибирских батальонов, прославивших себя в годы Великой Отечественной.

На фронт Юрия Константиновича, вопреки его просьбам, не взяли, и для него линия фронта была в Новосибирске. Главной задачей для Замятина, старшего инструктора по лечебной физкультуре, было быстрое восстановление и возвращение раненых бойцов в строй. И с этой задачей опытный спортивный врач справлялся успешно. В марте 1943 г. Юрию Константиновичу было присвоено звание «майор медицинской службы». Награжден медалью «За победу над Германией».

После войны, пожалуй, самым важным делом для Замятина стала работа в спортивной медицине. Демобилизованный в декабре 1945 г., он был назначен заведующим городского физкультурного кабинета горздрави Новосибирска. По совместительству был преподавателем медицинских дисциплин техникума физической культуры. По сути, для него это было продолжение той работы в области спортивной медицины,



Георгий Замятин — преподаватель техникума физкультуры. 1947 г.



**Георгий Константинович
Замятин**

которой он занимался в 30-х гг. в краевом научно-исследовательском кабинете, в лыжных и горных экспедициях по Алтаю и при восхождениях на Белуху. С любимыми лыжами Юрий Константинович не расстался и после 50 лет.

Пожалуй, последний его яркий и запоминающийся спортивный старт состоялся в декабре 1954 г., когда в честь 30-летия первого лыжного перехода Томск — Новосибирск был организован особый, «гвардейский» можно сказать, поход. Дело в том, что «в бой пошли одни старики». В 240-километровый путь от Новосибирска до Томска отправились ветераны лыжного спорта, победители и призеры сибирских соревнований 20—30-х гг., участники первых лыжных переходов в Сибири. «Семерку отважных» возглавляли сам главный организатор Юрий Замятин

(56 лет) и командир перехода Алексей Гулида (47 лет), с ними отправились также Николай Чудинов (54 года), Сергей Цитович (50 лет), Борис Чарухин (54 года), Георгий Степанов (46 лет) и еще один врач, тоже лыжный чемпион 30-х гг., Виктор Баранов (47 лет). Как посчитали сами «гвардейцы», приплюсовав к годам месяцы-«хвостики», общий возраст участников перехода составил ровно 350 лет! По пути следования и после пробега оба врача, Замятин и Баранов, проводили тщательное обследование состояния здоровья всех лыжников, заполняли специальные карточки. И надо сказать, несмотря на непростой путь и 20-градусные морозы, «гвардейцы» сибирского спорта успешно преодолели все трудности.

Торжественный старт переходу был дан 5 декабря, в День Конституции СССР, на площади имени Сталина (ныне — Ленина), а финишировали ветераны-лыжники через неделю, 12 декабря, на площади Революции (ныне Новосибирская) в Томске. Как сообщала томская газета «Красное знамя», помимо митинга, приветственных речей и наград, «спортивная общественность Томска оказала своим старым друзьям теплую встречу». Еще бы! Ведь все семеро были бывшими жителями Томска, его гордостью и чемпионами!

В последние годы Юрий Константинович Замятин много занимался историей спорта Сибири. Он написал воспоминания об основателе сибирского спорта и физической культуры, знаменитом томском враче Владиславе Пируском, создавшем в 1895 г. третье во всей огромной Российской империи Общество содействия физическому развитию. Воспоминания были включены в сборник, посвященный 100-летию великого подвижника физической культуры.

В газетах Новосибирска в конце 50-х гг. начали появляться публикации по истории развития сибирского спорта, и одним из инициаторов этого был именно Замятин. Он выступал с различными докладами на эту тему. Об альпиниаде 1935 г. и штурме Белухи он собрал отличный альбом с фотографиями участника экспедиции, альпиниста и фотохудожника Ивана Моторина. А написанные Замятиным спортивная автобиография и статьи о дореволюционном спорте

в Сибири, о периоде становления «красного» спорта (1920—1924 гг.), о его дальнейшем развитии в Западной Сибири — просто пестрят жемчужинками интересных фактов и событий, которых не найти ни в редких газетных отчетах, ни в уцелевших архивных документах. Из уст самого участника, одного из главных действующих лиц эти рассказы о первых шагах спорта звучат особенно убедительно и впечатляюще.

Дальнейших планов у Юрия Константиновича было немало, и он собирался поведать читателям еще много интересного, однако старого спортсмена подкараулила внезапная смерть. Не выдержало сердце, бесперебойно стучавшее почти 66 лет. Врачи зафиксировали скоропостижную смерть от атеросклероза — коварной болезни, при которой люди еще незадолго до кончины чувствуют себя вполне здоровыми. Хотя и правду сказать — сердцу Юрия Замятина пришлось пережить немало: три войны, две революции, «эпоху извечного страха» во время репрессий 30-х гг. (с его происхождением «из семьи священнослужителей» и службой у Колчака!), потерю родных, предательство, уход близких людей. Много, многое было...

Проводить Юрия Константиновича в последний путь пришли многие. И пока были живы спортсмены старшего поколения и его ученики — имя Замятина было на слуху. Одно время даже проводились лыжные соревнования в его память и на именные призы знаменитого ветерана. Но пришла иная эпоха, другие герои, другие летописцы, и где-то эта ниточка памяти оборвалась. Следы рода Замятиных из сибирских священнослужителей, врачей, спортсменов занесены снегами былых и новых времен. И будет очень жаль, если судьба, дела и достижения великолепного спортсмена, «сибирского метеора» Юрия Замятина обратятся в пыль.

Родоначалник сибирского спорта, первым достигший всесоюзных высот, заслуживает самой благодарной памяти потомков, любителей спорта и новых героев, успешно штурмующих олимпийские пьедесталы. Наш очерк — малый кирпичик будущего памятника великому сибирскому спортсмену Юрию Константиновичу Замятину.



Александр ТИХОНОВ

ТАРА: НАВСТРЕЧУ ИСТОРИИ

Пожалуй, трудно найти в Сибири город, чья судьба была бы одновременно столь яркой и столь трагичной, как судьба города Тары, основанного в 1594 г. московским князем Андреем Елецким для защиты русских земель от набегов кочевников. История города — зеркало, а легенды — амальгама зеркала, которая и дает нам возможность всмотреться и почувствовать глубину веков...

Город-твердыня

Царским наказом Андрею Елецкому с отрядом служилых казаков было велено *«идти город ставить вверх Иртыша на Тару-реку, где бы государю было впредь прибыльнее, чтоб пашню завести и Кучума царя истеснить и соль завести...»*

Вот только местность, куда предписывалось прибыть Елецкому, оказалась крайне неудачной для заведения пашни и постройки крепости. Вопреки наказу царя, руководствуясь здравым смыслом, князь принял решение поставить город в более выигрешном месте, на берегу реки Аркарки, назвав его Тарой.

Как показали столетия бурной истории, выбор был сделан верный. Расположенная в стратегически правильном месте, на протяжении многих лет Тара отбивала набеги из сопредельных земель, став костью в горле для пограничных оседлых и кочевых народов.

Немало ходит легенд и досужих домыслов о том, существовал ли город в устье Тары. Чтобы выяснить это, на месте, где изначально планировалось строить крепость, в устье реки, были начаты археологические изыскания. Города там не нашли, однако в середине 90-х гг. прошлого века экспедиция под руководством омского историка Игоря Скандакова обнаружила в семи километрах от села Усть-Тара необычные курганы. Черепа захороненных там людей повергли опытных археологов в шок: они были яйцеобразной формы, вытянутые. Историки и археологи, любители мистики и конспирологии — заинтересовались все, о «яйцеголовых» не рассуждал разве что ленивый.

Начали появляться версии одна фантастичнее другой. По одной из них в курганах покоились гуманоиды, по другой — представители древней расы. Ученые расставили все на свои места, заявив, что людям искусственно меняли форму черепа, крепко перетягивая головы младенцев тканью в области висков. Теменная и затылочная части, таким образом, росли активнее. В семи из восьми обнаруженных захоронений были найдены останки женщин, и появилось предположение, что погребенные были жрицами, которых с младенчества готовили к некоей миссии, сжимая черепа для лучшего «ментального контакта» с потусторонним миром.

В районе урочища Мурлы было обнаружено свыше полудюжины мест, в разные времена использовавшихся местными жителями в качестве святилищ.

А вот в историческом центре археологи с каждым годом углубляются в культурный слой, с которым по сохранности может соперничать разве что Новгород. Раскопки в Таре начались сравнительно недавно — в 2007 г., а уже два археологических сезона спустя, в 2009-м, было обнаружено множество поразительных находок. Среди них большое количество кожаной обуви, датируемой XVII—XVIII веками и детская свистулька, в целости и сохранности пролежавшая в земле как минимум три века. Свистулька, к слову, и по сей день способна издавать трели. Найдены и курительные трубки. На вопросы горожан о том, что курили в Таре, археологи после недолгой заминки ответили: возможно, даже опиум, попадавший в Тару по Великому шелковому пути из Китая.

Уникальной находкой стал серебряный перстень с вставкой из плавленого янтаря. На перстне ученые обнаружили фамильный герб с латинскими буквами LW. Предполагается, что украшение принадлежало знатному поляку и было изготовлено в восемнадцатом веке. Однако находятся люди, готовые поверить, что хозяин перстня попал в Тару вместе с Андреем Елецким, прибывшим закладывать город. Еще столетие — и эта история вполне может стать легендой...

В раскопах, подтверждая ратное прошлое Тары, каждый год обнаруживаются остатки сгоревших изб разных веков, ядра и пули, основания крепостных башен. Одной из уникальных находок стала восьмигранная башня-раскат. Согласно первому описанию Тары, сделанному в 1624 г. Василием Тырковым, *«шесть башен — две глухие и четыре с проезжими воротами — высились между крепостных стен острога. В состав стены внутри крепости входило пять башен и одна передвижная восьмигранная башня-раскат»*. Археологи предположили, что обнаружили именно восьмерик с раскатом — верхней площадкой. С этой площадки пушки тарского гарнизона падали по отрядам Кучума и по осаждавшим город калмыкам. В пороховом дыму и грохоте город не покорился никому, отбивая набег многократно превосходящих сил противника. Православные считают, что Тару с момента ее основания оберегает икона Тихвинской Божией Матери, по легенде принесенная строителями Тары и бесследно исчезнувшая после революции.

Славу городу принес воевода Андрей Воейков, который 20 августа 1598 г., совершив восьмисоткилометровый бросок из Тары, обрушился с отрядом на полевою ставку Кучума, наголову разбив войска сибирского хана. Кучум бежал с поля боя, а русские погнались следом, да только хитрый лис сумел спастись. Жизнь сохранил, но потерял авторитет среди кочевых и оседлых племен Западной Сибири, которые спешно присягнули русскому царю.

В сражении у реки Ирмени тарчане отомстили за Ермака, добившись ошеломительного военного успеха. На месте сражения, недалеко от села Новопичугова Новосибирской области, до сей поры рассказывают легенду о синем коне. Якобы поздним вечером, когда над окрестностями стелется густой туман, с Обского моря (Новосибирское водохранилище) долетают звуки страшной битвы: грохот орудий, звон и лязг металла, леденящие кровь крики и ржание лошадей. А потом появляется синяя полупрозрачная фигура лошади. Она пронесится галопом, разрывая вязкий туман, срывая листву с деревьев. Безумный синий конь без седока, мчащийся прочь от страшной битвы.



У Алексея Константиновича Толстого в драме «Царь Борис» на первых же страницах появляются не иноземные послы или придворные, а прибывший к царю воевода Воейков. Он молвит:

Великий царь! Господь тебя услышал:
Твои враги разбиты в пух и прах!
Воейков я, твой Тарский воевода,
Тебе привезший радостную весть,
Что хан Кучум, свирепый царь сибирский,
На Русь восстать дерзнувший мятежом,
Бежал от нас в кровопролитной битве
И пал от рук ногайских мурз. Сибирь,
Твоей опять покорная державе,
Тебе навек всецело бьет челом!

Нам никогда не узнать, действительно ли Андрея Воейкова, героя своей эпохи, царь принимал раньше, чем иноземных послов, однако хочется в это верить.

В фундаментальном труде «История государства Российского» Николай Михайлович Карамзин писал: «Град Тарский служит неодолимой твердыней от всяких бывших кучумских гнусников». Так начала греметь по стране слава героического города, и Тару стали ассоциировать с воинской доблестью и негиблемостью духа.

Порой в иных газетных статьях, где нынешняя Тара показывается неприглядной и едва ли не отсталой, можно прочесть, что само слово «тара» тюркского происхождения и означает «болотистое, низменное место». Удобный довод для тех, кто привык искать в сибирском городе лишь негативное. «Тару назвали в честь болота», — самодовольно замечают они, не удосужившись заглянуть в топонимический словарь. А в словаре черным по белому значится, что, если и произошло название от тюркского «тар» (что не обязательно истинно — народов и наречий в здешних краях было намешано много), само слово «тар» значит «узкий» и относится к реке Таре, врезанной своим узким руслом в плоскость ландшафта. А «низкое, топкое место» именуется в тюркском языке «багно».

Однако есть еще одна, мистическая версия. Якобы река, а затем и город получили свое название в честь буддийской богини Тары. Простудировав индийские предания, приверженцы этой легенды уверяют, что Рама привел собственный народ на полуостров Индостан с территории Западной Сибири, где в глубокой древности стоял храм Ханумана. Мало того, жрецы Ханумана владели магическим кристаллом, что был ниспослан им из космоса. Кристалл способствовал духовному возвышению человечества.

В последние годы все больше приверженцев этой теории приезжают на берег реки Тары, в деревню Окунево Муромцевского района, где, по их мнению, сконцентрирована мистическая сила кристалла.

Город бунтовщиков

Жизнь легендарного города менялась с невообразимой быстротой. Границы русского государства сдвигались на восток, и прежде находившаяся на переднем крае обороны, выдержавшая множество осад Тарская крепость осталась в тылу. Население искало себя в торговле и промыслах. В 1599 г. неподалеку от Тары была заведена первая в Сибири «государева десятинная пашня», Тара активно снабжала солью население Западной Сибири, добывалась пушнина.

Так продолжалось до 1722 г., когда Петр I издал указ, согласно которому правящий император отныне мог по своей воле назначать наследника престола, преемника. Всех подданных надлежало немедленно привести к присяге еще не названному наследнику. По всей стране, то тут, то там, начали вспыхивать локальные бунты и волнения.

Вскоре новость о предстоящей присяге дошла до старообрядческих скитов, а оттуда, значительно дополненная, ставшая пугающим предзнаменованием бедствий, добралась до Тары. Возможно, это случилось прежде, чем пришло официальное указание из Тобольска.

Старообрядцы уверяли, что присягать неназванному наследнику — все равно что вверять себя тому, кто не имеет имени, не называет себя, а значит, присягать предлагается Антихристу. Испуганные такими умозаключениями тарчане присягать отказались. В отличие от большинства волнений этого периода протест поддержали и представители власти, уверенные в незыблемости авторитета старообрядцев.

Весть о назревающем бунте не на шутку встревожила Петра. Он усмотрел в тарском неповиновении угрозу устоям царской власти. Для усмирения бунта из Тобольска выдвинулся военный отряд из двух пехотных полков и двухсот татарских конников при поддержке артиллерии. Карательный рейд возглавил полковник Батасов, который 14 июня 1722 г., к полнейшей неожиданности жителей Тары, ворвался в город.

Историк Петр Словцов позже писал о происходящем: *«До тысячи человек, в деле замешанных, казнено. Не одна будто бы тысяча разослана по Сибири. По всем дорогам, выходящим из Тары, стоят большие деревянные кресты, по словам жителей, для молебствий, по словам же других, для напоминаний казней, тут свершившихся».*

Зачинщиков сажали на кол, обезглавливали, четвертовали. Такая участь была уготована более чем семистам жителям мятежного города. Рядовых участников бунта наказывали ударами кнута. Сотня ударов — мужчине, пятьдесят — женщине, после чего приводили полуживых тарчан к присяге и отправляли на вечную каторгу.

Далеким и страшным эхом Тарского бунта стали десятки самосожжений жителей скитов, в результате которых гибло иногда до шестисот человек. Историки замечают, что и много лет спустя в числе поджигателей бунтов были беглецы из Тары. Искры этого пожара позже помогли разгореться пугачевщине.

После смерти Петра I и восшествия на престол Екатерины I Сенат объявил амнистию оставшимся в живых участникам бунта, однако тобольские власти еще усерднее принялись искать и наказывать бунтовщиков. Преследование продолжалось и десятилетие спустя.

Говорят, что бунтовщики, казненные в Таре, похоронены на небольшом островке на реке Аркарке. Священнослужители и краеведы утверждают, что нужно как можно скорее отыскать останки людей, закопанных без надгробий. Некоторые уверяют, что в городе все «не слава богу» исключительно потому, что город проклят, пока не упокоены участники бунта. В том, что останки земляков необходимо отыскать и достойно перезахоронить, согласны все. Ранним утром, когда над Аркаркой рассеивается туман, можно увидеть, как ползут по речной глади тени от растущих на островке деревьев. Люди поговаривают, что это тянут руки к берегу жертвы бунта, да все никак не могут дотянуться. Вот уже триста лет...

Неуважительное отношение к памяти предков — одна из бед ныне живущих поколений. Например, заросший деревьями, мрачный парк на окраине, называемый Комсомольским парком, когда-то был старейшим в городе Тихвинским кладбищем. Веками на нем хоронили жителей Тары. Старики рассказывали краеведам, что лично видели каменные надгробия, семейные склепы богатейших купцов Сибири. Однако в советское время кладбище сровняли с землей, а местные жители растащили могильные плиты для хозяйственных нужд. Десятилетиями находили надгробия то в качестве фундамента крыльца, то вместо груза при засолке капусты в объемистых кадках. Жуткий, иррациональный разрыв с родовыми корнями и нравственными ориентирами.

Лишь в 2016 г. в парке начали проводить регулярные субботники, а краеведы, заручившись поддержкой археологов, отыскали фундамент Тихвинской кладбищенской церкви, поставили на ее месте деревянный крест и создали мемориальный комплекс.

После Тарского бунта ратные подвиги тарчан старательно вымарывались из победной летописи государства, богатая и трагическая история ждала своего часа, чтобы открыться далеким потомкам.

За какие-нибудь 10—15 лет Тара начала превращаться в ничем не примечательный провинциальный городок. Однако проложенный через город участок Московско-Сибирского тракта вновь вернул Тару в число значимых торговых и транспортных центров. Начало богатеть местное купечество. В 1782 г. Тара стала уездным городом Тобольской губернии, а в 1785 г. город высочайше пожалован гербом.

Город на тракте

Московско-Сибирский тракт — самая длинная дорога на земном шаре, тянущаяся от Москвы до Тихого океана на девять тысяч километров, — проходит через судьбу Тары красной нитью. На тракт, словно бусины, нанизаны важнейшие города: Владимир, Нижний Новгород, Казань, Пермь, Екатеринбург. Далее тракт шел через Сибирь, являясь основным путем, связывающим Зауралье с Европейской Россией.

С середины 1730-х гг. по приказу Анны Иоанновны началось строительство дороги из Тобольска в Тару. Приближенные императрицы считали подобную идею неразумной. Это было связано с тем, что дорога строилась не по кратчайшему пути вдоль Иртыша, а через тайгу и труднопроходимые топи.

Многие исследователи до сего дня задаются вопросом, почему Анна Иоанновна приняла решение строить дорогу именно этим путем. Возможно, императрица стремилась вернуть бунташной Таре прежнее значение, демонстрируя тем самым, что она готова принимать иные решения, нежели ее предшественники.

В 1735 г. было решено заселить Аевский волок. Добровольно обосновываться в болотистой местности никто не желал, тогда столичные власти решили населить волок ссыльными. Возникла цепь поселений: Аевский Волок, Верхаяевка, Решетино, Становка, Форпост.

Окончательно участок Тобольск — Тара был обустроен в 1745 г., а через город проходил по одной из старейших улиц — Никольской, где в 1771—1774 гг. был возведен величественный Николаевский (Никольский) собор.

Общая высота храма составила двадцать пять метров, а на колокольне установили шесть колоколов, самый большой из которых весил свыше двух тонн.



Никольский собор

Это был красивейший храм Тары, один из наиболее значительных в Сибири, однако в 1938—1940 гг. собор был разобран на кирпичи, из которых затем построили здание педучилища. Из шести красивейших белокаменных храмов Тары уцелел лишь Спасский. И сейчас, когда в ясную погоду на Спасском кафедральном соборе звонит колокол, эхо множит его звон и кажется, будто колоколят все шесть храмов.

Уже в начале XIX в. четырехсотверстная дорога от Тобольска до Тары входила в разряд «главных почтовых дорог», как было указано на «Дорожной Карте Российской Империи». Путешествуя по тракту, в Таре побывал ученый Петер Симон Паллас, художник Знаменский.

Известны воспоминания Александра Николаевича Радищева, написанные им в 1791 г. по пути в илимскую ссылку: *«Подъезжая к Таре и по ту сторону Тары при въезде многих деревень стоят деревянные кресты. Город Тара стоит половина на пригорке, половина внизу, примкнув одним углом к Иртышу. В Таре промышляют кожевенным мастерством, кузнечным. Торгуют салом в Петербург, на линию, с киргизами»*. Спустя шесть лет, в 1797 г., он метался по Таре в поисках лекаря для тяжелобольной супруги Елизаветы Васильевны, простудившейся на обратном пути из ссылки. Лекаря не нашел, помчался в Тобольск, но спасти супругу не смог. О такой Таре Радищев не писал никогда...

Как бы ни меняла история облик города, печать пристанища ссыльных и бунтовщиков неотступно преследовала Тару веками. В Тару были сосланы: видный деятель Северного тайного общества В. И. Штейнгель, революционер-народник, историк и этнограф С. П. Шевцов, народоволец В. П. Перовский, революционный агитатор В. С. Любатович и др.

Неспокойный город

Некоторые ссыльные активно участвовали в общественной жизни города (например, Перовский выступал против бесчинства полиции), однако в большинстве случаев скорее действия ссыльных угрожали безопасности горожан. Так, Карл Мокрицкий не являлся на церковные службы и вообще вел себя не-



подобающим образом, агрессивно реагируя на любые попытки священнослужителей его вразумить, чем вызвал появление «Дела об увещевании бывшего палача Минского тюремного замка, ссыльного Тарской округи К. Мокрицкого об исполнении им Христианских обязанностей». Ярким примером может служить также рапорт, направленный 3 февраля 1912 г. уездным исправником по секретной части в адрес тобольского губернатора. Из текста рапорта явствует, какие нравы царили в городе той поры и каково было отношение к ссыльным.

25 января Тарским купцом Николаем Кирилловичем Машинским доставлено мне адресованное на его имя и полученное в тот же день по городской почте анонимное письмо, на конверте которого имеется отпечаток штампа почтовой конторы 24 января.

В письме этом неизвестное лицо предлагает Машинскому положить вечером 24-го января 300 рублей под левый угол крыльца его магазина, находящегося на Базарной площади. Хотя указанный в письме срок и истек, тем не менее мной было сделано распоряжение иметь строгое наблюдение за людьми, проходившими ночами мимо сказанного магазина, но наблюдение это оказалось безрезультатным.

31 января тем же купцом Машинским было получено другое анонимное письмо, писанное одной и той же рукою, которым вновь предлагалось Машинскому положить ту же сумму на Зеленой улице у фонарного столба близ дома Лобанова с предупреждением, что если не будет этого выполнено, то он будет убит.

Я распорядился установить в указанную ночь засаду из переодетых городских полицейских служителей на предмет задержания злоумышленников, а Машинскому предложил часов в семь вечера проехать этой улицей и положить какой-либо тючок на указанное в письме место. Машинским предложение мое было исполнено, но когда он положил в указанное место тючок, то это заметила проходившая мимо женщина и сказала об этом живущему в соседстве еврею Зильберману. Последний поднял и разорвал этот тючок, бросил его на то же место.

Таким образом, положенное было поднято не тем лицом, для которого предназначалось. В тот же вечер поставленный по Зеленой улице для наблюдения за проходившими подозрительными личностями городской полицейский служитель Лешков повстречал неизвестного человека, который, приблизившись к нему, спросил: «Кто такой?» Посторонившись от него, городской прошел мимо, но неизвестный ускорил шаг и вплотную подошел к городовому, тогда последний вынужден был оттолкнуть его от себя.

В этот момент появившаяся недалеко женщина крикнула неизвестному: «Бей, это полицейский!» Тогда мужчина подскочил к городовому и нанес ему ножом легкую рану в левый бок и, совершив это, скрылся, оставив на месте преступления шапку. При розысках вскоре был задержан в соседнем с местом происшествия доме Тарский мещанин из ссыльных Константин Томашевский, которого Лешков признал за личность, нанесшую ему ранение. Обвиняемый задержан.

Донося о вышеизложенном, докладываю Вашему Превосходительству, что дознание по этому делу производится, нанесенная Лешкову рана не угрожает опасностью для жизни.

Подсчитано, что на рубеже XIX—XX вв. по Московско-Сибирскому тракту ежегодно проходило около ста тысяч подвод, проезжали десятки тысяч ямщиков. Столь внушительные цифры не удивляют, если учесть, что в обозначенное время из Сибири активно везли золото, пушнину, металлы, мед, воск и другие богатства Зауралья, китайские товары, а из центральных губерний в Сибирь следовали многие тысячи переселенцев. Часть из них прошла через Тару, повлияв на жизнь горожан.

Город богатейших купцов

Ставший крупной торговой площадкой город рос и креп. Позже, со строительством Транссибирской железной дороги Тара потеряла свое значение, но в XIX в. она считалась одним из ключевых городов Сибири. Стремительно богатели и становились миллионерами тарские купцы. Фамилии Немчинова, Нерпина, Пятковых, Айтыкиных звучали повсеместно. На средства купцов строились храмы и школы, назначались стипендии учителям. Пароходовладелец Александр Федорович Коншин открыл в Таре частную школу, которую так и называли — «коншинская».

Знаменита своей благотворительной деятельностью фамилия Нерпиных. На средства этой семьи в Таре было построено три церкви. В 1812 г. Иван Федорович Нерпин внес самый большой в Сибири денежный вклад в войну с наполеоновской Францией, за что был награжден памятной медалью на Аннинской ленте. В Таре сохранился белокаменный дом, построенный им в 1796 г. Это первое частное каменное строение на территории современной Омской области было куплено Я. А. Немчиновым для дочери, Елизаветы Яковлевны Пятковой, у наследников Нерпина. После смерти мужа Елизавета Яковлевна отдала дом под городскую больницу. При этом Пяткова дала наказ «не размещать ни в доме, ни в иных постройках других учреждений, кроме больничных». Наказ соблюдается по сей день: здание занимает медицинский колледж.

Знаменита благотворительностью и семья Айтыкиных, перебравшаяся в Тару из Средней Азии. Их предок Нияс Айтыкин открыл короткий караванный путь от Омска до Коканда. Айтыкины вели торговлю в Кульдже, Кяхте, выполняли государственные заказы, и в 1862 г. им было присвоено звание почетных граждан города Тары. На средства купцов открыта школа для мусульманских детей. В Тюмени на деньги Айтыкиных были построены пароходы «Работник» и «Тара». Они курсировали по маршруту Тюмень — Тобольск — Тара — Павлодар, благодаря чему о купеческом семействе знали по всей Сибири. Говорят, что род Айтыкиных вел начало от Дина Али Ходжи из Ургенча, потомка бухарского суфия Саида Ата, обратившего в ислам властителя Золотой Орды Узбек-хана. Если верить исследователям, в родстве они и с пророком Мухаммедом, и с Чингисханом.



Бывший дом Нерпина



Представитель купеческого рода Машинских, Николай Николаевич, ставший одним из учредителей Тарской городской общественной библиотеки, в 1894 г. был избран ответственным библиотекарем на общественных началах. Для одного из крупнейших купцов Сибири это было важно, ведь в то время считалось почетным служить городу, и купцы стремились исполнить свой долг, попутно, чего уж лукавить, войдя в историю города. Отчасти именно поэтому активно выделялись деньги на церкви, поддерживались городские учреждения: богатство и процветание города — всегда показатель того, какие люди в нем живут.

В 1871 г. городской староста Айтыкин настоял, чтобы в городе установили телеграф, мотивируя это тем, что местные купцы вели международную торговлю и телеграф им необходим. Первая телеграмма была отправлена 16 октября 1871 г.: *«Сего числа после молебства открыт телеграф. Об этом событии имею честь донести Вашему Высокопревосходительству. Городской староста Айтыкин».*

В ногу с прогрессом предпринимательства шел и Яков Юльевич Рамм. Его метод взаимодействия с клиентами известен сейчас любим крупным торговым центрам, где вперемежку с магазинчиками расположены уютные зоны для отдыха с креслами и столиками. Разомлевшие покупатели, отдохнув немного, наверняка захотят купить что-нибудь еще. Так же рассудил и Яков Рамм, хозяин магазина, где продавались ткани европейских фирм, фурнитура и галантерея. *«Посидите, может, еще чего купите»*, — с такими словами обращались в лавке к покупателям, принося им стул, если те делали покупку более чем на 3 рубля. И ведь наверняка покупали.

Город и его подземелья

Не удивительно, что большая часть легенд Тары связана именно с купеческими особняками и их хозяевами. История и мистика здесь настолько переплетены, что порой не различить, где вымысел, а где реальность.

Так, например, долгое время считались легендарными подземные ходы, якобы уводящие прочь от купеческих домов. С годами подземелья Тары начали приоткрывать свои тайны. Один из подземных ходов обнаружили на территории Тарской центральной районной больницы, где когда-то располагались казенные винные склады.

Краеведу и журналисту Сергею Алферову удалось побеседовать с человеком, работавшим в больнице полвека назад. Электрик Владимир Козюра вспомнил, что в одном из подвальных помещений обнаружил лестницу, ведущую в еще один подвал, в котором оказалось несколько дверей. *«Одну из них нам пришлось открыть, — записал Алферов слова рассказчика. — Это оказался подземный ход, уходящий в сторону магазина № 17. Мы рискнули туда войти. Свечи от недостатка кислорода гасли. Взяли фонарики. Прошли пару сотен метров. Сгибаться не было нужды: сводчатые потолки, выложенные из кирпича, были выше роста человека. Когда дышать стало невыносимо тяжело, поспешили назад. Как только начальство узнало о подземном коридоре, его в течение нескольких дней засыпали».*

Говорят, что на складах арендовавший их купец Щербаков хранил легкие вина и водку. Товар в основном местный, с винокуренного завода. Возможно, были и неучтенные партии алкоголя, для которых и предназначались подземные хранилища. На эти мысли наводит странное соседство фамилии Щербаковых и сведений о различных подземельях. Одно из таких обнаружили на месте, где прежде располагался дом купца А. И. Щербакова. Правда, власти поспешили

засыпать находку, прежде чем любопытные жители города пробрались в под-земелья, где могли задохнуться или покалечиться.

Другое подземелье находилось в трехэтажном немчиновском особняке, в подгорной части Тары. Там, на болотистом месте, возведение и двухэтажного дома было безрассудством, а уж три этажа и вовсе выстроить казалось невозможным. Существует легенда, что постройка дома стала результатом спора между Яковом Немчиновым и купцом Нерпиным, в результате которого не любивший проигрывать Немчинов пообещал выстроить трехэтажный особняк и обещание свое сдержал. Правда, жили купцы в разное время и никак не могли спорить о строительстве дома. Однако вне зависимости от причин, побудивших Якова Андреевича выбрать столь странное место для постройки, дом стоит до сих пор. Говорят, в его фундаменте — огромные листовенничные кряжи, а при строительстве были использованы самые передовые технологии того времени. На протяжении десятилетий «немчиновский дом» удивлял тарчан, особенно после того, как открыли вход в подземный тоннель с сухими стенами, хотя за долгие годы подземелье должно было заполниться водой и разрушиться. Современные строители признаются, что не имеют представления, как был сооружен подземный ход в болотистом месте, да еще с трехэтажной машиной над ним. Подобный инженерный проект и сегодня сложен, что уж говорить о временах Немчинова. Учитывая это, легенды о потайных ходах, имеющихся в стенах «немчиновского дома», толщина которых достигает четырех метров, не кажутся вымыслом. Как и рассказы о том, что особняк связан сетью подземелий с верхней частью города и противоположным берегом Иртыша.

Часть тоннелей, как только их обнаруживали, засыпали, закладывали кирпичом, иные ждут своего часа, чтобы открыться любопытствующим. Однако прежде их предстоит исследовать. Любители загадок уверяют, что в подземельях Тары может скрываться часть золота Колчака или ценности храмов Тобольской епархии.

Город талантливых и предприимчивых

Помимо немчиновского особняка, выделяется архитектурной мощью дом купца Константина Васильевича Балькова, построенный в центре города из кирпича местного производства. Выходец из крестьянской семьи, переселившийся в Сибирь из Владимирской губернии, К. В. Бальков окончил приходскую школу, поступил на службу порученцем, затем приказчиком к купцу Н. К. Машинскому и с годами сам стал одним из богатейших купцов Тары. В первые годы XX в. являлся коммерческим агентом мануфактурного товарищества «Саввы Морозова сын и К^о», был директором городского общественного банка, организовал Общество взаимного кредита.

Славился своим состоянием и В. И. Серебренников, правда, зачастую богатство Серебренникова объясняют удачной женитьбой на сестре Якова Андреевича Немчинова, крупнейшего золотопромышленника и чаоторговца Сибири.

Ходит легенда, что Серебренников всегда мечтал стать пароходовладельцем, но у него долго не получалось купить пароход. Более удачливые купцы посоветовали не экономить на благотворительности. Дескать, Господь видит тех, кто скуп в благих делах, вот и не дает разбогатеть. Стоило Серебренникову расширить благотворительную деятельность, как удача ему улыбнулась: с помощью Я. А. Немчинова в 1860-х гг. он приобрел пароход «Ольга», мужья всех его дочерей также стали впоследствии пароходовладельцами.



Дом купца Балыкова

Другой купец, Яков Васильевич Орлов, начинавший приказчиком у купцов Волковых, впоследствии приобрел у них дом, когда Волковы перебрались в Омск. Вскоре Орлов владел уже несколькими магазинами. Возле крыльца его дома стояло чучело медведя, и Орлов частенько рассказывал гостям, как самолично застрелил медведя на охоте. В советское и постсоветское время, когда ночами в музее дежурили сторожа, мерещилось всякое. Сторожа рассказывали, будто по комнатам ночью бродила фигура пожилого человека в костюме. Человек подходил к выставочным витринам, рассматривал экспонаты. Все как один уверяли, что это не кто иной, как Яков Орлов. Говорят и о странностях, связанных с чучелом медведя. Якобы стоит вечером встать спиной к медведю — и можно услышать, как цокают когти, словно хищник ступает по полу. Обернетесь — медведь на месте, все так же держит лапы, готовый принять пальто гостя...

Не миновала предприимчивость тарчан и сферу развлечений. Знали о тяге людей к зрелищам Леонид Александрович Корилов-Михайлов и его супруга Александра Николаевна. Во дворе своей усадьбы они построили одноэтажное холодное помещение под синематограф «Люкс», где горожане смотрели немые фильмы, сопровождавшиеся игрой на фортепьяно. Кстати, в кинотеатрах того времени в Таре можно было заплатить половину стоимости билета и посмотреть фильм с обратной стороны экрана.

* * *

С течением лет город обрастает легендами. Каждый купеческий дом из тех, что выстроились в ряд вдоль Московско-Сибирского тракта, хранит свои тайны, о которых можно рассказывать часами. Каждый год в более чем четырехвековой истории Тары богат на события: визит в Тару цесаревича, будущего императора Николая II, партизанское движение Артема Избышева, эвакуация в Тару Второй Ленинградской военно-морской спецшколы и многое, многое другое... Всего не перечесать.

Четыре века бурной и яркой истории пролетели как один миг. Еще вчера Андрей Елецкий собирался «идти город ставить вверх Иртыша на Тару-реку», и вот уже гремят по трассе Тара — Омск большегрузы с местным лесом. Сама история здесь, в сибирской глубинке, видится иначе. Тягучее и сладкое, как мед, время, которое пробуешь на вкус понемногу, по крупицам, по эпизодам, по датам...

Михаил ХЛЕБНИКОВ

«БУДУ ЖИТЬ И ЕСТЬ ОКРОШКУ»

О дневниках А. К. Гладкова

Читатели со стажем помнят парадоксальную ситуацию, внезапно возникшую в журнальной жизни нашей страны в начале девяностых годов прошлого века. Тогда журналы разной политической и эстетической направленности (от «Нового мира» и «Звезды» до «Нашего современника») почти синхронно из номера в номер начали печатать «всего Солженицына». Явление это имело два взаимосвязанных итога: оформление окончательного крушения политической и художественной цензуры и начало крушения «феномена Солженицына», писательский авторитет которого долгие годы определялся исключительно наличием самой фигуры Александра Исаевича, безотносительно к его многочисленным сочинениям, практически неведомым советскому читателю. А что было нелегально доступно избранному кругу — то по умолчанию становилось объектом истового поклонения, а если и получало сколько-нибудь критическую оценку, то в форме: «великий писатель ищет себя», «Толстой тоже ошибался».

Четверть века спустя мы снова наблюдаем схожую ситуацию в отечественной словесности. Речь идет о публикации дневников А. К. Гладкова, с которыми читатель познакомился в трех номерах «Нового мира» за 2014 г. Уже в следующем году эстафету подхватывает «Звезда» и «Знамя», в 2016 г. к кампании присоединяется «Нева». Однако это неординарное событие в литературной жизни последних трех лет не находит адекватного отраже-

ния ни в умах читательской публики, ни в профессиональном критическом сообществе. Со сдержанными, можно сказать дежурными, откликами выступили С. Боровиков и К. Богомолов. Но и у обоих маститых критиков прослеживается странное, несколько двойственное отношение к предмету. С. Боровиков («Знамя», 2016, № 10), говоря о публикации дневников Гладкова, утверждает их «общественно-сенсационное значение», старательно избегая при этом какой-либо детальной аргументации. К. Богомолов («Урал», 2016, № 6) практически побуквенно опровергает смелое суждение своего коллеги: «...массированная публикация дневников Гладкова не наделала шума, не привлекла всеобщего внимания к персоне летописца». Впрочем, причиной тому является, по мнению автора, неудачное маркетинговое решение: «Нынче мало кто дочитает до середины архивных записей, разметавшихся по двум десяткам журнальных книжек». В случае же издания дневников в отдельном томе их ждет несомненный успех в силу «наваристости» (определение Богомолова) текста.

Об особенностях приготовления и составе «блюда» Гладкова мы скажем далее, а прежде, развивая предложенную Богомоловым метафору, следует напомнить о классических рецептах такого непростого блюда, как писательский дневник.

Жанр писательского дневника позволяет не только раскрыть «литературную

кухню»: вызревание и развитие замысла, выбор той или иной сюжетной линии, трансформацию героев и характеров. Он может приобрести самостоятельное значение, со временем затмив основной корпус авторских сочинений. Как правило, у этого эффекта есть два объяснения и причины. Первая заключается в том, что писатель именно в дневнике достигает высшей точки своего развития, найдя в нем органичную форму для выражения своего дарования. Ярким примером того служит судьба французского писателя Жюль Ренара. Будучи выходцем из крестьянской мелкобуржуазной среды, он в конце позапрошлого века получает определенную известность как автор рассказов и повестей о жизни французского провинциального ада и его обитателей. Отношение Ренара к последним можно представить из названия его не опубликованной при жизни повести «Мокрицы». Самая его известная прижизненная книга «Рыжик» — автобиографическая повесть о ребенке, вступившем в конфликт с собственной семьей и окружением, пытающимися «приручить» его, сделав послушной часть того мира, о котором писатель с горечью сказал: «Стендалю казалось, что он задыхается от буржуазной ограниченности. Побывал бы он у нас в Кламси!» После издания «Рыжика» Ренар отходит от писательства, увлекшись политической деятельностью. Он симпатизирует левым партиям Франции, участвует в реальном политическом процессе, избирается мэром своего родного города Шитри-ле-Мина. Умирает он за четыре года до начала Первой мировой войны практически забытым. И без того небольшая его известность была вроде бы окончательно погребена под обломками рухнувшей европейской цивилизации.

Ситуация кардинальным образом изменилась в середине двадцатых годов, когда были опубликованы дневники Ренара, фактически открывшие читателю нового автора, величина которого была несоизмеримой с его прижизненной репутацией. Недостатки жанровой прозы Ренара — фрагментарность, импрессионистская не-

досказанность, зачастую сюжетное провисание — обернулись сильными сторонами дневника. Ренар преодолевает мучившую его дистанцию между автором и героем, поймав ритм своей настоящей прозы. Внешняя формальная необязательность дневниковой записи усиливает эффект выражения свободной, но в то же время до блеска отточенной мысли. Свое чувство при написании дневника Ренар описывает следующим образом: «Писать — это особый способ разговаривать: говоришь, и никто тебя не перебивает». «Перебивание», мешавшее писателю, — это заведомое присутствие читателя, который незримо, почти незаметно, но влияет на автора, заставляя его идти на компромиссы. Писатель иронически обыгрывает эту зависимость: «Какой-то безволосый господинчик все время говорит со мной о моей книге. Каким несносным болтуном показался бы он мне, если бы говорил о чем-нибудь постороннем!» В «Дневнике» Ренар освободился от необходимости слушать своего безвестного почитателя, создав текст, предназначенный изначально только для себя, но обретший благодарного, настоящего читателя именно в силу установки на автономность речи.

Вторая причина, по которой дневники приобретают самостоятельное читательское значение, связана с возможным пересмотром сложившегося литературного канона в отношении их создателя. Дневники могут раскрыть своего автора с необычной, даже шокирующей стороны. Такой эффект произвел опубликованный в середине девяностых дневник Ю. Нагибина. У писателя была вполне устоявшаяся репутация тихого лирика тургеневского толка, воспевавшего неброские красоты русской природы. Кроме этого, он «без нажима», «культурно» писал биографии выдающихся личностей: от протопопа Аввакума до Чайковского. Чистое и благородное занятие. Вышедший незадолго до смерти писателя «Дневник», который он сам подготовил к печати, заставил не просто изменить взгляд на автора, а открыл нового Нагибина, не имеющего ничего общего с «хрустом

морозной лыжни» и «Вальсом цветов». И дело вовсе не в антисоветских взглядах Нагибина, которые никого уже не могли тогда приятно удивить, а следовательно, не вызывали и читательского интереса.

Оказалось, что автор ненавидит не только и не столько советскую власть, злых и темных коммунистов («преторианцев», согласно нагибинской стилистике), а также конкурентов, которых никто, собственно, любить и не обязан, а людей как таковых. Нагибин подал себя как истеричного и тотального мизантропа, принципиально не поднимающего взора от того, что Бахтин назвал «материально-телесным низом». Пушкинские дни в Михайловском для него имеют единственно возможное измерение — количество экскрементов, вывезенных после «праздника». С несвойственной для лирика точностью обозначается цифра. Естественно, в тоннах. Данная субстанция и становится основным способом понимания людей, их поступков и формально высоких движений.

Персонажи «Дневника» относятся к разным социальным и профессиональным слоям и группам: писатели-шестидесятники, партийные работники, актеры, редакторы, многочисленные жены (можно смело выделить в особую социальную группу), литературные критики и просто знакомые. Разница между ними состоит лишь в количестве произведенного продукта. Его может быть больше или меньше, но его не может не быть. «Дневник» стал нешуточным потрясением для читающей российской публики, для которой Нагибин хотя и «не ходил в гениях» (автор с болью не единожды писал об этом, размышляя о неблагодарности плебса), но уверенно «следовал традициям русской литературы». «Дневник» показал, что публика ошибалась и у Нагибина есть свое оригинальное место в отечественной словесности.

Возвращаясь к дневникам А. К. Гладкова, безусловно, необходимо сказать несколько слов об их авторе. Широкой публике он известен опосредованно, по фильму Э. Рязанова «Гусарская баллада», литературной основой которого

служит пьеса Гладкова «Давным-давно». До пьесы, написанной в 1940 г., летописец вел жизнь «театрального человека». В двадцатые годы — столичная театральная журналистика, с последующим быстрым обростанием нужными связями и знакомствами. «Повышенная коммуникабельность» — одна из основных черт характера Гладкова — становится источником большинства его достижений, как, впрочем, и провалов. В тридцатые годы он начинает работать в научно-исследовательской лаборатории Государственного театра им. Мейерхольда, выполняя «широкий спектр работ». Ц. Кин — многолетняя соседка и подруга Гладкова, говоря о том периоде его жизни, отмечает, что «его функции в театре не ограничивались формальным пониманием должностных обязанностей, круг его интересов был достаточно широк». Необходимо пояснить, что под неформальным «пониманием должностных обязанностей» скрываются достаточно простые вещи. М. Михеев, публикатор корпуса дневников, достаточно точно раскрывает их содержание. Гладков с азартом подключается к театральной клановой борьбе. Своей мишенью молодой интриган избирает супругу «дорогого учителя» — З. Н. Райх. Итог многоходовки был предопределен — поспешный уход Гладкова из коллектива, что в итоге и помогло автору дневника безболезненно перенести разгром театра Мейерхольда, оставаясь при этом «верным учеником» расстрелянного режиссера. По крайней мере, сам Гладков, опуская «детали», станет так называть себя в будущем — в годы подъема интереса к теме репрессий и «культурным поискам 20—30-х гг.», когда роль соратника Мейерхольда будет обещать определенный профит.

Будучи отлучен от театра, Гладков и написал свое самое известное произведение — героическую комедию в стихах «Давным-давно», поставленную впервые в ноябре 1941 г. в уже осажденном Ленинграде. Далее автор пишет на злобу дня «драматические этюды»: «Неизвестный матрос», «Новейший метод».

В 1948 г. Гладкова арестовывают. Сам автор дневника дает несколько объяснений своего заключения. По одной версии, он был репрессирован за хранение антисоветской литературы, по другой — от него требовали отречения от учителя, то есть Мейерхольда. Последнее представляется крайне сомнительным, учитывая то, что свое гипотетическое ученичество Гладков в то время как публично, так и в своих драматургических опытах не демонстрировал. Версия с хранением антисоветской литературы представляется более близкой к реальности, но с некоторым дополнением. Будучи большим любителем книг, Гладков, по свидетельству Э. Рязанова — его соавтора по сценарию «Гусарской баллады», не раз попадался на кражах малодоступных изданий, в том числе из фондов Ленинской библиотеки. Среди «приобретений» отчаянного библиофила могли оказаться и книги, подпадавшие под условное определение «антисоветские».

В застенках ГУЛАГа Гладков не отвлекается от своих увлечений, работая «по специальности» в лагерном театре.

После обретения свободы в 1954 г. Гладков ведет жизнь «вольного художника», чему поспособствовал фильм Рязанова, ставший сверхпопулярным. Нужно признать, что Гладков не бросился «ковать железо», писал редко и необязательно, предпочитая факультативные жанры: воспоминания, биографию Мейерхольда, выходящую кусками, которую он в конечном счете так и не сумел закончить.

Его дневники являются исключением в творческой практике, они писались с юности до последних дней автора. С несвойственным для себя педантизмом Гладков хранил свои дневниковые записи, переплетал отдельные тетради, успел перепечатать часть дневника, считая его главным произведением своей жизни. Опубликованное относится к 60—70-м гг., когда жизнь и быт Гладкова устоялись, приобретя ритм и распорядок среднего представителя советской литературы вегетарианского периода.

Самое главное впечатление от опубликованной части дневника — чувство

необыкновенного, гармоничного приятия Гладковым самого себя, своего положения и окружающего его мира. В записях 1966 г. есть симптоматичное неодобрительное замечание автора по поводу высказывания Пастернака о «трагизме» как необходимом элементе жизни. Автор не случайно закавычивает «трагизм», не видя основания для связи его с литературой и писательской судьбой.

По всем формальным признакам и мазохистским канонам русской литературы Гладков должен был испытывать чувство нереализованности, недописанности, невозможности найти последнее точное слово и донести его до читателя. Это следует хотя бы из «отраженного» характера известности Гладкова, завязанной исключительно на рязановской экранизации его пьесы, которая ко времени выхода фильма медленно, но неотвратимо сходила с театральных подмостков. Более того, автор чистосердечно признается: «Первый вариант сценария писал я один (кстати, он у меня сохранился). Но он оказался длинен и Рязанов по нему стал писать второй вариант. Но многое осталось из моего варианта».

Для большинства писателей это «многое осталось» стало бы признанием творческого поражения, краха — чувств, которых Гладков явно не испытывает. Тот факт, что его самое известное произведение принадлежит его перу лишь в какой-то части, не смущает автора. Это в начале знакомства с дневником можно принять за авторскую скромность, осознание своего факультативного положения в русской литературе.

Но дневники фиксируют крайнюю степень самодовольства и готовности Гладкова принять тяжкий груз гипотетического успеха, в котором автор не сомневается: «Успех моей ходящей по рукам книги все возрастает. Капризный и злоязычный Мацкин хвалил меня без удержу». Какой же может быть «трагизм» на фоне возрастающего успеха, подкрепленного признанием Мацкина? Фиксирует дневник и неумеренные похвалы Гладкову со стороны литературных знаменитостей тех лет. Обычно осторож-

ные в своих оценках — благодаря приобретенному историческому опыту выживания — «классики», по словам Гладкова, не скупятся на похвалы: «В ночь на 2-е В. Ф. [Панова] дочитала мою рукопись о Мейерхольде и утром перед отъездом снова горячо мне ее хвалила, сказав, что этой книге “обеспечен мировой успех”. Она считает ее сильной стороной — соединение рассказа-воспоминаний с анализом и размышлениями».

Знакомство с текстом дневника заставляет задуматься над тем, что имела в виду ироничная Панова под «анализом и размышлениями».

К написанным им словам Гладков испытывает какую-то почти физическую нежность. Ощущения от книги воспоминаний о Пастернаке он передает следующим образом: «Вчера, когда я взял в руки книжку, у меня стеснилось в груди и стало больно сердцу. Не метафорически, а буквально, физически. Записываю это, чтобы не забыть».

Почему-то вызывает сомнение вероятность подобного провала в памяти автора. Гладков проявляет трогательную заботу о своем творчестве, всерьез рассчитывая на неизбежный интерес благодарного потомства: «Надо перепечатать лагерные стихи, и пусть лежит в архиве еще одна готовая рукопись». Чувствуется серьезная подготовка к встрече с вечностью. Не забывает автор не без кокетливого пафоса рассказать о «муках творчества», которые положены каждому крупному таланту: «Писать пьесы? Какие? О чем? Обычно мои замыслы созревают десятилетиями».

Гладков щедро делится плодами многолетних замыслов с окружающими, как правило, проявляя в этом инициативность и напор, рассчитывая на беспристрастную, но высокую оценку. Иные варианты реакции приводят его в замешательство: «Я подарил Леве свои “100 стихотворений”. Прошло более двух недель, и он не нашел нужным что-то написать или сказать мне. Даже если ему нечего сказать, все равно надо было как-то сообщить об

этом. Зачем я это сделал — сам не знаю. Уже жалею».

Куда более хлесткие упреки адресуются тем, кто, например, высказывал сомнение в авторстве «Давным-давно». «Дерьмо с ученой степенью», — в сердцах записывает Гладков. Но природный оптимизм побеждает минутное душевное смятение, и автор вновь торопится зафиксировать любое комплиментарное высказывание в свой адрес.

В этом отношении Гладков представляется образцовым советским писателем, несмотря на все его внешнее «диссидентство». Говоря о «советскости», мы имеем в виду пресловутый оптимизм, о котором так любили писать советские же критики. «Жизнеутверждающий оптимизм» Гладкова имеет не мировоззренческий характер, но вырастает из особенностей его характера — той самой невозможности увидеть и принять трагическое, о которой мы говорили. Это прослеживается и в личной жизни автора. О ней он пишет настолько подробно, что заставляет публикатора выступать в роли цензора, чего бы сам Гладков явно не одобрил. Но даже из доступного читателю текста многое становится ясно. Вот как описывает Гладков расставание со своей многолетней подругой: «Какое-то внутреннее напряжение. Она уедет послезавтра ночью. Мне будет грустно, но я не умру. Буду жить и есть крошку».

«Окрошечное» замечание — не стилизация под Розанова, но выражение сущности личности Гладкова, для которой сфера чувственного, осязаемого и есть единственно возможная реальность. Страдания — эфемерны, «окрошка» — навсегда. В этом отношении дневники закономерно лишены внутреннего авторского движения. Гладков растворяется в перечислении стертых примет быта, которые уничтожат своего хроникера. Нагибин со своей истеричной мизантропией смотрит на фоне дневников Гладкова фигурой эпохи Возрождения.

Самое интересное, что Гладков любит упрекать в мелкотемье коллег по мемуарному жанру. Характерен его от-

звон на воспоминания Н. Мандельштам: «Прочитал “Вторую книгу” Н. Я. Мандельштам. Очень смутное и двойственное впечатление. Наряду с блестящими страницами полно мелких сплетен, вранья, инсинуаций». Нужно признать, что «двойственного впечатления» дневники Гладкова не вызывают в силу тотального доминирования в них обозначенных «мелких сплетен, вранья, инсинуаций». Автор подробно, несколько занудно воспроизводит все доходящие до него слухи. Иногда в силу дефицита последних Гладкову приходится замещать их пересказом сообщений «радиоголосов», прилежным слушателем которых он являлся долгие годы. Степень достоверности «радиосенсацій» зачастую вызывает законные сомнения у летописца, но желание обладать информацией, обменивать ее на другие «последние новости дня» побеждает скептицизм. «Вербальная открытость» автора, то качество, которое люди обыденной культуры называют болтливостью, заставляет Гладкова отказаться от любой сепарации информации, превращая дневник в «собрание всего, что можно услышать и зафиксировать». Иногда это приобретает комические пикейно-жилетные формы: «Вашингтон предупредил Кремль о недопустимости “массовых перевозок” оружия арабам. Вероятно, в Политбюро идут споры».

Сам Гладков не замечает бессмысленности собственных комментариев к мировым процессам, для него главное — успеть зафиксировать, наполнить дневник «содержанием». Анализ и размышления, за которые, как мы помним, особенно хвалила автора Панова, отсутствуют в дневнике полностью, на онтологическом уровне.

Формально у Гладкова была общественно-политическая позиция, которую он время от времени обозначает в тексте: демократизм, антисталинизм, приверженность принципам творческой свободы, подчеркнутый филосемитизм. Но удаленность от эксклюзивных источников информации — Гладкова многие попросту не воспринимали всерьез — заставляет

заполнять страницы дневника новостями «второй свежести». Так, до Гладкова доходят слухи, что Окуджава был вызван на партбюро и «держался там молодцом». Для историка литературы данная информация не представляет собой никакого интереса в силу отсутствия частных деталей — достоинства очевидцев, к которым Гладков не относился. И в этом скрывается главнейший недостаток дневников — их принципиальная ненужность. Ненужность литературе, читателю, истории. По сути, Гладков не только автор дневника, но и его единственный адекватный читатель и поклонник. Не зря он, как мы уже это говорили, столько времени отдает его оформлению, перепечатыванию, систематизации.

В этом отношении Гладков неожиданно показывает себя именно учеником Мейерхольда, театральная система которого — «биомеханика» — базировалась на механическом воспроизведении типовых человеческих реакций (страх, удивление, восторг). Актерское мастерство сводилось к их бесконечной шлифовке, вытеснявшей живое театральное действие. Так и дневник Гладкова заполнен подобными литературными «болванками», лишь имитирующими жизнь.

Приведенное в начале нашей статьи сравнение двух литературных событий имеет при разности масштабов свой печальный общий итог. Разочарование в Солженицыне имело результатом отказ от «большого проекта» русской классической литературы с его претензией на общественный отклик. Но прошедшие годы показали, что даже самые отчаянные последователи теории «смерти автора», «текста как дискурса», «текста как нарратива» (кому что милее) испытывают потребность в наличии «большого текста», вызывающего именно общественную реакцию. Однако такой текст в актуальном пространстве отечественной словесности попросту отсутствует. Но запрос есть... Поэтому с тетрадок Гладкова сдувается законно осевшая пыль времени, и нам предлагается «наваристый текст общественно-сенсационного значения».

ДВЕ СУДЬБЫ

Пьянкова Т. Я — дочь врага народа. — Новосибирск, 2015.

Кайков А. Черная пурга. — Новосибирск, 2015.

Таисья Пьянкова известна как автор сибирских сказов, а Альберт Кайков издал много книг о сибирском Севере, об охоте в тайге, рыбалке на Енисее, Оби и их притоках. Однако сегодня мы говорим о не самых характерных для их творчества книгах. Объединяет их то, что это правдивые полудокументальные книги о беспризорных детях и детских домах сталинской эпохи.

У героини повести Пьянковой — девочки Лизы Быстриковой обычная для того времени биография. В 37-м, когда ей было два года от роду, отца-командира расстреляли, объявив врагом народа. Еще через три года умерла с горя мать. А бабушка, не знавшая, как прокормить ораву малолетних сирот, в 44-м «сдала» двух сестер, в том числе и Лизу, в детские дома. Так вся большая семья Быстриковых «загинула в арестах, болезнях и гонениях». Судьба Лизы теперь — до 14 лет мотаться по разным детским домам от Татарска до Бердска. Во многом жизнь героини схожа с судьбой самой Пьянковой. Точно так же, будучи «дочерью врага народа» (позднее, конечно, реабилитированного посмертно со штампованной формулировкой — «за отсутствием состава преступления»), она в военные и послевоенные годы прошла семь (!) детских домов, где в полной мере хлебнула горя и унижений.

Героиня Кайкова — Глаша Грузинская, ровесница Лизы — оказалась сиротой при живых родителях. В одном из сибирских сел жила благополучная зажиточная семья. Но за один год были репрессированы и бесследно исчезли ее дед и многие другие родственники. А мать, лаборантку на маслозаводе, обвинив в краже килограмма масла, отправили на восемь лет в колонию, где 20 000 эков «ударно» строили Норильский комбинат. Масло ей в сундук подбросил мстительный директор завода, с которым она отказалась спать, но ведь никто не разбирался! Был повод отправить на стройку еще одну молодую рабыню. И была возможность еще раз припугнуть этим примером потенциальных «расхитителей социалистической собственности». Отец же исчез из семьи, а потом оказался на фронте, где заболел туберкулезом. Вернувшись, женился на другой, понемногу спивался и видел в дочери только нахлебницу. От него бедной Глаше доставались одни оплеухи. Ее толком не кормили, спала она на полу, подложив под голову дырявые валенки. А потом отец оказался за решеткой. За что — никому не было известно. Как будто черная пурга прошла в их краю. «Черная пурга» — это когда метель переходит в ураган, скорость ветра превышает сорок метров в секунду при морозе свыше 40 градусов и беспросвет-

ной полярной ночи. Закрутила она Глашу и понесла по детским домам, интернатам и туберкулезным больницам. Не раз она бывала при смерти от голода, холода и болезни, чудом оставалась жива.

В послевоенные годы в детских домах страны воспитывались сотни тысяч детей. Эти учреждения пользовались дурной славой. Милиция отлавливала беспризорников постоянно и в огромном количестве отправляла в детдома. Причем сиротами эти дети становились не всегда в результате гибели их родителей на фронте, чаще те были живы, но отбывали рабскую повинность на «стройках социализма».

Вот один из этих детдомов. «На дворе июль. Головы лысые, панталоны голубые». Утром «Союз нерушимый», вечером — «За наше счастливое детство». Это из повести Таисии Пьянковой. Усадьба огорожена забором. Не детдом, а центр! Директор по прозвищу Бульдог — черен, мал ростом и пузат. При нем кастелянша — томная блондинка, но по имени Зухра Каримовна. В детдоме свиристует банда подростков, которая решила сделать темную двум новеньким девочкам, то есть накрыть одеялом и избить до полусмерти. Ночью пацаны с палками пытаются ворваться в спальню девочек, кричат, матерятся. Но никто из взрослых, в том числе дежурных, не вмешивается. Они сами боятся этой темной. К утру выясняется, что директор с кастеляншей под шумок на детдомовской грузовой машине вывезли в неизвестном направлении почти все продукты и одежду со склада, в том числе американские подарки. Их так и не нашли.

Нового директора прозвали Штандером. Пока он входил в курс дел, продукты, не украденные прежним руководителем, закончились. Сам директор детдома питается пирожками из муки, экстренно собранной для детей сельчанами. Ребятам же остается горох и овсянка.

Да еще чужие огороды в селе, которые голодные воспитанники очищают профессионально.

Однажды девчонки попались. Назначены, заперты на ночь в кабинете. Страшно! На чердаке воет призрак бывшего хозяина дома. Его роль играют те же хулиганы. Девчонки убегают через форточку на улицу. А пацаны стовариваются избить Лизу, встречают ее в коридоре и хлещут плетью. Однако та дает им отпор, и тут появляется воспитатель Цывик. Он говорит с презрением: «Хорьки вонючие! Одну девку не могли одолеть!»

Вот кто истинный организатор и вдохновитель ребячьей шайки! Все ему сходит с рук: «педагог» Цывик топит в польню ранее избитого Толю Аверика — якобы тот утопился сам, «ликвидирует» доктора Игоря Васильевича, опасного свидетеля его преступлений, жаловавшегося в прокуратуру, — его «растерзали волки». Он насилует новую медичку, и она кончает жизнь самоубийством. Притом он на хорошем счету у начальства. Оформил агитпункт, написал портрет Ленина, собирается вступать в партию. Такие — вне подозрений. Вот директор школы — другое дело! Шибко умный, полон дом книжек! Донос — и его забрали прямо посреди занятий в школе.

Понимая, что дальше с ней расправятся, Лиза сбегает из этого детского дома. Чтобы попасть в следующий, во многом схожий с прежним.

Вот такие Ушинские и Песталоцци работали в то время в детских домах. Не мудрено, что контингент преступников («блатвы») постоянно пополнялся за счет окончивших эти заведения.

Нет, естественно, мир не без добрых людей. И Глафира Грудзинская, и Лиза Быстрикова постоянно встречали на своем жизненном пути настоящих, умных и не лицемерных воспитателей, хоть и не всегда на соответствующих должностях. Они привили им вкус к труду, к чтению, научили разбираться в музыке и искус-

стве, заниматься творчеством. Да что там — просто жить в обществе и уважать людей. Иначе бы они неминуемо погибли в этих условиях вечной войны всех со всеми, или превратились в злобных зверьков, или отправились в психбольницу. Туда, куда «блаженную» Лизу, например, за нестандартное поведение (с девятилетнего возраста она постоянно сочиняла стихи) чуть было и не уpekли в одном из детских домов.

Детские дома и беспризорщина советского периода нашли большое отражение в литературе. От полусиропных книжек типа «Педагогической поэмы» Макаренко и «Республики ШКИД» Пантелеева и Белых до «Сироты» («Горе одному») Дубова, где воспитанники и педагоги сначала, конечно, ошибаются в выборе жизненных позиций,

но потом прозревают и начинают учиться и работать «по-социалистически», в результате чего становятся хорошими советскими людьми. Правда, в реальности колония «ФЭД» Макаренко деградировала немедленно после его смерти, а автора «Республики ШКИД» Белых репрессировали, и он погиб в тюремной камере.

В повестях Кайкова и Пьянковой нет никакой схемы — ни той, что была свойственна социалистическому реализму, ни главенствующей в последние десятилетия либерально-очернительской. С вершин своего возраста и жизненного опыта авторы имеют право доверять лишь тому, что пережили сами в своем трудном детстве и о чем они со всей яркостью и живостью детских впечатлений поведали нам, читателям.

Борис Поздняков



Людмила БОГОМОЛОВА

НИКОЛАЙ МАМОНТОВ В БАРНАУЛЕ

Интерес к творчеству и личности Николая Андреевича Мамонтова (1898—1964), чье имя было вновь открыто в 90-х гг. прошлого века, привлекает исследователей многообразием оставленного им художественного наследия, до сих пор относительно малоизученного. Молодые годы Мамонтова пришлось на время жесточайшего исторического перелома, на время Первой мировой войны, Октябрьской революции и Гражданской войны в России. И все же эпоха, в которую происходило становление его личности, характеризуется невероятным всплеском творческой активности, связанным с поиском и освоением новых средств художественной выразительности.

Уезжая в 1923 г. по заданию Западно-Сибирского краевого музея в Туркестан, Николай Мамонтов и Виктор Уфимцев оставили в этом учреждении свои произведения. Спустя полвека это наследие было обнаружено вместе с художественным архивом омского писателя А. С. Сорокина. Истории этой удивительной находки посвящено несколько публикаций омских искусствоведов¹, поэтому нет нужды повторять ее вновь.

¹ См.: Мороченко Н. П. История одного архива // Иртыш. — Омск, 1995. № 1. С. 206—221; Еременко Т. Коллекция «Худпрома» в собрании ОГИК музея // Известия ОГИК музея. № 10. — Омск, 2003. С. 80—104; Богомолова Л. К. Архив А. С. Сорокина: некоторые итоги начального этапа изучения коллекции // Современный музей в культурном пространстве Сибири. Третья межрегиональная научно-практическая конференция 20—22 ноября 2013. — Новосибирск, 2015. С. 113—118.

И. Г. Девятьяровой, первым биографом Н. А. Мамонтова, были установлены основные факты биографии художника, круг его творческого общения, что позволило ей в дальнейшем ввести имя Мамонтова в контекст историко-культурной ситуации Омска первой четверти XX века². Систематизацией и изучением раннего периода творчества художника занималась Т. В. Еременко³. Предложенная ею атрибуция мужского и женского портретов 1918 г. как изображений Михаила Курзина и Елены Коровой окажется принципиально важной для проведения последующих исследований⁴.

Исследовательский интерес к личности Николая Мамонтова, к его творчеству у автора данной статьи возник благодаря двум заметным событиям последнего десятилетия. Первое — выставка «Омские озорники» в Омском областном музее изобразительных искусств имени М. А. Врубеля в 2005 г., сопровождавшаяся вы-

² Девятьярова И. Г. Художник Н. А. Мамонтов. Материалы к биографии // Известия Омского государственного историко-краеведческого музея. № 4. — Омск, 1996. С. 217—223; Девятьярова И. Г. Николай Мамонтов: очерк жизни и творчества художника. 1898—1964. — Омск, 1998; Девятьярова И. Г. Художественная жизнь Омска XIX — первой четверти XX века. — Омск, 2000.

³ Еременко Т. Коллекция «Худпрома» в собрании ОГИК музея // Известия ОГИК музея. № 10. — Омск, 2003. С. 80—104.

⁴ Еременко Т. В. Живописные портреты Михаила Курзина и Елены Коровой. Вопросы атрибуции // Декабрьские диалоги. Вып. 8: Материалы Всероссийской науч. конф. памяти Ф. В. Мелёхина, 20 декабря 2004 г., 21—22 февраля 2005 г. — Омск, 2006. С. 57—60.

пуском альбома-каталога⁵, где впервые были представлены произведения художника, хранящиеся в фондах музея. Вторым событием стало издание каталога коллекции сибирского авангарда из запасников Омского государственного историко-краеведческого музея⁶, в котором также были воспроизведены многие его работы, ранее недоступные специалистам.

Работая в 2010 г. в фондах ОГИКМ с архивом Худпрома и параллельно с коллекцией А. Сорокина в ООМИИ им. М. А. Врубеля, мы обратили внимание на большое количество портретов неизвестных, принадлежащих разным авторам, работавшим в Омске в 1910—1920-х гг. Вот почему одной из основных задач в изучении омских коллекций стало не только установление авторства и времени создания произведений, но и опознание портретируемых. Особенно внушительным выглядело количество неизвестных на работах Николая Мамонтова из фондов историко-краеведческого музея.

Пребывание Н. Мамонтова в Барнауле имело для него существенное значение: здесь завершилось его начальное образование, пробудилась тяга к искусству и театру, было получено художественное образование (хоть и не системное), завязались тесные творческие и личные контакты. В общей сложности пребывание Мамонтова в Алтайском крае длилось около десяти лет.

Что представлял собой Барнаул в начале 1910-х гг., когда семья Мамонтовых переехала туда из Омска? Город был

крупным административно-торговым центром Алтайской губернии, где проживало свыше 60 тыс. человек. Писатель и литературный критик А. М. Топоров, живший на Алтае в 1920-х гг., вспоминал: «[Барнаул] был богатым купеческим городом. Через Бийск и Барнаул по могучим водным артериям — Бии и Оби — направлялись за границу грандиозные потоки даров Алтая: сливочного масла, мяса, пушнины, кож, меду, рыбы, пшеницы, муки, сала... На барнаульской пристани тянулись длиннейшие склады торговых представительств Англии, Голландии, Бельгии, Германии, Швеции, Норвегии и других государств...»⁷. К началу 1910-х гг. преобразился внешний вид города. Он быстро застраивался каменными зданиями, появились новые купеческие особняки и магазины. Барнаул входил в ряд культурных центров Сибири. Культуру принесли сюда многочисленные политические ссыльные, осевшие в городе.

В городе действовали общедоступные театры (летний и зимний) в Народном доме, в которых любителями драматического искусства или заезжими профессиональными артистами исполнялись спектакли — главным образом из бытового русского репертуара. Народный дом, который горожане также называли «школьным», был своего рода центром культурной и общественной жизни дореволюционного Барнаула. Здесь размещалась бесплатная библиотека, устраивались художественные выставки, проводились лекции, собрания, благотворительные концерты.

Среди известных в России гастроллирующих артистов в Народном доме давали концерты оперные певцы А. М. Лабинский и Н. А. Шевелев, исполнительницы русских народных песен и цыганских романсов М. А. Ка-

⁵ Омские озорники. Графика 1910-х — 1920-х годов из собрания Омского областного музея изобразительных искусств им. М. А. Врубеля: по материалам выставки к 100-летию со дня рождения поэта Леонида Мартынова (май 2005) / авт.-сост. И. Г. Девятьярова, Т. В. Еременко. — Омск, 2010.

⁶ Сибирский авангард. Живопись и графика 1910—1920-х годов в собрании Омского государственного историко-краеведческого музея: альбом-каталог / авт.-сост. И. Г. Девятьярова, Т. В. Еременко. — Омск, 2013.

⁷ Топоров А. М. В старом Барнауле. Штрихи воспоминаний // Алтай. — 1969. С. 51—97.

ринская, Н. В. Плевицкая, М. П. Комарова, известный скрипач-солист В. Н. Графман и другие.

В 1911—1912 гг. на сцене Народного дома играла труппа антрепренера и артиста А. Д. Батманова. Некоторые артисты, среди них Б. П. Вартминский и Е. Л. Ленина, станут любимцами омских театралов в 1918—1919 гг. Известен был своей деятельностью А. А. Лесневский, городской голова в 1913—1916 гг., создавший на Алтае Общество любителей драматического искусства. В сентябре 1916 г. в Народном доме прошли гастроли известного артиста П. Н. Орленева и его труппы.

Спектакли также ставились в здании и в саду Общественного собрания, особенно полюбившегося местному купечеству. В июне 1913 г. драматург Григорий Ге показал здесь свои пьесы: «Кухня ведьм», «Казнь», «Смерть Грозного» и «Хорошо сшитый фрак». В Общественном собрании подвизался с самодеятельным кружком артист-любитель С. И. Новоселов, ставивший спектакли, не уступавшие по мастерству постановкам в Народном доме. Третьим театром, который посещали преимущественно чиновники, был театр Управления Алтайского округа.

Барнаул был одним из немногих провинциальных городов России, имевших постоянно действующий симфонический оркестр. Он был организован в конце XIX в. при клубе Общественного собрания и под управлением дирижера А. И. Клястера просуществовал до 1915 г.

В 1917 г. Барнаул постигло страшное бедствие. 2 мая произошел самый крупный в России того времени пожар, в котором сгорели многие памятники истории и архитектуры XVIII—XIX вв. — почти все деревянные постройки в центре Барнаула (730 старинных усадеб) и часть кирпичных строений. В декабре того же года в Барнауле была установлена советская власть, прoderжавшаяся

до июня 1918-го, когда ее сменило Временное правительство.

Наиболее значительные события художественной жизни Алтайского края нашли отражение в местной печати. Так, весной 1911 г. в Народном доме проходила выставка картин художника Г. И. Гуркина. В 1912 г. была создана первая художественно-иконостасная артель «Луч». На выставке-базаре в пользу Красного Креста, открывшейся в декабре 1914-го в помещении Алтайского горного собрания, на суд зрителей было представлено несколько десятков картин, в том числе местных художников — Г. И. Гуркина и А. О. Никулина. В мае 1916 г. состоялась выставка картин московских и петроградских художников, на которой были представлены произведения И. Е. Репина, М. В. Нестерова, И. И. Шишкина, А. И. Мещерского и др.

Молодые художники-барнаульцы — В. Н. Гуляев, В. В. Карев, М. И. Курзин, И. Д. Чашников еще в годы обучения в художественных училищах Казани и Москвы стали членами основанного в 1913 г. Томского общества художников-сибиряков.

В 1916 г. по окончании учебы в Московском училище живописи, ваяния и зодчества в Барнаул вернулись В. В. Карев и И. Д. Чашников, а после Октябрьской революции 1917-го — А. О. Никулин и В. Н. Гуляев. Осенью того же года сюда приехала с семьей из Петербурга шестнадцатилетняя Елена Коровай, только что окончившая Школу рисования Общества поощрения художеств под руководством Н. К. Рериха. В конце 1917 г. в Барнаул возвратился с фронта Михаил Курзин. С 1918 г. в селениях Горного Алтая Элекмонар и Чемал работал А. Н. Борисов, в Улале — Н. С. Шулипов.

С этого времени художественная жизнь края приобрела небывалую активность. В Чемале в конце 1917 г. состоялась групповая выставка с участием

Д. И. Кузнецова, М. И. Курзина, В. Н. Гуляева, И. Д. Чашникова. Там же была организована коммуна художников, куда входили барнаульцы В. Н. Гуляев, М. И. Курзин, В. В. Карев, М. И. Трусов (Чибдар), И. Д. Чашников, просуществовавшая несколько месяцев. В 1918 г. в Бийске была организована выставка с участием А. О. Никулина, М. И. Курзина, Д. И. Кузнецова и В. М. Сенгалевич. 17 февраля 1918 г. в Барнауле было создано Алтайское художественное общество (АХО), игравшее важную роль в культурной жизни Барнаула в течение трех следующих лет. 20 марта в доме архивариуса Н. С. Гуляева открылась выставка Михаила Курзина. В мае АХО организовало выставку картин в частной женской гимназии М. Ф. Будкевич.

О состоянии художественного образования на Алтае известно следующее. В Барнауле одной из художественных студий, начавшей работу осенью 1917 г., руководил А. О. Никулин, во второй студии в конце года занятия начали вести Е. Л. Коровай и М. И. Курзин. В 1919 г. обе они были объединены в Алтайскую губернскую советскую художественную школу. Уроки рисования в гимназии М. Ф. Будкевич вели в разное время А. Н. Маджи, В. Н. Гуляев и М. И. Трусов (Чибдар). В Бийске — еще одном художественном центре края — с 1918 г. работала художественная студия, где преподавали А. Э. Мако, Д. И. Кузнецов и В. М. Сенгалевич. Лекции по искусству читали М. И. Курзин и А. О. Никулин.

На этом культурно-художественном фоне и происходил процесс становления творческого сознания будущего художника. В Барнауле юный Николай Мамонтов продолжил начатое в Омске образование во 2-м городском двухклассном училище, что следует из имеющегося в одном из номеров газеты «Жизнь Ал-

тая» сообщения о том, что на заседании школьного общества 1 июля 1914 г. «по просьбе учительницы Кузьминой решено выдавать ученику 2-го городского училища Мамонтову пособие для продолжения учения в размере 6 руб. в месяц, начиная с 1 августа»⁸. Уроки черчения и рисования в этом училище вел учитель искусств Антон Николаевич Маджи. Может быть, Маджи и был первым наставником, пробудившим у Н. Мамонтова интерес к искусству? К 1912 г. относится его самый ранний рисунок с изображением собаки, на обороте которого спустя шесть лет он выполнит акварелью голову юноши.

Обратимся к работам Мамонтова барнаульского периода, внимательное изучение которых поможет нам раскрыть новые факты его личной и творческой биографии. Известно, что на многих его графических листах (иногда и на обороте) имеются надписи и пометы. Подавляющее большинство живописных и графических работ датированы, причем нередко Мамонтов указывал не только год создания, но число и месяц. В результате хронологической систематизации коллекции появилась возможность проследить маршруты передвижений художника, подкрепленные записями в дневнике друга Мамонтова художника Виктора Уфимцева⁹, а также установить личности портретируемых.

Известны ранние графические работы Мамонтова, выполненные в 1917 г.: «Слон», «Мамонт», натуральный рисунок лошади, голова неизвестного с папиросой, «Комната Елены Коровай» и театральный эскиз. Первые четыре рисунка носят характер учебных работ. Все они выполнены углем на оберточной бумаге, дата исполнения поставлена синим карандашом. В пользу учебного характера го-

⁸ Жизнь Алтая. № 146, 3 июля 1914 г.

⁹ Виктор Иванович Уфимцев. 1899—1964. Архив: дневники, фотографии, рисунки, коллажи, живопись. — М., 2009.

ворит не только тип постановки двух первых рисунков, но и не вполне уверенное построение формы, штриховки. Однако и здесь ощутимо влияние опытного наставника: в анималистических постановках присутствуют методические принципы контурного рисования с последующей тушевкой, лежащие в основе академической системы; в портрете неизвестного с папиросой — линейное изображение глаза, уха, губ, а затем — переход к светотеневой проработке формы. Остальные работы — театральные эскизы и «Комната Елены Коровай» — свободные, творческие. Они выполнены водяными красками с легкой обводкой тушью по предварительному рисунку карандашом.

Затрагивая педагогическую деятельность Елены Коровай, омские исследователи называют среди ее учеников имя Мамонтова. Могла ли юная Елена Коровай, только что окончившая в Петербурге Рисовальную школу Общества поощрения художеств, быть его наставницей в 1917 — начале 1918 г.? Ведь, как известно, студией с осени 1917-го руководил выпускник Центрального училища технического рисования барона Штиглица А. О. Никулин, продолживший образование в парижской Академии Жюльена. Ко времени приезда в Барнаул Никулин имел за плечами внушительный педагогический опыт: в Саратове с 1907 по 1917 г. он преподавал рисунок в Боголюбовском рисовальном училище. Как педагог он очень профессионально подходил к системе художественного образования и имел исключительный авторитет у молодых художников. То, что Мамонтов был хорошо знаком с творчеством Никулина, указывает его запись на обороте одной работы, касающаяся цветового решения пейзажа: «...чем дальше, тем бледнее пейзаж... никулинской манере». На акварели «Голова юноши», о которой речь пойдет ниже, есть краткое замечание педагога по форме нарисованной головы. Учебных работ этого времени в мамон-

товском наследии больше не обнаружено, что дает повод полагать о его возросшем увлечении творческими задачами. Но уже со следующего года, находясь в Омске, Мамонтов пробовал свои возможности в овладении рисунком обнаженной модели, явно ощущая недостаток систематического художественного образования. Оттого, быть может, он осенью 1921 г. и подался в Москву поступать во ВХУТЕМАС.

Что же касается наставничества Елены Коровай, ее миссия в творческой судьбе Николая Мамонтова представляется нам иной. Ярко одаренная, темпераментная Коровай оказала благотворное влияние на романтическую натуру Мамонтова, поддерживала его самостоятельное творчество. Их связывала духовная близость и творческое общение. В конце 1917 г. он нарисовал интерьер комнаты, в полумраке которой едва различима фигура читающей Елены Коровай. Она же на рубеже 1917—1918 гг. выполнила выразительный портрет Мамонтова с закрытыми глазами. Спустя



Е. Коровай. Портрет Н. Мамонтова.
1917. Омский областной музей
изобразительных искусств им. М. А. Врубеля

два года Коровай снова сделала беглый набросок Мамонтова. Быть может, эти ее рисунки побудили Мамонтова к автопортретированию: в течение 1920—1921 гг. он выполнил один за другим живописный и семь рисуночных автопортретов. Не без влияния Коровай он пробовал свои силы в жанре натюрморта, используя в нем «кукольный» мотив («Натюрморт с куклой», 1920, ОГИКМ), характерный для Коровай. Обоих художников объединяет тяга к повышенной декоративности цвета, камерным формам, к закрытости пространства. Есть у них общее и в характере, прежде всего непоседливость, стремление к перемене мест. Думается, на обучение во ВХУТЕМАСе его тоже вдохновила Е. Коровай, с 1920 г. продолжавшая там свое образование.

Если принимать во внимание узость круга художественного общения Н. Мамонтова в конце 1917 г., то на графическом портрете мужчины с папиросой должен быть изображен один из художников, находившийся рядом с ним в Бар-

науле. Последовательное сравнение его с живописным портретом Михаила Курзина, написанным Мамонтовым в следующем году, обнаруживает полное совпадение формы головы и черт лица. То, что на графическом портрете изображен именно М. Курзин, подтверждают также две фотографии: общий снимок членов АХО 1918 г. из фондов ГХМАК и фотография ташкентского периода, на которой Курзин изображен с папиросой. Судя по короткой стрижке (Курзин только что вернулся с фронта), разница во времени создания этих двух портретов невелика. Вполне вероятно, что живописный портрет был исполнен Мамонтовым в самом начале 1918 г.

Обратимся еще к одной учебной работе Мамонтова — «Голове юноши», выполненной акварелью по прорисовке карандашом. В нижнем правом углу листа имеется указание педагога — «к форме» и дата — 19 марта 1918 г. Овальное лицо дано в легком повороте влево, темно-русые волосы зачесаны



Н. Мамонтов. Портрет Михаила Курзина.
1917. Омский государственный историко-краеведческий музей



Н. Мамонтов. Портрет Григория Довженко.
1918. Омский государственный историко-краеведческий музей

на пробор. Под изображением Мамонтов помещает строку из стихотворения И. Северянина «Агасферу морей»: «Руку, капитан, товарищ по судьбе, мой дружище!» Среди портретных зарисовок тушью, выполненных в омском театре в 1919 г., запечатлена мужская голова с похожими чертами лица. Изучая окружение Мамонтова в Омске в 1919 г., мы обнаружили, что в дневнике Виктора Уфимцева за 1920 г. рядом с именем Мамонтова дважды упоминается некто Довженко. Поиск сведений в ГАОО о художниках-декораторах, работавших в омских театрах в начале 1920-х гг., принес результаты. В именных списках рабочих и служащих гортеатра, подлежащих призыву в октябре 1920 г., под № 5 числится Довженко Григорий Авксентьевич — художник-декоратор 1-го театра, служивший рядовым в штабе Сибирской армии. Мог ли Довженко находиться в Барнауле в 1917—1918 гг., пока не ясно.

Ко времени учебы Мамонтова в Барнауле можно отнести и группу рисунков, упоминаемых в каталоге Третьей весенней выставки Общества художников и любителей изящных искусств Степного края (Омск, апрель 1919 г.). Из экспонировавшихся тогда семи графических работ до нас дошли шесть: две — с названием «Надгробный плач», «Русская сказка», «Сказка», «Грибы» и «Жар-птица». Первая пара рисунков — это стилизованные композиции на христианскую тему: «Надгробный плач» 1918 г. (единственная в этой группе датированная работа) и первоначальный вариант женской фигуры для данной композиции с музейным названием «Коленопреклоненная дева» (соответственно, того же времени исполнения), в котором отчетливо просматриваются следы вмешательства А. Сорокина, в чьей коллекции рисунок находился.

Вторая пара — «Русская сказка» и «Сказка» — в каталоге даны без названия и обозначения сюжета. Среди наследия художника есть две композиции на

сказочную тему (возможно, на сюжет популярной сказки о Жар-птице): с условным названием «Символическая композиция» (гуашь) и эскиз к ней (акварель). Как и в случае с первой парой рисунков, композиция поступила в Западно-Сибирский краевой музей от автора, а эскиз имеет оттиск печати Сорокина. Известно, что Мамонтов неохотно отдавал свои рисунки А. Сорокину, и в данном случае в коллекцию омского писателя попали лишь эскизы.

Образ волшебной птицы объединяет и «Сказки», и рисунок «Жар-птица» на тему сказки об Иване-царевиче и Сером Волке. В решении «Жар-птицы», как и в «Надгробном плаче», вполне определенно выявляется орнаментальный принцип стиля модерн. К этой группе работ по тем же стилистическим признакам следует отнести и выполненный тушью рисунок «Грибы», ранее ошибочно приписываемый сначала А. Сорокину, затем — художнику-графику В. Эттелю. Манерно-изысканная трактовка женского образа с налетом эротики, причудливая линейная ритмика, использование приемов парал-



Н. Мамонтов. Грибы.
1918. Омский областной музей
изобразительных искусств им. М. А. Врубеля

лельной штриховки фона, гравировки пунктиром — в духе московско-бердслеевского направления. В декоративной организации этих рисунков присутствуют единые стилистические приемы: линейные плетения, использование в орнаменте растительных микроформ, подвижные растительные узоры, точечный и дробный орнамент, мелкий звездчато-цветочный орнамент.

Спокойная элегическая тональность «Сказок», без сомнения, навеяна творчеством В. Э. Борисова-Мусатова. В одной из женских фигур с каштановыми прядями прочитывается аналогия с образами таких работ последнего, как «Прогулки на закате» и «Изумрудное ожерелье». Увлечение Мамонтова живописным символизмом Борисова-Мусатова могло возникнуть от общения с А. О. Никулиным, долгие годы прожившим в «колыбели символизма» — Саратове.

В этой группе рисунков живет и романтическое начало, и мифотворческое. Они раскрывают тип мышления молодого художника, погруженного в духовную реальность на уровне мечты, позволяют ощутить, каковы были его художественные предпочтения и в каких направлениях он пробовал свои творческие силы.

В том же году Мамонтовым был выполнен небольшой набросок карандашом женской фигуры с книгой в руках. Нами она была опознана как художница Нина Александровна Надольская, с 1924 г. работавшая в Новосибирске. После обучения в школе ОПХ у И. Ф. Ционглинского и в Московском училище живописи, ваяния и зодчества она вместе с мужем скульптором Степаном Романовичем Надольским в августе 1918 г. приехала на Алтай, преподавала в художественных студиях в Бийске и Барнауле. Время появления четы Надольских в Барнауле — август, значит, набросок с нее был выполнен Мамонтовым не позднее сентября, когда он вынужден был покинуть Барнаул.



Н. Мамонтов.
Портрет Н. А. Яновой-Надольской.
1918. Омский государственный
историко-краеведческий музей

31 июля 1918 г. вышел в свет указ Временного Сибирского правительства о призыве в Сибирскую армию лиц, родившихся в 1898—1899 гг. В сентябре в Барнауле началась мобилизация новобранцев в 3-й Барнаульский Сибирский стрелковый полк, завершившаяся к 25-му числу. В ноябре укомплектованный полк отправился на уральский фронт. Начиная с декабря полк непрерывно находился на фронте в составе 1-й Сибирской стрелковой дивизии, принимая участие во взятии Перми, Оханска, Юго-Камского и Очерского заводов. Нет никаких сомнений в том, что Мамонтов был призван в этот полк и был на Урале зимой 1918—1919 гг., свидетельством чему являются два наброска из коллекции ОГИКМ. Это изображения мужской фигуры с полуобнаженным торсом и девочки-гимназистки («Белочка»). На полях набросков стоит не только дата, но и время года («зима»)

и место («ст. Чусовская»). Чусовая или Чусовская — это крупная железнодорожная станция в Пермском крае. В годы Гражданской войны на Чусовском заводе строили бронепоезда. В середине декабря Чусовскую заняли войска генерала А. Н. Пепеляева.

В январе-феврале 1919 г. после полугодовой службы Мамонтов вернулся с фронта в Омск. Весь год он находился в столице белой России: днем вместе с друзьями ходил на этюды, по вечерам посещал студию художника А. Н. Клементьева, делал портретные зарисовки со своих сверстников — друга-студийца Владимира Тронова и поэта Игоря Славнина. Мамонтов рисовал женские портреты (на одном, возможно, он изобразил свою мать), жанровые сцены в ресторанах и театре, доносящие до нас атмосферу ночной жизни белого Омска. Много беглых зарисовок и набросков выполнено им летом в саду «Аквариум». Весь арсенал графических работ Мамонтова за 1919 г. создан на основе натур-

ных наблюдений художника, в прямом диалоге с природой.

Среди рисунков, датированных 1920 г., есть четыре с указанием на загадочное «путешествие в Индию». В наброске карандашом, сделанном с Шабль-Табулевича, присутствует надпись: «Мои спутники в Индию. В вагоне». В остальных — двух автопортретах и рисунке женской головы — ремарка: «после Индии». По дате, указанной на одном из автопортретов, узнаем, что 17 июня 1920 г. он вернулся в Барнаул и посетил Елену Коровой, то есть путешествие длилось около месяца.

Незадолго до этого события, в феврале, Мамонтов написал свой первый живописный автопортрет (единственный в раннем периоде творчества) — «Автопортрет в берете», в котором художник как будто напряженно всматривается в себя. На нем солдатская гимнастерка, на коротко остриженных волосах — красный берет со свисающей набок верхней частью, напоминающий фригийский колпак — хорошо известный символ стремления человека к свободе. Но о какой свободе мог мечтать художник в городе, охваченном разрухой, приближающимся голодом и свирепствующей уже более трех месяцев эпидемией сыпного тифа, унесившей в день более ста человек? Анфасное изображение лица способствует максимальному проникновению во внутренний мир художника. Одного взгляда на его осунувшееся лицо и опущенные плечи достаточно, чтобы понять: перед нами человек, недавно оправившийся от тяжелой болезни или находящийся в состоянии душевной подавленности. К этому времени Омск покинули его друзья — Владимир Тронов и Игорь Славнин. Положение усугублялось и появлением закона о «Порядке всеобщей трудовой повинности», распространявшегося на все население. Мамонтов



Н. Мамонтов. Борис Шабль.
1920. Омский областной музей
изобразительных искусств им. М. А. Врубеля

вынужден был состоять на службе, не отвечавшей его творческим интересам. Обращение художника к самопортретированию, как и мысли о далеком путешествии, явились способом преодоления кризисного момента в его жизни.

В середине мая 1920 г. В. Уфимцев записал в своем дневнике: «Сегодня едут в Барнаул и на Алтай Мамонтов и Шабля». О путешествии в Индию в дневнике Уфимцева нет и намека, что наводит на мысль об особом отношении Мамонтова к этому путешествию, связанному в его сознании с глубокой, лично его затрагивающей эмоцией, путешествию, цель которого понятна лишь ему одному.

Проявление интереса Мамонтова к Индии вполне объяснимо. На рубеже XIX—XX вв. культурная Россия переживала страстное увлечение этой далекой и чудесной страной. Индийские духовные традиции были созвучны нравственным исканиям русской интеллигенции. К Индии проявляли интерес Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, М. Горький. К индийской тематике обращались почти все поэты Серебряного века. Культурой и философией Индии интересовался К. Бальмонт, первым из русских писателей того времени посетивший ее. Он описывал Индию как страну мечты, страну «вечно-золотого полдня» и «голубых роз». «Белая Индия» в поэзии Н. Клюева — это символ мудрости, страна духовно преображенных людей. Лирический герой Н. Гумилева — странник, блуждающий по миру в поисках «Индии Духа», интерпретируемой поэтом как духовная вершина, символ недостижимого гармоничного мира. В Омске Индией был сильно увлечен молодой писатель Всеволод Иванов, еще в 1915 г. странствовавший по Сибири с целью добраться до Индии — страны высшего, по его мнению, проявления свободы духа.

Для Мамонтова «путешествие в Индию» имело скорее духовный смысл. Поэтому не нужно воспринимать Индию Мамонтова в географическом аспекте. В этом отношении он близок герою Н. Гумилева, который написал в марте 1920 г. стихотворение «Заблудившийся трамвай», где были такие строки: «Где я? Так томно и так тревожно / Сердце мое стучит в ответ: / «Видишь вокзал, на котором можно / В Индию Духа купить билет?» Вряд ли его мог прочесть Мамонтов (сборник издан в 1921 г.), скорее, речь может идти об общей направленности душевных исканий.

«Автопортрет в красном берете» открыл галерею его графических натурных портретов 1920—1921 гг. Им будет свойственна единая форма — изображение лица как центрального, в трехчетвертном повороте. Если в живописном автопортрете он передает свой внутренний мир, то в графических изображениях занят скорее внешним обликом. Некоторые из рисунков не лишены известной доли самолюбования, в иных ощущается самоирония, деформирующая образ, отражающий мимолетное состояние души.

Нам неизвестен маршрут его путешествия в так называемую «Индию», а в реальности — на Алтай. Важно отметить другое. Эта поездка открыла новую страницу в творческой биографии Мамонтова, связанную с переживанием охватившего его чувства любви, нежной и страстной, на какую только мог быть способен романтик. Любви, как нам кажется, безответной. На одном из рисунков с нанесенной позднее надписью «После Индии» изображена маленькая женская головка с завитками вокруг лба и на висках, с локонами, поднятыми на макушке в пышный пучок и у основания перевязанными лентой. Была ли она его спутницей в «Индию» или же их знакомство



Н. Мамонтов. Женский портрет. 1920.
Омский областной музей изобразительных искусств им. М. А. Врубеля

состоялось по возвращении Мамонтова в Барнаул — мы не знаем, но образ этой незнакомки появляется в его работах вновь и вновь. Та же темноволосая, с высокой причёской женская фигура в пальто с меховым воротником до плеч присутствует на рисунке «Ночь. Двое» (ОГИКМ). На правом поле надпись: «Ты милый и славный, мы будем друзьями», не совсем точно, по памяти воспроизводящая поэтическую строку А. Ахматовой.

В двух близких по сюжету линейных рисунках тушью изображена изящная обнажённая женская фигурка (ООМИИ). На первом — надпись: «Хочу, чтоб подали на блюде бронзовом мою ей голову!» Сюжет рисунка отсылает к библейскому мифу о танцовщице Саломее в интерпретации необычайно популярной в начале века одноименной драмы О. Уайльда. Замысел второго рисунка с условным названием «Плачущая» прочитывается не до конца из-за грубого вторжения А. Сорокина, в коллекции которого он находился. Попытка с помощью компьютера очистить женскую фигурку и фон от чужеродной заливки тушью выявила присутствие у ее ног некоего лежащего объекта.

Эту серию рисунков можно продолжить двумя «Театральными эскизами» из коллекции ОГИКМ. Характер изображения не позволяет назвать их театральными эскизами: перед нами актеры, разыгрывающие сцены пьесы об Арлекине и Коломбине, возможно, из репертуара театра миниатюр. То есть художник воспроизвел театральные сценки, в которых присутствует один и тот же женский персонаж в маске — Коломбина и театральный реквизит, связанный с содержанием пьесы (деревянная лошадка на палочке, фонарь, череп на книге). На заднике помещен образ Арлекина. Но Арлекин не любит Коломбину, в нее влюблен Пьеро, черты которого мы видим в фигуре, введенной в одну из сцен. В этой фигуре в концертном фраке соединились черты сценического образа А. Вертинского, имевшего ошеломительный успех у публики того времени, с обликом самого художника.

Точно такая же фигура во фраке и с гримом на лице присутствует на рисунке-аппликации неизвестного автора из архива А. Сорокина (ООМИИ), в котором, словно в калейдоскопе, соединились декадентски-утонченный и романтически-мечтательный мужской образ, уже знакомый нам женский и фигура индийского воина с мечом на боевом слоне. Эти образы, связанные между собой темой Индии, характерны только для Мамонтова. Присутствие его руки ощущается и в орнаментальной проработке отдельных частей композиции, и в самом характере рисунка; трактовка мужской фигуры аналогична той, что мы находим на рисунке «Ночь. Двое» и в театральной сцене.

Во всех перечисленных работах, воплотивших сокровенную внутреннюю жизнь художника, рядом с женским образом в той или иной степени присутствует он сам. Мы видим романтическую сторону природы Мамонтова, отличавшегося

чувствительностью и мягкостью, страдавшего от безответной любви. По существу, это тоже отдел автопортретной галереи. Объединенные любовной темой, общей лирической тональностью, единством изобразительных приемов, все они, безусловно, относятся ко времени возвращения художника из путешествия в Барнаул. То, что Мамонтов находился там и летом, подтверждают жанровые зарисовки, выполненные в барнаульском саду.

В начале осени художник вернулся в Омск. И снова, как в 1919 г., он много работает с натурой: делает портретные шаржированные зарисовки учеников только что открывшейся Худпромшколы, рисует учащегося той же школы Петра Осолодкова, старейшего педагога-живописца И. В. Волкова. Возможно, к этому времени относятся и два живописных портрета В. Тронова (ОГИКМ). В Омске Мамонтов оставался до весны следующего года. Выполнив в начале марта один из двух эскизов декорации к спектаклю «Парижская коммуна» (автором второго был В. Уфимцев), постановку которого готовили по случаю юбилейных торжеств, он снова отправился в Барнаул.

Предположение о том, что Мамонтов находился весной 1921 г. в Барнауле, подтвердилось благодаря идентификации личностей на двух датированных портретах: «Неизвестная с желтыми волосами» и «Голова неизвестного». Атрибуция женского портрета была проведена несколько лет назад. На анфасном портрете, написанном в марте 1921 г., изображена юная художница Валентина Маркова, обучавшаяся в это время в Барнауле у Н. А. Яновой-Надольской. Художнику удалось передать во взгляде четырнадцатилетней В. Марковой независимый, упрямый характер. О несохранившихся ранних работах Марковой можно судить по отзыву художника М. Тверитинова, вспоминаявшего ее первую персональную

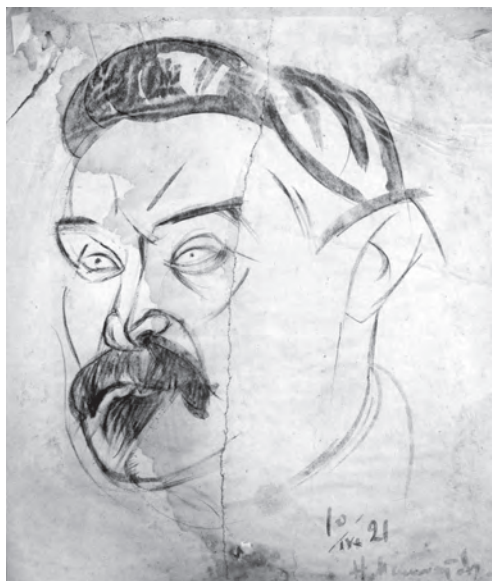
выставку, состоявшуюся в том же году, что и написанный с нее портрет Мамонтова: «Она выделялась среди сверстников одаренностью и очаровательной полуинфантильностью работ. Ее ничто не стесняло: вдохновение — это всё».

Второй портрет — «Голова неизвестного» (гуашь) — выполнен Мамонтовым в апреле 1921 г. Атрибутировать этот рисунок, как и живописный портрет неизвестного мужчины с усами, созданный годом ранее, помогла групповая фотография членов Алтайского художественного общества 1918 г., хранящаяся в ГХМАК. В центре нижнего ряда анфас сидит художник Михаил Трусов (Чебдар), черты лица которого очень напоминают черты «Головы неизвестного». Между этими изображениями разница в три года, однако проведенное сравнительное исследование говорит в пользу того, что на рисунке Мамонтова изображен именно М. Трусов.

По поводу второй работы с условным названием «Портрет неизвестного с усами» (1920) в инвентарной кни-



Н. Мамонтов.
Портрет Валентины Марковой.
1921. Омский государственный
историко-краеведческий музей



Н. Мамонтов.

Художник Михаил Трусов (Чеддар).

1921. Омский государственный историко-краеведческий музей

ге ОГИКМ есть запись: «Написан в Барнауле». Подтверждением барнаульского происхождения этого портрета служит также оборот холста, где содержится эскиз головы куклы для натюрморта Е. Коровой «Кукла и чайники» (1920). На той же фотографии членов АХО в верхнем ряду прямо над Михаилом Трусовым запечатлен коренастый мужчина в военной полевой форме с толстыми и широкими усами и очень светлыми, почти бесцветными глазами — Валентин Безсонов. Биографические сведения о нем отсутствуют. О характере его творчества дают некоторое представление два пейзажа Бобровского затона (в собраниях ООМИИ и ОГИКМ), написанные Безсоновым в мае 1920 г., о чем говорит авторская надпись на обороте основы. Скорее всего, пейзажи были переданы в ЗСКМ Мамонтовым в начале 1920-х гг. перед отъездом в Самарканд.

По датам, поставленным на работах, и записи в дневнике В. Уфимцева от

4 июля, сожалееющего об отсутствии рядом с ним друга, можно с уверенностью сказать, что Мамонтов находился в Барнауле до июля 1921 г. В марте-апреле он плодотворно работал. Так, 22 марта им написан портрет В. Марковой, в том же месяце — «Портрет неизвестной в черном». 10 апреля сделан рисунок с Михаила Трусова, 20-го числа — «Фантастическая композиция», 23 апреля — этюд натурщика. К этому времени относится и двойной шаржированный портрет его и, судя по надписи, Н. Мамонтовой (жены?). Кроме того, имеется еще группа произведений, датированная этим годом, речь о ней пойдет ниже.

В июле, в условиях надвигающегося голода, Мамонтов отправился через Саратов и Тамбов в Москву с намерением поступить во ВХУТЕМАС. Известны две акварельные работы, выполненные им в маленьком уездном городе Покровске Саратовской губернии, где он принял участие в выставке. Это «Пейзаж с лейкой» и «Огород в Покровске», датированные 21 июля 1921 г. В письме Е. Коровой Мамонтов сообщил о разводе с женой и о своей поездке в Тамбов. В Москве он задержался до следующей весны. В последние месяцы года, быть может в литературном кафе, произошло его знакомство с малоизвестной поэтессой графиней Надеждой Максимилиановной де Гурно (Роттермунд). Но это совсем другая страница в его биографии.

Вернемся снова к барнаульской незнакомке Мамонтова. Среди его произведений имеется небольшой «Портрет неизвестной», написанный маслом на картоне. Запечатленный образ молодой темноволосой женщины с мягким овалом лица, темно-синими глазами, узкими бровями, тонким носом, чуть расширенным в средней части, и маленьким ртом — нам уже знаком по рисункам Мамонтова 1920 г. И снова мы видим здесь поднят-

тую вверх пышную копну волос, перехваченных лентами. В мягкой моделировке лица, в нежном румянце на щеках и блеске синих глаз можно прочесть чувство влюбленного художника.

Совсем иначе этот женский образ трактован в «Портрете неизвестной в черном» (1921). В портрете переизбыток синего цвета, он звучит всюду: в глазах с темными кругами, в ленте на волосах, в двух вазочках кобальтового стекла, беспокойных арабесках фона, — усиливая холодную отчужденность взгляда на бледном мраморном лице. В близком по времени исполнению рисунке-шарже «Она — Я» (1921) образы художника и его возлюбленной противопоставлены друг другу; то же женское лицо, повернутое прямо на зрителя, с еще большей очевидностью выражает чувство эмоциональной отстраненности.

Еще один рисунок из этого тематического круга имеет условное название «Композиция с бумажными фонариками» («Танец») (1921). На наш взгляд, в сюжете этой работы важны не модные в то время китайские бумажные фонарики-шары, служившие украшением ресторанов и танцевальных площадок в летних садах, а кружащаяся в безудержном танце пара. Возможно, это популярное аргентинское танго — танец несчастной любви. Мы видим мужскую фигуру в костюме и гриме Пьеро, с демонической улыбкой на лице. В его объятия заключена уже знакомая нам по рисункам 1920 г. женская фигура. Отождествление автора с «дельартовским» персонажем воспринимается здесь как способ рассказать о личной жизненной драме.

Мотив танца, столь любимый в искусстве модерна, станет в этот период одним из центральных в творчестве Мамонтова. Исследовательский интерес здесь усиливается догадкой о том, кем

была возлюбленная Мамонтова. Образ танца, актрисы-танцовщицы получает развитие в его творчестве параллельно с темой незнакомки. Все рисунки этого времени буквально пропитаны атмосферой театра. Вспомним его обращение к образу танцовщицы Саломеи, рисунки на театральную тему, «Танцовщицу с веером», только что рассмотренный «Танец» («Композиция с бумажными фонариками»). Кроме того, элегантная высокая прическа его возлюбленной почти всегда перевязана лентой, как это делали профессиональные танцовщицы. Данная тема, которую мы обозначаем здесь пунктиром, представляет интересный материал для дальнейших размышлений.



Н. Мамонтов. Танец с куклой.
1921. Омский областной музей
изобразительных искусств им. М. А. Врубеля

В заключение обратим внимание на «Театральный эскиз» (1921) неизвестного художника из коллекции ООМИИ. Содержащийся в нем образ-аллегория по своему характеру созвучен творчеству Мамонтова: женская фигура с широко раскрытыми, как у куклы, глазами водит смычком по обмякшей в ее руке фигуре, словно играя на струнах человеческой души. Здесь автором воспроизведен не театральный эскиз, а, скорее, эстрадный танец-пантомима. В трактовке фигуры, рук, в прорисовке орнаментальных элементов фона, в характере нанесения даты есть много общего с рассмотренным выше «Танцем». Если вспомнить в дополнение к изложенным аргументам, что этот «Танец с куклой» был когда-то разорван на две части (как почти все произведения художника, выполненные на бумажной основе), то выводы об авторстве Мамонтова в отношении данной работы можно считать вполне обоснованным.

Барнаульские страницы творчества Николая Мамонтова имеют ярко выраженный автобиографический характер. Романтический склад натуры художника нашел свое отражение в его многочисленных автопортретах и во многих произведениях, связанных с глубоко переживаемым им чувством любви. В это время происходило активное становление его как художника, отразившего в своих лучших живописных и графических произведениях различные художественные тенденции. Он создавал яркие, запоминающиеся образы своих современников — художников, с кем был духовно близок: М. Курзина, Е. Коровай, Г. Довженко, М. Трусова (Чибдар), В. Безменова, Н. Надольской, И. Чашникова. Творческое наследие Николая Мамонтова, как и время, в которое он жил, содержит еще много неизвестных страниц, исследование которых будет иметь продолжение.



АВТОРЫ НОМЕРА

Артюхов Евгений Анатольевич родился в 1950 г. в Реутове Московской области. Учился в Институте химического машиностроения. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького и Саратовское высшее командное училище МВД СССР им. Ф. Дзержинского. Работает в войсковой печати. Полковник. Заслуженный работник культуры РФ, почетный сотрудник МВД. Автор двух десятков поэтических книг. Член Союза писателей России. Живет в Москве.

Богомолова Людмила Константиновна родилась в 1961 г. в Омске. Окончила Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. Искусствовед, старший научный сотрудник Омского областного музея изобразительных искусств им. М. А. Врубеля. Член Союза художников России. Живет в Омске.

Горбачева Юлия Сергеевна родилась в 1981 г. в Новосибирске. Окончила аспирантуру Новосибирской консерватории по кафедре этномызыкознания. Публиковалась в журнале «Сибирские огни». В настоящее время работает заведующей Музеем истории Новосибирской консерватории. Живет в Новосибирске.

Злобин Владимир родился в 1990 г. в Новосибирске. Трудится разнорабочим. Публикуется впервые. Живет в Новосибирске.

Капустин Вадим Петрович родился в 1935 г. в Амурской области. Окончил Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта. Инженер-архитектор, краевед. Автор статей по истории архитектуры Новосибирска.

Кулаков Сергей Анатольевич родился в 1964 г. в Архангельске. Публиковался в журналах «Сибирские огни», «Студия» (Германия), «Союз писателей» (Харьков), «Урал» и др. Живет в Ялте.

Пивоварова Юлия Леонидовна родилась в 1966 г. в Новосибирске. Училась

на Высших литературных курсах. Работала осветителем в Новосибирском театре оперы и балета, редактором в журнале «Горожанка», сотрудничала на радио, в газетах Новосибирска. Публиковалась в журналах «Юность», «Знамя», «Сибирские огни». Автор поэтических книг «Теневая сторона», «Охотник». Член Союза писателей России. Живет в Новосибирске.

Поздняков Борис Григорьевич родился в 1945 г. в Барнауле. Окончил юридический факультет Томского государственного университета, работал юрисконсультом на различных предприятиях Павлодара (Казахстан). Автор сборников поэзии и прозы. Живет в Новосибирске.

Симонов Сергей Николаевич родился в 1960 г. в Северске Томской области. Окончил Томский государственный университет. Журналист, спортивный репортер, главный редактор газеты «Футбол-хоккей в Томске» и журнала «Томь». Автор многих публикаций и трех книг по истории томского спорта.

Тихонов Александр Александрович родился в 1990 г. в п. Большеерче Омской области. Работает заведующим Научно-краеведческим центром им. А. А. Жирова в Тарской центральной районной библиотеке. Автор книги стихов «Облачный парус», романа «Охота на зверя». Лауреат литературных премий им. М. Ю. Лермонтова, им. Ф. М. Достоевского. Живет в Таре.

Хлебников Михаил Владимирович родился в 1974 г. Кандидат философских наук. Автор книг «Теория заговора. Опыт социокультурного исследования» (2012) и «Теория заговора. Историко-философский очерк» (2014). В «Сибирских огнях» печатается впервые. Живет в Новосибирске.

Шкуро Сергей Викторович родился в 1956 г. в Москве. Окончил медицинский институт. Работает врачом-терапевтом. Публиковался в «Сибирских огнях». Живет в Москве.



МАГАЗИН

продает и покупает:

книги и подписные издания, газеты, журналы, почтовые открытки (до 1960 г.), старые фотографии, домашние архивы, коллекции почтовых марок, монеты, бумажные деньги;

статуэтки фарфоровые, бронзовые и чугунные, серебряные изделия, значки на винтах, портсигары и подстаканники, заводные игрушки и фарфоровые куклы, угольные самовары и патефоны, старинную мебель, старую военную форму и военную атрибутику и многое другое.

Работают отделы:

антиквариата, нумизматики, филателии и букинистической литературы.

Всегда в продаже журнал «Сибирские огни».

Работаем с 10 до 19 без перерыва, в воскресенье с 10 до 18

Адрес: ул. Романова, 26 (угол Советской и Романова)

☎ 227-18-37, 227-14-50

Сайт: www.gornitsa.ru E-mail: n_gornitsa@bk.ru

Частные лица и организации в Российской Федерации и в странах СНГ могут подписаться на журнал «СИБИРСКИЕ ОГНИ» в любом отделении связи — красный Объединенный каталог, подписной индекс — 46587.

ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

Учредители:

Союз писателей России, Администрация Новосибирской области
Журнал зарегистрирован в Государственном комитете Российской Федерации по печати.
Свидетельство о регистрации № 01302 от 27 ноября 1998 г.

Адрес редакции и издателя:

630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 19, тел.: (383) 223-10-15

E-mail: sibogni@sibogni.ru Сайт: sibirskieogni.pf

Адрес типографии:



ООО «Новосибирский издательский дом»

630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 104

<http://книгосибирск.pf>

Сдано в набор 31.01.2017 г. Дата выхода № 3 за 2017 г. в свет 2.03.2017 г.

Формат 70x108/16. Печать офсетная. Усл. п. л. 8,7. Тираж 1500 экз.

Цена свободная.

Во всех случаях полиграфического брака просим обращаться в типографию.